



ШЕДЕВРЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРОЗЫ

ШАРЛЬ ЛОРАН

ШПИОН
НАПОЛЕОНА
СЫН
НАПОЛЕОНА





ШЕДЕВРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

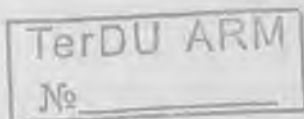
ШАРЛЬ ЛОРАН

ШПИОН
НАПОЛЕОНА



7508

СЫН
НАПОЛЕОНА



ТАШКЕНТ
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
КОНЦЕРНА "ШАРК"
1994

И (Фр)

Подготовка текста
В. КИМА

Оформление
А. СУХАРЕВА

Перевод с французского

Лоран, Шарль.
Л 78 **Шпион Наполеона; Сын Наполеона. — Т.: Шарк.**
1994. — 384с. — (Шедевры исторической прозы).

Романы "Шпион Наполеона" и "Сын Наполеона", составившие книгу, в незатейливой манере повествуют о событиях времен великого Бонапарта. Увлекательное содержание, наполненное смелыми авантюрами, прекрасно сочетается с легкостью языка Шарля Лорана.

И (Фр)

© Подготовка текста. Оформление.
Главная редакция издательско-полиграфического концерна "Шарк",
1993 г.

ШПИОН НАПОЛЕОНА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

— Ведь ты еще представишь нам сердитого старика?

При этих словах маленькая восьмилетняя девочка старалась подняться на цыпочках до отца, который вел ее за руку. Густые белокурые волосы падали толстой косой на ее спину. На ней была надета красная юбочка, окаймленная черным бархатом, и темный туго стянутый корсаж, из-под которого виднелись рукава и складочки ее белой рубашки.

Просьба девочки рассердила ее маленького брата, которого отец вел за руку с другой стороны. Он был на три года старше ее.

— Не слушай Лизбету, — сказал он. — Представь нам что-нибудь другое. Покажи-ка лучше солдат. Помнишь, как в последний раз.

Но Лизбета была нетребовательна. Она не отличала старого развлечения от нового и довольствовалась всем, лишь бы ее занимали. Девочка немедленно присоединилась к просьбе брата.

— Да, да, солдат... Ганс прав. Покажи нам солдат, идущих на войну.

Отец улыбнулся. Он кивнул им головой в знак согласия. Оставив их руки, мужчина удалился на несколько шагов. Дети приблизились друг к другу и пошли по середине дороги. Они следили за ним глазами с беспокойным любопытством.

Это был с виду скромный горожанин, здоровой и сильной наружности. Судя по его одежде и спокойному виду, его можно было бы принять за страсбургского купца. Он был одет в коричневый сюртук с металлическими пуговицами, высокий, черный галстук, короткие панталоны и сапоги с пряжками. Черная яркая шляпа с широкими загнутыми полями и плоским бортом, образующим козырек, дополняла его наряд. Несмотря на толстую палку, у него был самый миролюбивый вид. Но это было не всегда. Дети знали,

что у них же на глазах при дневном освещении он мог моментально преобразиться. В такие минуты его голос становился неузнаваем, и даже изменялся цвет глаз. Дети с удивлением спрашивали себя, каким образом он может так себя переменить.

И теперь он, любуясь на детей, совершенно преобразил себя. Медленными движениями руки он придал отворотам сюртука и поднявшемуся воротнику сурово военный вид, приподнял панталоны, а свои красновато-рыжие волосы, включенные на висках, расположил гладкими прядями по обеим сторонам ушей. Его шляпа, как по мановению волшебного жезла, превратилась в кивер, бюст внезапно распрямился и казался одетым в мундир, пестрые чулки неопределенного цвета исчезли под искусным движением ноги, как бы входящей в воображаемый сапог,

— Это жандарм! Это жандарм! — вскричали дети.

Не успели замолкнуть их чистые, звонкие голоса, как жандарм уже исчез, уступив место вооруженному гренадеру. Палка, которую он только что волочил по земле, как саблю, моментально поднялась и стояла неподвижно от бока до плеча, как ружье. Его кивер превратился теперь в меховую шапку.

Дети в восторге хлопали в ладоши. Затем перед ними явился егерь в кожаной фуражке без козырька. Внезапно сюртук укоротился, и перед их глазами предстал гусар в доломане. При каждой новой перемене лицо мужчины совершенно преображалось. Волосы из растрепанных становились гладкими и падали, как собачьи уши, или заплетались в косу. Усы то подымались, как у двадцатилетнего легкого кавалериста, то перерезали до ушей хмурое лицо старого ветерана. Глаза то становились свирепыми, то насмешливыми. Лицо выражало то жестокость, то кровожадность. Видно было, что он подробно изучил это искусство, близко соприкасаясь с изображаемыми личностями. Но не одна мимическая сторона была изучена им в совершенстве; характер представляемой личности, его осанка, согласно оружию, которое он носил, изменялись тоже.

Внезапно игра прервалась. Дети, не говоря ни слова, указали пальцами вперед на дорогу. Отец повернулся и начал всматриваться в облако пыли, появившееся на дороге, из-за которого выдвигалось другое. Он увидел среди этого дымчатого облака быстро

мчавшихся лошадей, тащивших за собой телегу, переполненную людьми. Что-то блестело в ней, похожее на оружие.

Он подошел к детям и, взяв их за руки, отвел в сторону на откос, покрытый муравой. Здесь, защищенные от пыли и ветра, они могли спокойно смотреть на проезжающих.

Теперь стали ясно слышны шум приближающейся телеги и стук подков о шоссе. Громкие солдатские песни прерывались взрывами хохота и, соединяясь со звуками голосов, раздававшихся из заднего ряда телег, представляли невообразимую какофонию. Дюжина мужских голосов громче других пела военную походную песнь.

Развеселившиеся дети подняли свои широко раскрытые и блестящие от удовольствия глаза на их приемного отца, как бы желая убедиться, произвело ли на него это явление одинаковое с ними впечатление.

Но телега быстро приближалась; в ней царили непрерывное веселье и громкий смех. Дети прижались друг к другу, чтобы лучше рассмотреть сидящих в ней лиц.

Это была простая деревенская телега, какие употреблялись в окрестностях Саверна. Лошадьми, почти стоя, правил молодой, красный, как горящий уголь, парень. Он был так воодушевлен весельем окружающих его товарищей, что, казалось, выбивал кнутом такт песни. Его меховая шапка сдвинулась на затылок, причем хвост лисицы, украшавший ее, висел до самого пояса. Развязавшийся галстук разлетался по воздуху. Сзади его сидели двенадцать человек солдат. Они лепились по обеим сторонам телеги. Между ними были свалены в кучу сабли, ружья и меховые шапки. От нечего делать они курили и пели. Следующие телеги не отличались ничем от первой, лишь только их кучера были менее воодушевлены.

Наконец промчались все сорок телег, одна как другая запыленных и переполненных поющими солдатами. Это был батальон гренадеров генерала Удино. Отборные солдаты составляли специальную дивизию в Аррасе, и ими так восхищался Наполеон, что считал их даже прекраснее своих гвардейцев. Они совершали длительный и утомительный путь из Булони в Страсбург и от Па-де-Калэ на Рейн.

Солдаты предполагали, что их отправят в Англию, но по неизвестной им причине их послали в Германию. Только самые старые из них, не забывшие еще похода, ознаменовавшегося битвой при Маренго, во время первого консула, а также экспедиции в Египет с Бонапартом, хвастались, что понимают план Наполеона. Они объясняли его товарищам следующим образом:

“Видите ли, — говорили они, — флот Вильнева не пришел, чтобы служить нам прикрытием при проходе через Ламанш, и мы бездействуем. Купальный сезон кончился, и император не хочет, чтобы мы простудились, вот он и посылает нас на Рейн. Там, кажется, русские и австрийцы рассчитывают делать глупости, пока мы заняты в другом месте. Мы им скажем парочку словечек и нанесем визит. Вероятно, адмирал Вильнев в конце концов прибудет в Булон, куда мы возвратимся весной“.

Пока они так рассуждали, эхо вторило военным песням, которые пели другие солдаты.

Дело в том, что Наполеон приказал отправить как гвардию, так и аррасских гренадер с другими солдатами не на судах через Па-де-Калэ, а через всю Францию в экипажах. Повсюду им приготовлены подставные лошади, и они катили без остановки с запада на восток, вместо того, чтобы оттоптывать свои подошвы по пыльным шоссе. Газетам было запрещено писать об этом распоряжении.

Правда, что солдатам немного надоело переменять каждый день экипаж. Они ехали то в пикардийских тележках, запряженных здоровыми лошадаками, которые бойко бежали, взбираясь по холмам, то в шарабанах Иль де Франса, в которых, хотя было удобно сидеть, но зато лошади, отягченные тяжелой упряжью, едва тащились. Но самое мучительное путешествие было через Бри, Суассон и Шампань, где им приготовили прескверные одноколки. Только от Эльзаса они вздохнули свободнее, где им дали солидные телеги, обильно наполненные соломой, с довольными и веселыми кучерами. Теперь они ожили и во все горло пели песни.

Бричка с обер-офицерами, на обязанности которых было выбрать место привала, проехала гораздо раньше колонны, но группа запыленных офицеров то и дело сновала по сторонам телег. Командир ехал позади последнего фуражира. Это был коренастый человек,

с багровым лицом и с любопытными, но честными глазами. Взгляд его встретился с глазами детей, стоящих у края дороги, и он улыбнулся им по какому-то смутному воспоминанию. Может быть, он вспомнил о других подобных маленьких существах, которых он оставил дома. Кто знает?

Наступил вечер. Пыль улеглась. Тишина воцарилась мало-помалу на дороге. Ганс и Лизбета, пресыщенные удовольствием, видимо, были не прочь возвратиться домой, и с этой мыслью они обернулись к своему названному отцу.

Все время, пока проезжали солдаты, он молчаливо наблюдал за ними. Он, как бы для развлечения, считал их. Ни один генерал в раззолоченном мундире не следил бы на параде с большим вниманием за своими солдатами, чем это делал скромный с виду горожанин. Когда все телеги проехали, он вынул из кармана записную книжку и написал:

“24 сентября 1805 года, батальон в пятьсот гренадер только что проехал в телегах из Саверна в Страсбург. Люди с виду были здоровые и прекрасно дисциплинированные. Одна особенность меня поразила: я вижу первых солдат, у которых подстрижены и не напудрены волосы. От этого их одежда много выигрывает в чистоте, так как мука, которой покрывают волосы гвардейские гренадеры, страшно грязнит их красные воротники. Говорят, что это нововведение будет всеобщим во французской армии.

“Пятьсот солдат этого поезда составляют часть тридцатипяти тысячного войска, сосредоточивающегося уже восемь дней против Келя. Я в неведении, что происходит под Страсбургом, но мне говорили, что в Мангейме, Спире и Майнце составляется громадное сборище. Знакомых командиров я не видел. Я узнал, что Бонапарт возвратился в Булон после того, как роздал своим отборным солдатам, четыре дня тому назад, кресты почетного легиона. Не видно было, чтобы он расположен был уехать. Он задавал балы. Тем не менее, сборища, о которых я говорю, очень таинственны и очень важны, заслуживают более близкого изучения. Знаменитый Мюрат, генерал от кавалерии, еще не возвратился из путешествия по Германии, куда он отправился по секретному предписанию своего повелителя. Генерал Бертран, которому в то же время поручено серьезно

навести справки о союзных войсках, вернулся вчера. Они были так дурно переряжены, что меня удивляет, как их не задержали.“

Записав все это, скромный горожанин положил памятную книжку в карман и сказал громко:

— Ну, детки, вернемся!

И они пошли по направлению к городу.

Но не сделали и полуторы мили, как дорога, по которой они шли из города два часа тому назад, стала неузнаваема. К их удивлению, при повороте дороги, они заметили в трехстах метрах перед собой, у подножья старого вала, гнездящиеся землянки. Они сразу попали в кишачий муравейник из людей.

Здесь находились, кроме grenадер, которых они только что видели проезжающими, масса других солдат. Они расправляли свои онемевшие от продолжительной езды ноги, бегая и хлопоча устраивали себе лагерь. Распряженные телеги были расставлены по краям дороги. Возле шумной живописной группы grenадер поместились другие группы, не менее воодушевленные своей силой и дисциплиной.

Эта масса вооруженных людей запрудила местность до самых городских домов. Местные мальчишки с любопытством прибежали посмотреть это человеческое наводнение. Взад и вперед мчавшиеся эстафеты обнаруживали образцовый, предусмотрительный порядок среди хаоса и беспорядка размещения и устройства квартир.

Но вот раскинулись палатки и зажглись огни. На ружьях, поставленных в козлы, лежали свернутые во всю длину знамена, как бы в колыбели из штыков. Дым направлялся прямо к облакам в тихом воздухе. Сдержанный звук голосов подымался вместе с ним над городом.

Здесь находится больше батальона, больше, чем бригада, может быть, дивизия, а, может быть, целая армия!..

И человек, сопровождавший детей, остановился, как вкопанный и изумленный зрелищем. Он даже не заметил вопросительных взглядов детей. Наконец он решился пройти сквозь эту живую стену людей, выстулавших даже на шоссе.

— Проходить нельзя! — закричал ему часовой из артиллеристов, выставив перед ними наголо обнаженную шпагу.

— Как нельзя проходить? Но если я возвращаюсь к себе? Я страсбургский житель и веду моих детей домой.

— Мне очень досадно, милый папочка, но уж такой отдан приказ. Парк расположен там, совсем близко, и дорога заграждена до ночи.

— О, нет опасности, товарищ, чтобы эти ребяташки заклепали пушку. Допустите меня пройти; уверяю вас, что приказ не может относиться к нам.

— Все возможно! Но я ничего не могу сделать. Вон идет офицер, спросите его, если хотите...

Офицер, на которого указал солдат, был как раз командир батальона. Он только что заметил двух маленьких задержанных детей, с удивлением смотревших на солдат. При нем находился капитан.

— Что там такое, часовой? — спросил он, узнав маленькие белокурые головки.

— Командир, вот гражданин, который хотел бы со своими ребятами возвратиться в город.

— Вы страсбуржец? — спросил офицер, обращаясь к незнакомцу. — Как вас зовут?

— Шульмейстер, Карл-Людовик, бакалейщик и торговец табаком, на улице де-ла-Месанж.

— Служили ли вы? Сколько вам лет?

— Мне тридцать пять лет, господин командир.

— Отчего вы мне не отвечаете? Были ли вы солдатом?

— Полковник Савари меня лично знает...

— Вы хотите сказать, что полковник Савари вас знал?..

— Разве он умер?

— Нет, он сделался дивизионным генералом, командиром полевых жандармов и начальником по служебным разведкам. Но вы мне все-таки не ответили.

— Нет, командир, я не был солдатом.

— Почему же? Вы с виду такой здоровяк?

— Я не французского происхождения.

— Откуда вы?

— Из Нового Фрейштата.

— Где это?

— В четырех милях от Страсбурга, по другую сторону Рейна.

— Тогда что вы здесь делаете? И каким образом вы знали Савари, когда он был полковником?..

Этот человек, с виду такой спокойный, со скром-

ными манерами, так недавно игравший на дороге с детьми, теперь, казалось, с трудом переносил распросы. Несколько раз он готов был выйти из терпения, и только сила воли удержала его. Последний вопрос вывел его из себя. Он взглянул прямо в лицо начальника батальона гренадер и ответил:

— Я оказал французам важную услугу в то время, когда генерал Моро переправлялся через Рейн. В награду за это мне разрешили жить здесь. Правда, что я не имел ни ружья, ни шпаги; не носил на голове меховой шапки и шпор на ногах; но без меня, очень вероятно, что немцы не были бы побиты при Гогенлиндене.

— О, о, мой смельчак! — сказал командир с насмешливым тоном, — если вы говорите правду, то вы великий полководец, но при этом вы довольно странный патриот, так как немцы, которых Моро побил, благодаря вам, приходится вам родными братьями. Не вы ли мне сказали, что ваша родина там?

При этих словах офицер указал пальцем на восток.

— Принадлежат к той стране, которую любят, и служат той стране, которой хотят, — возразил Шульмейстер.

— Очень возможно, но что касается до меня лично, то я отношусь с недоверием к людям, которые не любят своего отечества и служат его противникам. Эй, четверых людей! — приказал командир.

В то время, как несколько солдат приблизились на призыв командира, капитан, до последней минуты молча следивший за происходившим, сделал шаг по направлению к Шульмейстеру. Последний, видя, что дело принимает для него дурной оборот, сделал быстрое, как мысль, движение. Его рука, выскользнув из складок сюртука, нежно ударила, как бы лаская мальчика сначала по голове, а затем по плечу. Если бы при этом обстоятельстве находился внимательный наблюдатель, то он, может быть, заметил бы выразительное поглаживание рукой по платью ребенка. Затем Шульмейстер более не двигался. Он смотрел прямо в глаза всем этим людям, которым, без сомнения, был отдан приказ его задержать. Глаза мальчика, казалось, говорили: “Будь спокоен, отец! Я понял: надо не допустить, чтобы у меня нашли вещь, которую ты мне доверил... Она там, за воротником моей кур-

тки. Сейчас, как только меня не будет видно, я незаметно прекрасно ее спрячу. Не бойся, не бойся!

Что же касается Лизбеты, то она прижалась к нему с другой стороны, испуганная и готовая расплакаться.

— Командир, — сказал Шульмейстер, сделавшийся с этих пор безусловно хладнокровным, — я не знаю, какой вы отдали приказ относительно меня, но я надеюсь, что вы не откажете отправить этих маленьких бедняжек на другую сторону лагеря, к городским воротам. Когда они достигнут их, я буду спокоен, так как Ганс с сестрой сумеют найти свой дом.

— В самом деле, ничего нет проще, — заметил командир. — Капитан, прикажите, чтобы проводили этих двух ребятишек домой. Я совсем не хочу, чтобы с ними случилось несчастье... А вы, друг мой, следуйте за мной.

И в то время, когда мальчик в сопровождении сержанта удалялся бледный, с блестящими глазами, держа за руку испуганную сестренку, бакалейщик с улицы де-ла-Месанж шел, окруженный четырьмя солдатами, понуренный, с опустившимися руками, к квартире военного профоса.

II

В дверях лавочки, находящейся на улице Месанж, среди самой непоэтической обстановки бакалейных и табачных товаров, стояла нежная, очаровательная фигура женщины. Ее каштановые с золотистым отливом волосы, разделенные пробором на две волнистые пряди, были собраны и густо скручены на затылке. Матово-бледный цвет лица, большие темные глаза и гибкая фигура, одетая в простой эльзасский костюм безо всяких украшений из золотых прошивок, особенно выделялись рядом с выставочным окном, на котором были разложены незатейливые товары: пряности, табак, ленты, коленкор и мелочные железные и медные товары. Ее изящная фигура казалась живой статуей, только что поставленной на каменных ступенях входа в магазин.

С виду ей нельзя было дать больше двадцати лет — в действительности ей было двадцать пять. Прохожие

настолько очаровывались ее красотой, что забывали помечать годами ее прекрасные черты. Они нисколько не заботились о том, девушка она или женщина. Все, что они замечали в ней, — это была ее красота, а она принадлежала всем, кто имел глаза.

В данный момент Берта с беспокойством смотрела в противоположную сторону улицы, по направлению к аллее Брольи. Она отвечала с рассеянной улыбкой на почтительные поклоны соседей и, казалось, относилась равнодушно к тому, что рассказывали собравшиеся группы о событиях дня. Берта, конечно, видела, как и все ее соседи, необычайное движение, произведенное только что прибывшими войсками. Уже несколько часов сновали по улицам города целые толпы военных; их лица и мундиры были совершенно неизвестны горожанам. Берта Шульмейстер, поминутно отрываемая от своего бесполезного дежурства, едва успевала удовлетворять требования многочисленных покупателей. Ее сердце, казалось, сжималось от страшной, мучительной тоски; необъяснимый ужас сковывал ее губы. Она не слышала ни комплиментов, которые щедро рассыпали перед ней новые покупатели, ни даже их требований. Ее рассеянность не укрылась от наблюдательных соседей, и самый близкий из них обратился к ней вечером с вопросом:

— Вы не очень-то разговорчивы сегодня, г-жа Шульмейстер.

— Я ожидаю мужа, — ответила она, — он уже давно ушел вместе с детьми. Боюсь, что им нельзя будет пробиться сквозь войско и войти в город.

— Сколько причиняют вам беспокойства эти ребяташки! Если бы это были ваши дети, вы о них не заботились бы более!.. И чего же вам опасаться?

— Не знаю. Конечно, Карл осторожен и силен, но он всегда хочет видеть вблизи все, что происходит, и это меня пугает...

— Ба! ваш муж любит выкидывать штуки, подите! Вы смотрите направо, а он, может быть, возвратится с левой стороны...

Когда молодой купец окончил свое замечание, то женщина, ожидавшая, чтобы Шульмейстер отвесила ей несколько зерен кофе, тоже вмешалась в разговор. Она принялась сожалеть о маленьких крошках, говоря, что родители неправы, когда водят малюток в толпу, где они рискуют быть раздавлены. Пока они таким

образом беседовали, свет, уже менее яркий, чем утром, проходивший в дверь лавки, внезапно заслонился какой-то фигурой: высокого роста человек стоял на пороге.

Пришедший был прекрасно сложенный и сильный мужчина. Целый лес густых черных вьющихся волос спускался ему на виски, почти скрывая уши. По костюму незнакомец напоминал богатого путешественника-купца. Он был одет в длинный сюртук с воротником и в панталоны, засунутые в сапоги с отворотом. Его пальцы были унизаны драгоценными кольцами. Вся его личность дышала уравновешенной твердостью, спокойной смелостью и значительной долей самодовольства. Его произношение обнаруживало южное происхождение. Он обратился к молодой лавочнице очень вежливо и в то же время повелительно.

— Прелестное дитя, — сказал он, — не здесь ли находится дом торговца железом, по имени — подождите-ка!.. Карл... Карл... Майстер?.. Еще что-то есть перед Майстер, но я забыл... Впрочем вы знаете, что я хочу сказать?

— Извините, сударь, в этом доме нет торговца железом... Моего мужа зовут Карл Шульмейстер, это правда, но его торговля...

— О, его торговля, какое мое дело!.. я подразумеваю ту, которой он занимается для виду. Он торговал старым железом; теперь продает, как я вижу, чернослив и табак; мне нет никакого дела до всего этого, но я хотел бы его видеть и поговорить с ним одну минуту о другом деле. Говорят, он занимается контрабандой, надувая таможенню. Слух идет даже о том, что он время от времени стреляет в таможенников. Вот об этом-то мне надо с ним побеседовать. Я пришел нарочно один, во-первых, чтобы его не напугать, а, во-вторых, я потерял слишком бы много времени, чтобы пойти... к себе переодеться и захватить товарищей... Где же ваш муж? Гм!..

— Я ни слова не поняла из всего, что вы мне говорите, сударь, — ответила она, смутно беспокоясь. — Я здесь одна... Потрудитесь придти немного позже...

— Ну, уж извините! Вы говорите, что его еще нет?.. Хорошо, я подожду его!

— Но, сударь.. — попробовала возразить молодая женщина.

— Полно! Не прикидывайтесь суровой, крошка! Мне нравится оказать честь этой скромной лавочке и отдохнуть минутку здесь... Тем более мне это нравится, что поистине вы очаровательны!.. Если человек, которого я ищу, — ваш муж, то он должен походить на Аполлона, чтобы быть достойным вас...

Эти любезности, вероятно, расточались не раз этим кичливым и надменным человеком и при других обстоятельствах. Он был, очевидно, убежден, что всякая женщина, на которую он обратил внимание, должна быть преисполнена счастья. Пока он смотрел на Берту Шульмейстер, выражение его лица как бы говорило: “Разве я не любезен! Разве я не умен! Как я неотразим!” Но это сомнение было скорее наивное и заставляло улыбаться.

Между тем госпожа Шульмейстер сделалась совершенно бледной. Последние покупатели ушли, как только он вошел в лавку, и теперь она осталась совершенно одна с незнакомцем. Инстинкт ей подсказал, что под этой маской грубых и наглых любезностей скрывается тонкий, хитрый, привыкший к всевозможным заговорам наблюдатель, который ей угрожает опасностью. Однако в ней прежде всего проснулась женская гордость.

— Я у себя дома, — сказала она спокойно, — и желаю остаться одна... Кроме того, приближается ночь, и я должна запереть магазин. Не угодно ли вам удалиться?

Незнакомец расхохотался от чистого сердца. Ему показалось это настолько невероятным, изумительным и необыкновенным. Чтобы осмелились ему предложить удалиться!.. Поистине эта женщина не сомневалась в неблагопристойности своих слов!.. Уйти... Она его просила и даже приказывала уйти!.. И его большие черные глаза начали ее рассматривать с новым восхищением. Такая красивая, такая изящная женщина и выгоняет его за дверь!..

— Моя дорогая, — прервал он свой смех, — вы положительно не узнали меня, я в этом более не сомневаюсь. Это кажется невероятным, но все-таки надо это признать. Вот так история! — воскликнул он. — А еще дурак Бертран говорит, что я не умею переодеваться!.. Но возможно ли, что вы не знаете,

кто я. Ей Богу, я никогда не воображал подобной вещи!.. Но всмотритесь же в меня немного!.. Нет?.. Вы не знаете меня?..

И он снова залился громким смехом.

— Но, сударь, — сказала она просто, — если ваше имя может мне доказать, что вы имеете право остаться здесь, вопреки моему желанию, то проще всего: назовите ваше имя! Как вас зовут? А если вы не желаете мне это сказать, то прошу вас удалиться, так как полиция приказывает нам запира́ть лавки ранее, чем наступит ночь.

— Честное слово, вы рассуждаете, как ангел, моя красавица! Но не беспокойтесь о полиции. Я приму ее сам, если она появится, и будьте спокойны; она не будет более вам надоедать...

— Очень может быть, сударь, но я не хочу, слышите ли, не хочу, чтобы вы мне покровительствовали. Ваша настойчивость была безрассудна, теперь же она становится обидной, и если вы не выйдете сию минуту, то я позову на помощь.

— Черт возьми! Дитя мое, вот прекрасная защита! — и он выпрямился перед ней во весь рост. Хотя его поза и была немного театральна, но все-таки в ней была некоторая доля величия. — Вы хотите знать, кто я, прежде чем позволите мне ожидать здесь вашего мужа? Хорошо, вы это узнаете. Меня зовут Мюрат!

— Мюрат? — переспросила Берта, смотря на него совершенно равнодушно.

— ...Да, Мюрат, принц империи, адмирал и маршал Франции; Мюрат, зять Наполеона и кавалер первой степени почетного легиона. Не найдете ли вы возможным теперь приютить меня, крошка?

— Чем более вы могущественны, чем более вы знамениты, принц, — сказала Берта, — тем менее я нахожу у вас прав навязывать себя женщине, которая просит вас оставить ее! Но так как маршал Франции заблагорассудил устроить в этой лавке сегодня вечером свой лагерь, то он без труда поймет, какому я повинуюсь чувству, уступая ему мое место... Я удаляюсь.

— А, а, милочка, кажется, что мы не любим принцев?..

— Я уважаю тех из них, которых я признаю. Прошу вас, позвольте мне уйти...

— Нет, нет, пожалуйста! Вы не покинете меня!

А, вот так, поистине вы женщина, которая не довольствуется быть прекраснее всех женщин, а еще обладает очаровательной дерзостью, которой не скрывает от вас... Не пробуйте удалиться, черт возьми!.. Я совершенно забылся около вас и не вспомнил, зачем сюда пришел. Подумайте только, что одной вашей улыбкой вы можете добиться у меня снисхождения к вашему мужу.

— Моему мужу?.. Что вы хотите сказать? Что ему угрожает? Что он сделал?

— Он? О, почти ничего. Он служил агентом у неприятеля Франции, вот и все! Он известил австрийцев о движении нашего войска. Я нашел доказательства его измены в Баварии, где у нас есть верные друзья. Я их привез императору, который, вероятно, прикажет его расстрелять!.. О, простите, я вижу, что испугал вас. Как вы дрожите! Но зачем же, черт возьми, вы заставили меня говорить!..

Он инстинктивно приблизился к молодой женщине, чтобы ее поддержать. На этот раз его жест не был ему внушен легкомысленной любезностью, а вытекал из чувства жалости. Великий сердцеед превратился в доброго малого.

— Это гнусная клевета, — сказала она, отталкивая его от себя. — Мой муж не может себя ни в чем упрекать. Ни в чем, слышите ли! Это — самый спокойный, прямой и честный человек. В то время как вы обвиняете его, он прогуливается с нашими двумя приемными детьми, двумя бедными сиротками, которых мы приютили у себя... Я ожидала их, когда вы пришли... Как же вы хотите, чтобы он был шпионом!.. Я уже вам сказала, что он пошел показать им солдат!..

— Полно, я сожалею, что сказал вам. Не думайте об этом больше. Я поближе рассмотрю это дело, сам рассмотрю, и если не ваш муж, как мне положительно говорили, извещает неприятеля о наших приготовлениях, то будьте спокойны: слово Мюрата, что ему ничего не сделают.

И когда ее растроганные глаза, полные мольбы и доверия, обратились к нему, то неисправимый гасконец проснулся в нем, и он воскликнул с театральным жестом:

— Я вам дал слово французского принца!

В ответ на его восклицание послышался взрыв

неожиданной радости. Две белокурые детские головки показались в дверях лавки, и молодая женщина бросилась к ним с радостным криком:

— А! наконец-то они!

Увы, новый страх овладел ею! Дети были одни. Унтер-офицер, провожавший их, стоял на ступеньках, с любопытством рассматривая ее. Отца не было с ними.

— Где мой муж? — спросила она провожатого.

— Не знаю, сударыня. Командир приказал мне отвести этих детей. Я думаю, что он задержал человека, который был с ними.

— Объяснись, — послышался громкий голос Мюрата. — А прежде всего встань во фронт и скажи мне, откуда ты пришел.

Сержант вошел в магазин. Он с удивлением начал рассматривать человека в штатском платье, который позволил себе его допрашивать. Затем он щелкнул каблуками, живо поднес открытую руку к своей форменной фуражке и несколькими короткими словами, прерываемыми отрывочными “да, маршал“, “нет, маршал“, он скоро рассказал все, что видел.

В общем он мало объяснил. По его словам, один любопытный человек настаивал, чтобы пройти сквозь лагерь, несмотря на запрет. Он сейчас же признался, что не французского происхождения. Тогда его остановили, против чего он не возражал.

— Он признался, что иностранец?

— Да, маршал.

— Из какой страны?

— Кажется, немец.

— Папа Карл сказал им, что имеет разрешение здесь жить, — прервал его Ганс, очень бледный, но решительный.

— Прекрасно! — заключил маршал, записывая что-то в своей записной книжке. — Снеси к профосу этот приказ. Иди скорее.

Сержант отдал честь и вышел.

Тогда Мюрат, впервые, пока находился в скромной лавочке, выказал себя принцем, и чтобы успокоить молодую женщину, которая совершенно была потрясена, он сказал:

— Вашего мужа выпустят на свободу, сударыня, и он вернется домой. Надеюсь, вы передадите ему, чтобы завтра утром он пришел в мой главный штаб,

где я буду его ожидать. Мне надо с ним поговорить. Необходимо, чтобы я был осведомлен обо всем, что касается его. Вы женщина мужественная и достойная, я совершенно полагаюсь на вас. Я уверен, что вы со своей стороны поймете, какому почтительному чувству повинуюсь я, говоря так с вами... Подумайте только, я соглашаюсь отсрочить рассмотрение дела, которое имею право немедленно начать. Но я хочу подождать: это выкуп за страх, который я причинил вам, и о чем я так сожалею. Я решил окончить сегодня же вечером с неприятной работой, которую я только что выполнил на том берегу Рейна. Эта работа для меня новая, так как я привык искать неприятелей только на поле брани. Скажите это несчастному, которого нам возвратят. Заставьте его понять, что все хитрости отныне бесполезны, и что в особенности будет совершенное безумие, если он попробует бежать. Я позволю ему возвратиться сюда, но и здесь за ним будут следить до тех пор, пока не останется ни малейшего подозрения. Со своей стороны, я был бы изменником перед императором и армией, если бы действовал иначе. Прощайте, сударыня, простите меня и запомните, что я сказал.

Он низко поклонился и вышел. Его высокая фигура тотчас же утонула в сумраке ночи, оставив бедную женщину, пораженную ужасом от этого внезапного открытия. Она как бы застыла неподвижно с глазами, полными слез, прижимая к себе крепко обоих малюток.

III

Вскоре Берта пришла в себя. Необходимо было подумать о работе. Привычные занятия вернули мало-помалу спокойствие ее духа. Она закрыла лавку, зажгла лампы, накормила детей и уложила их спать.

Когда Лизбета заснула, она хотела выйти из комнаты, как неожиданно заметила, что Ганс тихонько протягивает руку поверх простыни к стулу, на котором лежало его платье. Осторожно пошарив там, он что-то вынул и положил под изголовье. Она не хотела тотчас к нему обратиться с вопросом, а решила обождать. Через несколько минут глаза Ганса сомкнулись. Берта, любившая этих детей, как своих, была озабочена

его странным поведением и с чисто материнским любопытством протянула руку под изголовье Ганса и вынула оттуда вещь, так тщательно скрывааемую мальчиком. Она тотчас же узнала ее по наружному виду, так как ни разу не открывала записной книжки, которую Шульмейстер обыкновенно носил с собой... В ее голове тотчас же возник вопрос: отчего ее муж избавился от своей книжки? Отчего он велел Гансу спрятать ее? Ужасная мысль вернулась снова к ней. Разве Мюрат был прав?..

И она, вся дрожа, унесла с собой таинственную записную книжку. Заперев все двери, Берта лихорадочно принялась ее перелистывать от первой страницы до последней.

Она тотчас заметила, что в ней не хватало многих страниц. Куда они девались? Разве Карл их уничтожил... или отослал тем, которым он служил, как его обвиняли?

На оставшихся листах были или не имеющие значения надписи или иероглифы, смысл которых она не могла постичь. В общем в книжке не было ничего, что подтверждало бы ее сомнения. Ни одного точного доказательства!

Рассуждая таким образом, она, наконец, дошла до последней записи.

Все стало ясно. Измена была очевидна. Оспаривать было невозможно. Она попробовала бороться с действительностью, но следующие слова бросились ей в глаза:

“...Знаменитый Мюрат, кавалерийский генерал, еще не возвратился из Германии, куда он, по приказанию своего повелителя, отправился тайно. Генералу Бертрану поручено в то же время, как и ему“...

Бертран!.. Кажется, она только что слышала это имя от Мюрата? Увы! Очевидность стала слишком ясна!..

Она принялась читать далее:

“Не понимаю, как это их не остановили, так как они были очень дурно переодеты!..“

— Шпион! Шпион!..

Молодая женщина предалась отчаянию при мысли, что ее муж, которого она любила, уважала более, чем других, был шпион...

— Он удачно поступил, доверив мальчику в минуту ареста свою записную книжку, — рассуждала

она, — эта заметка послужила бы доказательством большой важности!... Нельзя сомневаться, что он писал эти заметки с неблагоприятным назначением, иначе ему незачем было так заботиться, чтобы их скрыть...

Она чувствовала, что глаза ее наполнились слезами, и кровь поднялась к голове. Берта вдруг снова увидела перед собой, как живого, этого прославленного солдата, этого блестящего и счастливого начальника, который только что разговаривал с ней.

— Вот такой не может быть изменником! — подумала она. — Он нападает открыто на неприятеля, во главе своих эскадронов, с украшенной золотом и крестами грудью, чтобы его видно было издали. Говорят, что он никогда не носит даже другого оружия, кроме коротенькой шпаги, не длиннее охотничьего ножа. В стычках его узнают солдаты по этой коротенькой шпаге, которую он подымает над головой, чтобы отдавать приказания. Впрочем, он никогда не пользуется ей, чтобы убивать. Он ведет войну, ищет побед, но убивать предоставляет другим...

Между тем как ее муж!...

И тысячи подробностей возникли из прошедшего. Где же он в самом деле пропал долгими ночами, рассказывая, что ездил получать товар и задерживался разными административными проволочками?

Положим, что все пограничные жители более или менее контрабандисты и Мюрат, пожалуй, был прав, говоря, что Шульмейстер надувает таможеню и борется хитростью или оружием с таможенниками. Но контрабандой ли он занимается? Не пользуется ли он темной ночью, чтобы передавать неприятелям известия? А деньги, которыми он уплатил долги и на которые делал различные подарки, — откуда они?

Берта почувствовала себя одну минуту как бы его сообщницей...

По счастью, искренние привязанности не потухают без борьбы. В памяти Берты поднялась борьба между непредвиденным позором и драгоценными воспоминаниями прошедшего... того прошедшего, которое еще было так свежо!.. Она попробовала найти в своей голове извинения поступку этого преданного и любящего человека. Заставил ли он, хотя одну минуту, упрашивать себя, — рассуждала она, — чтобы разрешить ей взять сирот ее сестры на воспитание? Не

относится ли он к ним, как к своим родным детям?... Он играет с ними, учит читать, говорит об их будущем с самой искренней заботливостью. А как он любил ее!

— Изменник? — повторяла она. — Этот муж, отец! Нет, это невозможно!..

Внезапно отворилась дверь. Вошел Шульмейстер.

Прежде всего он ошибся в причине ее бледности и измученном виде.

— Ты беспокоилась, моя бедная? Не правда ли, дети возвратились?

— Они там, спят, — отвечала она, указывая на детскую.

— Хвала Богу! Вот так наглость! Представь себе... Но что с тобой? Отчего ты такая взволнованная?..

Берта выпрямилась во весь рост и, опустив глаза, чтобы не встретить его взгляда, протянула ему записную книжку, сказав:

— Я прочитала, что в ней написано. Это первый раз, что я допустила себя до такого поступка. И этот первый раз мне не принес счастья. Я испугана тем, что, кажется, поняла из этой книги... Ты меня успокоишь, скажи? Ты объяснишь мне эту заметку, которая написана твоей рукой? Если бы кто другой в городе о ней знал, то какое он вывел бы заключение?.. Как же я должна думать, я, твоя жена, носящая твое имя и которая так преданно привязана к тебе?.. Ты ничего не отвечаешь?.. Послушай, ведь не может же быть, чтобы ты писал эти заметки с целью измены! Прошу тебя, скажи мне, докажи мне, что ты не имел намерения сообщить их комунибудь.. в другой стране?... Знаешь ли, что сегодня вечером приходили за тобой сюда... чтобы задержать тебя?..

— Кто? Скорее скажи!

— Ах, это все, что ты можешь ответить? Ты хочешь, чтобы я дала тебе сведения о грозящей тебе опасности?.. А ты разве мне ничего не скажешь о том, что мне угрожает?.. Наконец, я твоя жена, Карл! Моя судьба была, есть и будет твоей. Ты должен же подумать об этом. Мне кажется, когда около находятся близкие существа, то нужно о них заботиться. Я всегда о тебе думаю. Разве ты не сознаешь, что, бросаясь в это рискованное, страшное и отвратительное предприятие, ты заставишь страдать меня и детей

более, чем себя? Разве ты не задавался вопросом, что тебя могут убить, и мы останемся одинокими на свете... одинокими, отверженными и опозоренными, выгнанными из этой страны, где я надеялась жить счастливо?.. Разве тебе все равно, Карл, чтобы я стыдилась принадлежать тебе?

— Что ты говоришь? Разве ты не знаешь, как я люблю тебя? — отвечал Шульмейстер. — Все, что я делаю в жизни, только для тебя.

— Вот потому, что я тебе верю, ты и нашел меня здесь сегодня вечером. Если бы я только допустила мысль, что ты совершишь такое преступление, не имея хотя бы этого чудовищного извинения, то, не дождавшись твоего возвращения, я навсегда исчезла бы из этого дома.

— Ты говоришь, преступление?..

— Не думаешь ли ты защищать твой поступок, измену той стране, которая оказала нам гостеприимство, предавая тех, с кем ты разделяешь жизнь?

— Эта страна — не моя родина!

— А где же твоя страна? Что же, она находится по другую сторону реки? Не Германия ли? Ты мне откровенно сознался, что их побил перед нашей свадьбой, потому что ты их ненавидишь, и они тебе сделали много зла. Правда ли это?

— Да, правда.

— Какую же страну ты готовишь мне, если ты им всем изменяешь?

— Как ты со мной, Берта, говоришь?..

— Я не виновата, Карл, если я впервые забыла уважать тебя как моего покровителя и владыку. Видишь ли, я считаю, что муж и жена должны не только жить бок о бок, но также делить радость и горе. Не достаточно быть сожителями, надо быть товарищами, друзьями и настолько близкими, настолько близкими, настолько связанными святыми узами, чтобы иметь одну и ту же кровь, одну и ту же честь. А ты что делаешь, Карл, с нашей честью? Что делаешь ты из нашей крови?..

Шульмейстер сделал нетерпеливый жест и направился к двери. Черты его лица конвульсивно подергивались и выражали глубокое разочарование.

Молодая женщина бросилась к двери и загородила ему путь.

— Нет, ты не уйдешь! — закричала она. — Это

была бы подлость, а я не хочу, чтобы ты ее совершил, так как я знаю, что ты не подлец. Кроме того, напрасно ты будешь пробовать бежать, меня предупредили, что за тобой будут следить и тотчас же снова задержат. Нет, — прибавила она, — ты должен исправить передо мной твою ошибку. Полно, Карл, будь мужествен несколько минут и расскажи мне все, чтобы мы могли вместе придумать как бы выйти с достоинством из этой ужасной опасности, в которую ты вовлек нас. Доверься мне и признайся! Вдвоем мы скорее вырвем эту скверную страницу твоей жизни!

— Ты святая!.. — сказал Шульмейстер, взяв руки молодой женщины. — Ты моя живая совесть, и я чувствую, насколько ты права, порицая меня... Но как же ты хочешь, чтобы я считал мой поступок дурным?.. Я никогда ни от кого не видел помощи... тогда, право, мне приходилось бороться против всего света... Ну, так, да, это была правда, я хотел нажить деньги для тебя, для вас и пользовался всем, что видел и слышал ежедневно. Увы!.. Только не презирай меня слишком за эту мысль. Если бы ты знала, какое у меня есть извинение, и на что я могу сослаться... Но, нет! Я никакого не хочу оправдания. Я был не прав, если ты меня порицаешь! Скажи мне, что ты знаешь, что тебе сказали. Научи меня, что мне надо делать! Всю мою силу и мужество я употреблю на то, чтобы сделать тебя, моя дорогая Берта, счастливой и спокойной. Я не знал, что я уголовный преступник, уверяю тебя, но все-таки я откажусь от этого тайного ремесла... в котором, кажется, был ловок!.. Чтобы заслужить твое одобрение, я сделаю все, что ты хочешь, слышишь, все! Нет такой жертвы, которой не принес бы я для тебя, нет таких усилий, которые оказались бы мне тяжелыми, лишь заслужить бы твое одобрение. Приказывай, — обратился он к ней, — я буду повиноваться!..

И Шульмейстер покорно стал ожидать от нее одной своего спасения. Но в его покорности не было чувства унижения, а заметно было лишь нежное беспокойство. Честное сердце молодой женщины простило ему те страдания, которые ей пришлось вынести, вследствие недоверия. Он доказал жене свое сожаление о том, что он так мало изучил ее сердце... Берта взяла с мужа обещание, что он на другое утро расскажет Мюрату все правду о своем прошедшем.

— А затем, — подумала она, — мы увидим, что надо будет сделать для будущего.

И она медленно со своим обычным нежным жестом привлекла его к себе. Ее голова склонилась к нему на плечо. Глаза Шульмейстера распухли и блестели, как будто он плакал.

Но ему больше не придется плакать!

IV

На другой день Шульмейстер отправился к Мюрату. Его провели в зал префектуры, где Мюрат уже ждал его в обществе двух мужчин. Одного из них Шульмейстер знал давно: это Шее, префект Страсбурга. Второй — с виду только что приехал из дальнего путешествия. Несмотря на его запыленный полковничий мундир конных егерей без орденов, он казался чем-то иным. Большая черная шляпа с простой кокардой лежала около него на столе. Все стояли, и только он один сидел, окруженный высшими чинами армии. Присутствующие держались относительно его почтительно, и его величественный гордый вид сразу привлек внимание Шульмейстера. Он привык в своем ремесле замечать все, не показывая вида, что наблюдает. Его в особенности поразило бритое, бледное лицо с широким лбом и карие, быстрые, пронизательные глаза.

— Кто бы это мог быть? — спрашивал он себя.

Внимательная неподвижность незнакомца заинтересовала его. Непринужденная простота костюма противоречила с тем уважением, какое оказывали этому егерскому полковнику, и неудивительно, что в голове Шульмейстера возник вопрос о том, кто был этот незнакомец.

— Это — начальник! Это — начальник!

Мюрат и префект казались перед ним статистами.

Белая тонкая рука тихо поднялась со стола, на котором она лежала, и незнакомец жестом приказал начать допрос.

— Вас зовут Карл-Людвиг Шульмейстер?

— Да, маршал.

— Вы знаете, в чем вас обвиняют?

— Да, знаю.

— Что же вы можете ответить?

— Ничего. Это правда.

— Итак, вы признаетесь, что передавали в главный штаб эрцгерцога Фердинанда подробные сведения о движениях наших войск?

— Да.

— С каких пор вы занимаетесь этим прекрасным ремеслом?

— Я начал с того дня, как вы сами, маршал, поехали в Германию, чтобы собрать новости относительно движений войск эрцгерцога.

— О, я, это — дело другого рода, и вы, я полагаю, не имеете притязаний...

— Конечно, нет! Я сказал это не в извинение себе. Я только определил время, вот и все.

— Какие именно действия вы открыли неприятелю? Предупреждаю вас, часть из них я знаю из захваченных в Баварии бумаг.

— Я рассказывал все, что видел, — сказал Шульмейстер, — и сообщал о последовательном прибытии на Рейнский берег войск, ранее сгруппированных в Булоне; я уведомлял о приблизительном количестве войск, сосредоточенном в различных пунктах известных переправ. Что же касается до окрестностей Страсбурга, то я знал все прекрасно и мог изучить очень близко все, что происходит. Если вас интересует знать, как я это делал, так вот заметки о том, что я узнал вчера, когда наблюдал прибытие батальона аррасских гренадер, этих, как их называют, “круглоголовых“, которые не пудрят более волос, что, по моему мнению, гораздо лучше. Эту заметку я хотел также отправить туда, как только мне предоставится случай. Она была занесена в записную книжку, которая находилась с моим кармане в тот момент, когда меня арестовали.

— Разве вас не обыскивали?

— Конечно, но мне удалось спрятать ее за ворот моему мальчику.

— Зачем же вы мне даете ее сегодня?

— Чтобы вам доказать, насколько я сожалею о том, что сделал... Некто мне объяснил, что я не прав, вредя французской армии.

— Знаете ли вы, что в таких случаях сожаление не ведет ни к чему. Когда шпион захвачен, его расстреливают или вешают, несмотря на то, признается он или будет отрицать.

— Я это знаю, но надеюсь, что в награду за мою

откровенность меня прикажут расстрелять, вместо того, чтобы повесить.

Мюрат, истощив все средства, не знал более, какие ему задавать вопросы. Объяснения Шульмейстера и его признание были настолько законны, настолько положительны, что дело было совершенно рассмотрено. Ничего не говоря, он передал егерскому полковнику записную книжку, который, казалось, изучал ее взглядом.

— Достаточно, Мюрат, — заключил последний, — остановись на этом!

Затем, быстро скользнув взглядом по заметке шпиона, он устремил свой взгляд на Шульмейстера и спросил:

— Как же вы пересылали ваши справки великому герцогу?

— Последнюю справку я послал ему в Ульм, — ответил Шульмейстер.

— Вы знаете, что она уже там?

— Она должна прибыть туда уже три дня тому назад.

— Когда получит он последнюю бумагу, которую вы ему послали?

— Он мог получить ее сегодня утром.

— Что же вы в ней писали?

— ... Что французы расположены снова начать их традиционную кампанию через ущелья “Черного леса”, как только перейдут Рейн. Я определил их силу приблизительно в шестьдесят тысяч. Только...

— Только?.. Полноте, говорите!

— Только, признаюсь, я больше не верю тому, что сообщил.

— А! Почему?

— Прежде всего потому, что я теперь считал более полутораста тысяч человек, готовых перейти реку в разных пунктах, а затем потому, что я теперь стал понимать, насколько Бонапарт ловок, чтобы повторять приемы, которые уже весь свет проделывал раньше его.

При этих словах Шульмейстера префект выпрямился от негодования и не мог воздержаться, чтобы не поправить его.

— Говорят, — заметил префект, — “его величество император Наполеон”.

— Я не хотел обидеть императора французов, —

возразил просто Шульмейстер, — сохраняя за ним имя генерала итальянской армии.

Эти слова шпиона вызвали легкую улыбку на бритом лице егерского полковника.

— Тогда, — сказал он, — если бы вы могли открыть сейчас настоящий план “Бонапарта“, вы его тотчас сообщили бы офицерам великого герцога. Не так ли? Уж если этот человек, не зная меня, мог меня разгадать, как же я могу надеяться, что неприятель не узнал о перемене моих планов?.. Разве только найдется хорошее средство, чтобы поддержать неприятеля в ошибочном мнении!..

Он замолк и остановился против шпиона, которого только что расспрашивал, и устремил на него тот странный взгляд, какой вызывается неотступно преследующим нас сновидением. В такие моменты мы ничего не видим, даже той вещи, которую, по-видимому, рассматриваем. Напрасно встал бы между нами и этим отдаленным предметом хотя бы целый мир, он все-таки не заслонил бы его, оставшись сам незамеченным нами. Но когда через несколько мгновений с наших смутных глаз начнет спадать мало-помалу туманная завеса, то глаза, которые нам больше не служили, проясняются, и в них пробуждается жизнь. Мы начинаем с удивлением узнавать окружающих нас людей и предметы; гармония восстанавливается между нашей душой и ее органами, и понятие о пространстве и времени возвращается к нам цельностью.

— Что вы тут делаете? Кто вы такой? — спросил внезапно отрывисто Наполеон, обращаясь к Шульмейстеру... — А! Да, я знаю!.. Послушайте-ка, Мюрат, ведь этого по горло довольно... Скажи, чтобы увели этого человека.

— Что же нам с ним делать, государь?

— Я увижу после... Впрочем, нет! Пусть его не уводят; я предпочитаю, чтобы он остался здесь: может быть, мне придется ему задать вопросы сейчас.

Наполеон колебался. Проницательность этого агента его беспокоила и смущала.

“Может быть, — думал он, — есть возможность получить от него какие-нибудь указания. О чем? Об армии союзников? Об этом уж известно! Об их распределении? Сто тысяч в Италии, с эрцгерцогом Карлом; восемьдесят тысяч в Ульме с эрцгерцогом Фер-

динандом и генералом Маком; шестьдесят тысяч русских под начальством Кутузова в тридцати днях пути. Это все, что было, по крайней мере, в данный момент, так как много еще формировалось войска царя, но оно было так далеко!.. Относительно плана битвы союзников? Но его не было у них“...

И Наполеон, рассуждая таким образом, пришел к заключению, что ему более нечего узнать у шпиона. Он пожал плечами, сказал совсем тихо несколько слов Шее о том, чтобы держать арестанта на глазах, в комнате. В то время как префект бросился отдавать необходимые приказания, Наполеон, взяв фамильярно под руку Мюрата, направился к приготовленным для него апартаментам. В тот момент, когда император хотел переступить порог, он снова остановился. Положительно ему было трудно оставить позади себя этого агента, который показался ему очень развитым и сведущим. Он обернулся, чтобы его рассмотреть, но это более не было!

Перед окном, при полном дневном освещении, на том же самом месте, где находился минуту назад скромный горожанин с рыже-красноватыми включенными волосами, тщедушный и бедный на вид, теперь стоял здоровый малый, косая сажень в плечах, в худом черном парике и в туго стянутом, как военный мундир, сюртуке. Все в нем напоминало старого солдата, от сближенных вместе каблуков и вытянутой шеи с прямо держащейся головой до пристального и твердого взгляда, привыкшего к суровой необходимости отважного и сильного воина.

— Что вам надо? — спросил Наполеон. — Где же тот человек? Разве вас сюда прислал префект?

Шульмейстер, — так как это был он, улыбнулся с очевидным удовлетворением.

— Я просто хотел, — сказал он, — доказать вашему величеству, что я способен обмануть генерала Мака, так как ввел в заблуждение самый верный, самый пронизательный взгляд.

Император не мог скрыть своего удивления. Он подошел к шпиону, обошел его кругом, проверяя в сущности очень простое видоизменение, которому только что подвергся его костюм. Но, свидетельствуя эту перемену, он пришел к заключению, что была бы недостаточна и даже положительно невыгодна эта перемена в костюме, если лицо особы не подвергнется

полнейшему изменению. И в то время, как он наблюдал воинственную физиономию нового Шульмейстера, черты лица последнего мало-помалу стусывались; усы его постепенно приняли миролюбивый вид; глаза из жестоких сделались лукавыми, добрая морщина исчезла со лба. Резким движением он сорвал свой черный парик с макушки, где он был прилажен, и прежний бакалейщик воскрес перед Наполеоном. Престиж исчез.

— Это превосходно! — воскликнул Наполеон, обращившись к Мюрату.

— Вот тебе на! — ответил король кавалерии, — это факт, какой можно увидеть только в пантомиме Франкони. Остается узнать, как этот молодец успешно перерядится, когда дело коснется его головы!..

— Э! — ответил совершенно очарованный Наполеон, — мне кажется, что вопрос идет именно о его голове. Оставьте меня с ним на минуту.

— Разве вы не опасаетесь?

— Нет, я ничего не опасуюсь, полно!

Недовольный Мюрат вышел, рассуждая с собой о том, насколько безумно вверять подобному человеку и отдавать себя в его руки. Но еще более нелепо мечтать о том, чтобы отдать в его руки судьбу кампании!.. Положим, он умный и хитрый человек! Он забрал в руки Наполеона с его слабой стороны, не показывая вида, что касается ее... Низкий агент, который рад служить в одно и то же время Павлу и Петру. Двойной изменник, двойной шпион, а это самое опасное и подлое! Надо за ним следить и при первом удобном случае... Не говоря уже о том, что этот человек имеет очень хорошенькую жену!

V

Наполеон рассматривал Шульмейстера внимательно. Когда он убедился, что дверь закрылась за его зятем, он снова сел.

— Ты отправишься от моего имени к генералу Савари, — сказал он... — Но что это за движение? Разве ты знаешь Савари?

— Да, государь. Я... помогал ему когда-то, — отвечал Шульмейстер.

— Тем лучше! Он тебе вручит двадцать пять тысяч золотом... Ну, что еще с тобой?

— Я не хотел бы денег.

— Постой, это не для тебя: это для других.

— А, хорошо!

— Не перебивай меня более. Постарайся меня хорошенько понять. Ты отправишься даже сегодня вечером, пешком. Я тебе разрешаю и даже настаиваю, чтобы ты мне изменял в продолжении маршрута, сколько тебе угодно. Постой: вот листок из записной книжки, который ты вчера нацарапал; ты можешь разоблачать эти сведения, сколько тебе угодно. Только ты должен явиться в Ульм лично. Ты потребуешь, чтобы тебя допустили разговаривать с самим Маком. Ты устроишь так, чтобы он на тебя смотрел благо-склонно, и тогда объясни ему все, как следует, т. е., как ты писал в своем последнем письме. Деньги тебе понадобятся, чтобы найти среди разведчиков его главного штаба кого-нибудь наиболее умного, который подтвердил бы то, что ты расскажешь. Теперь 26-е сентября: надо, чтобы, по крайней мере, до 8-го октября мои настоящие движения были неизвестны. За-тем ты будешь свободен.

— Все это очень легко, государь, но с условием... — позвразил шпион.

— С каким?

— Не надо, чтобы я посылал вам самую ничтож-ную справку, так как за мной, конечно, будут на-блюдать и преследовать, а если они узнают о моей попытке сообщаться с вами... О, ваше величество, впрочем, можете быть спокойны: если я узнаю что-нибудь новое, я найду средство известить вас об этом.

— Так решено. Я вижу, что ты понял меня. Теперь я предупреждаю тебя, что префект, который только что был здесь, напишет указ о твоём изгнании. Го-ворят, ты женат?.. Твоя жена тоже поедет с тобой. Позже, когда ты заслужишь, я позволю возвратиться вам обоим.

— Но у меня есть дети, государь. Двое совсем еще маленьких детей, которых я усыновил: мальчик и девочка.

— Ну, так что же мне до этого? Твоя жена позаботится о них, вот и все! Ты можешь их оставить, где хочешь... Да вот хотя бы в любом местечке среди "Черного леса"! Там ничего нет, там спокойно!

- Хорошо, государь, я повинуюсь.
- Отчего ты сказал сейчас, что не хочешь денег?
- Потому что я хочу другого: я хочу сражаться.
- Сражаться? — спросил с удивлением Наполеон.
- Да!.. Я вижу, что все те, которые следуют за

вашим величеством, считаются честными людьми и даже иногда героями, потому что они делают все, что от них зависит. Так, обладая силой, они убивают или захватывают в плен врага, а если они были слабы, то умели усакальзывать от него. Я думаю, что сумею в подобном случае действовать не хуже их, и я хотел бы попробовать!... Когда я хожу один по дорогам, рискуя жизнью, в случае, если меня поймают, и подвергаясь, если достигаю успеха, презрению тех, кто мной пользуется, а также и тех, которых я предаю, разве мне не нужно в моем ремесле столько же отваги, сколько и в солдатском? Ну, вот я устал получать уплату за мои услуги... я хотел бы сделать-ся... хотел бы в свою очередь заслужить награду, хотя бы она состояла из доброго слова уважения.

— Черт возьми! — воскликнул Наполеон, который был в хорошем расположении духа от того, что нашел такого человека, которого искал. — Но, ведь, знаешь, что ремесло солдата, как ты называешь службу, — бескорыстно. Оно служит лишь для того, чтобы защищать свою страну. Солдат подставляет себя под удары и отдается им без переряживания. Между тем, ты...

— Я — один, а их тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, и все они идут на битву вместе, где их поведение заметно вам. Правда, я меняю платье, чтобы меня не узнали, но разве они при первой возможности не спрячутся, где могут? Они ползают за деревьями, карабкаются за домами или скрываются за земляными насыпями, чтобы их не убили, а это разве не та же манера переряживания?

— Ты умен, мой чудак, — возразил Наполеон, — но патриотизм выше ума. Француз ли ты? Почему же ты обманул Францию? Но ты предлагаешь выдать мне Германию.

— Государь, прошу вас, не примите за обиду того, что я скажу. Благодаря тому, что вы и вам подобные носите с боку шпаги, я лишен родины и решил на ремесло шпиона. Подумайте, я был еще совсем ребенком, когда увидел впервые, как моя деревня и

соседние были захвачены и уничтожены одна за другой проходившей армией. Не успел явиться я на свет, как первое, что увидел, была война, и она преследует меня. Поселяне, офицеры — все останавливали меня на опушке дорог, с вопросами: не впереди ли неприятель? Много ли у него войска, и где можно его захватить? Иногда они брали меня с собой, чтобы я указал им удобное место; в таком случае они меня привязывали к голове одной из лошадей, угрожая все время пистолетом. А затем, если я проводил таким образом австрийцев, французы называли меня шпионом, а если я проводил французов, которые кололи мне бока своими штыками, австрийцы указывали на меня, как на изменника!..

— Я сделался взрослым, и в такой-то обстановке я женился, не раз я пробовал избегать необходимости выдавать одним то, что делали другие. Напрасно я искал других средств к жизни от Палатината до Швабии и от Эльзаса до Баварии, но не нашел ни одной более цветущей промышленности, более доступного поприща, как война. Она водилась в наших провинциях и теперь еще существует там. Мы все выучились ее вести, глядя, как она разворачивается перед нами. Иногда она благоприятна одним, иногда другим, но мы постигли все эти тайны, и к нам приходят выведывать их беспрестанно.

— Тогда мы сделали вынужденными сотрудниками завоеваний, и дух приключений сделал из нас секретных волонтеров, которых вербуют хитростью, осуждают, оплачивают и вешают. Граница совершенно стерлась под бесконечными шагами ваших солдат, и мы теперь не знаем, где ее найти. Вот почему нас видят то по одну, то по другую ее сторону; мы идем согласно нашим симпатиям или интересам то туда, то сюда. Совершенно неправы те, кто нас презирают, потому что мы не можем действовать иначе.

— Однако я знаю, — возразил Наполеон, — людей этой “стертой границы“, которые не ошиблись своей страной... Клебер был из Страсбурга, и я сделал бы из него маршала Франции; Келлерман оттуда же, и я произведу его в герцоги Вальми!

— Я могу ответить на это, что Клебер был австрийский поручик, прежде чем сделаться французским генералом. Но, нет, я, который никогда не буду ни герцогом, ни маршалом Франции, я попрошу у вас

одного: только в тот день, когда вы будете довольны моими услугами, назначьте мне состоять при вашей особе, все равно в каком бы то ни было звании. У меня нет родины, и вы дадите мне ее. Я не сознаю себя повелителем, и с этих пор моей страстью будет повиноваться вам. Я буду солдат, который вам будет служить верой и правдой, и вы меня укроете. Вы скоро увидите, хвастаюсь ли я, и что все перья принца Мюрата не делают душу возвышеннее и сердце более стойким, чем мои переживания.

— Ты не любишь Мюрата? — спросил Наполеон.

— Я люблю молчаливую храбрость и ловкую силу, — ответил Шульмейстер.

— В день Абукира он прекрасно ходил в атаку, — заметил Наполеон.

— Потому что было множество народа, который на него смотрел...

— А у Пирамид! А Маренго!

— И в другом месте еще!.. Ваше величество правы. Но он ни разу не брал столько знамен, сколько я дам вам.

— Берегись, смотри! Он способен поддержать такое пари!

— Я только этого и хочу.

— Что ты так восстаешь против него? — спросил Наполеон.

— Не знаю! — ответил шпион. — Может быть, инстинктивно... Может быть потому, что он красив, а я дурен.

VI

Соединившиеся перед Келем полки должны были расположиться на двухдневный отдых, прежде чем приступят к переправе через Рейн. Император приказал начальникам различных корпусов, выстроившихся эшелонами во всю длину реки, явиться самым секретным образом к нему в Страсбург. После продолжительных разговоров с ними Наполеон решил, что все хитрости были излишни, так как неприятель и без них не успеет узнать раньше первых стычек истинную цель его маневра. Что же касается исполнения его плана, то он брал это на себя. Не отступая от плана, составленного им же месяц назад,

он хотел окончательно сбить с толку мнение Европы и с этой целью устроил вечером бал для страсбургцев, пригласив всех своих генералов присутствовать на нем.

Спустя несколько часов, приехала из Парижа императрица Жозефина. Хотя медовый месяц уже давно прошел в их семейной жизни, но зато теперь наступила радужная заря империи. Любезная и легкомысленная креолка, получившая год тому назад в соборе Вожьей Матери императорскую корону из рук своего мужа, все еще находилась под чарующим впечатлением и была приятно взволнована тем неожиданным величием, которое доставили ей усилия и гений этого авантюриста войны, женой которого она сделалась.

Вопреки ее летам Жозефина все еще была грациозна и более чем когда либо хороша собой, так как неправильности черт ее лица ступшевывались гармонией ее царственного величия. Ее присутствие обещало скрасить этот смело предложенный Наполеоном бал и доставить удовлетворение самолюбию этого властелина. Впрочем, благодаря своей страсти к обществу и роскоши, она с удовольствием явилась в Страсбург. Императрица знала, что она затмит всех самых молодых и красивых дам величественной гибкостью, своей походкой и прелестной улыбкой, которую она как бы нечаянно бросала окружающим. Под ней Жозефина прекрасно скрывала свою усталость. Но более всего она приводила в восторг и вызывала зависть молодых придворных дам своим врожденным изяществом.

Она была так кокетлива, и на этом балу ей предстояло быть царицей вечера, а этого было достаточно, чтобы рассеять страх новой императрицы, видевшей в первые же годы своего царствования, что ее короне угрожает европейская коалиция. Но что же могли сделать Австрия, Россия и даже сама Англия, грозная более своими субсидиями, чем армией, против очаровательной и счастливой улыбки государыни, которой Наполеон настойчиво советовал быть как можно прекрасней и нарядней, чтобы возбудить ревность всех женщин, а к себе зависть мужчин?

В девять часов вечера радостно сияющая Жозефина вошла с Наполеоном в главный зал префектуры. Разодетая в шелк, бархат и кружева и вся усыпанная бриллиантами, с маленькой бриллиантовой короной на своих прекрасных волосах, императрица была очень

эффектна. Наполеон тоже улыбался. Его ясные, живые глаза с горделивым доверием перебежали с толпящихся офицеров на группы дам, расположившихся по сторонам залы, где должна была пройти императорская чета, как бы отыскивая в самых отдаленных рядах дружеские фигуры, которые напомнили бы ему прошедшее. Снова увидев в этот торжественный час товарищей своих первых битв, он, казалось, говорил им: “Помнишь ли ты 11-й год?..” “Что ты поделывал после Тулона, после Италии и Египта?” “Я знаю, что ты около меня, и я рассчитываю на твою храбрость и преданность”. “Будь завтра тем, чем был вчера”.

Среди приглашенных, которые находились с правой стороны от Наполеона, он тотчас заметил одну группу, менее блестящую, чем другие. Только одно лицо, составляющее центр этой группы, отличалось богатством костюма. Вся грудь его была вышита золотом и украшена аксельбантом, а на его меховой шапке красовались громадные белые перья. Что же касается до офицеров, которые его окружали, то они точно все договорились явиться на бал в походных костюмах. На них были накинuty тяжелые походные шинели и вместо шелковых чулок на ногах были надеты высокие запыленные сапоги, на которых еще виднелись следы путешествия. Наполеон, очень взыскательный на этикет, по-видимому, однако, не был ни удивлен, ни оскорблен этой небрежностью.

Напротив, его лицо прояснилось еще более; чувство доверия и приветливости выразилось в его глазах, как только он их заметил. Он замедлил шаги и, обращаясь к императрице, сказал громко:

— Видишь, Жозефина, вот эти заслуживают, чтобы перед ними остановиться. Это четыре славные поддержки империи. Ты знаешь их; помнишь, они были в Тюильри в праздничных костюмах; взгляни на них, как они одеваются, чтобы одерживать победы!.. Вот Даву, который ведет двадцать шесть тысяч человек 3-х корпусов великой армии в Германии. Вот Султ, начальник сорока тысяч бойцов 4-го корпуса. Вот Ней, храбрый из храбрых, у которого в распоряжении только двадцать четыре тысячи человек, но он один стоит их всех. А вот Ланн, которого я вызвал из Португалии в Булон; я возьму его с собой из Страсбурга в Вену, потому что я не хочу и не могу ничего сделать великого без него. Кроме них, у меня

есть Бернадот, который направляется из Ганновера во главе семнадцати тысяч старых солдат, Мармон, который идет из Голландии с двадцатью тысячами человек; он известил сегодня утром, что потерял дорогой только девять отсталых, и Ожеро, который будет здесь только через восемь дней с пятнадцатью тысячами ветеранов, которых он ведет из глубины Бретани... О Мюрате уже я не говорю: ты, должно быть, его видела первого при входе в зал, так как он прекрасен, как небесное светило. Скажи им всем доброе слово, мой друг! Судьба Франции в их руках. Это — мои наместники.

После этих слов в зале произошла сцена, трогательная по простоте... Эта императрица, раздетая в белое с золотом платье, с накинутой на своих грациозных плечах красной бархатной мантией, опущенной горностаем, должна была в продолжение одной минуты олицетворить целую нацию перед глазами начальников армии. Она слегка пожала концы затянутых в перчатки пальцев Наполеона, как бы прося представить себя этим героям, хотя она уже давно их знала. Пока они, бледные и озабоченные, смотрели на нее, она сделала им низкий придворный поклон, выражая свою почтительную лагодарность и чувство восхищения.

Казалось, что сама Франция приветствовала своих маршалов.

— Благодарю вас! — сказала она, обращаясь к ним и выпрямляясь во весь рост.

И, бросив грациозно ласкающий взгляд на их походный костюм, она продолжала свой путь через весь зал, среди низко склоненных от волнения и почтения голов.

— Черт возьми, — сказал Ланн своему соседу, когда императорская чета удалилась, — изобретательно же это животное.

И его маленькие черные глазки заморгали, чтобы проглотить несколько слезинок, так как, по словам Наполеона, "Ролан армии" был в одно и то же время самый впечатлительный и плаксивый человек... когда не было Ожеро.

Даву и Сульт наслаждались с законной гордостью оказанной им честью. Что же касается до Нея, то его воинственное лицо сделалось настолько красно, что его волосы огненного цвета и морщины на щеках, казалось, превратились в белокуро-золотистые.

Мюрат слышал лишь похвалы своему костюму.

Вскоре праздник оживился, хотя потерял свою торжественность. Наполеон удалился в другую комнату, оставив Жозефину сидящей в конце залы среди придворных дам.

Но Жозефина вздумала воспользоваться таким важным случаем, чтобы больше сблизить некоторых из своих прежних приятелей, старинных аристократов, которыми она любила себя окружать, с воинами-авантюристами, уже образовавшими, хотя и без титулов, новую аристократию, рожденную победами. Около нее находился любезный, старый граф Коленкур, смотревший с очевидным сочувствием на маршалов, которым император только что оказал необыкновенную честь.

— Возьмите под руку де Коленкура, дорогая герцогиня, — сказала Жозефина, обращаясь к своей соседке г-же Ларошфуко, — проводите его к Нею, Ланну и другим. Он знает их только по имени. Представьте их от моего имени.

— Вы согласны, скажите, мой дорогой друг? — спросила она своего верного телохранителя.

— Я буду очень счастлив тоже приветствовать этих господ, — ответил, поклонившись, всегда любезный старый дворянин. — Это превосходные воины, и я часто сожалел, что мог ими любоваться только издали.

— Вы не очень будете строги к их манерам? Не правда ли? — спросила Жозефина. — Подумайте только, что они сыны своих подвигов и чаще посещают лагерь, чем салоны.

— Э, ваше величество, не все ли мне равно? Вы знаете, что я сам старый рубака.

При этих словах Коленкур любезным жестом предложил свою руку г-же Ларошфуко.

— Если вы позволите, — сказал он, направляясь к группе прославленных начальников, — то представьте меня сначала маршалу Ланну. Этот человек мне очень нравится. У него прекрасная воинственная фигура. А затем...

— А затем? — спросила г-жа Ларошфуко...

— ...Признаться ли вам в моей слабости? Он пудрит волосы, а потому, должно быть, самый любезный из маршалов.

Герцогиня имела хитрость ничего ему не ответить

и направилась с ним к маршалу. Она сказала, подойдя к Ланну.

— Ее величество поручила мне представить вам г-на де Коленкура, старого генерала, очень заслуженного. Он всегда любил славу и очень желал бы познакомиться с вами.

Лицо Ланна осветилось доброй, радушной улыбкой, и, крепко пожимая руку Коленкура, он сказал:

— Очень тронут, старина! Я люблю старинных воинов. У них всегда можно чему-нибудь научиться. Скажите, вы служили в армии — двуногой или четвероногой?..

Удивленный Коленкур не мог удержать ужасный приступ кашля, который помог ему скрыть свое удивление.

— О, черт возьми! — продолжал Ланн, — по-видимому, мы теперь поступили в полк королевских пер... что ли?

Так как кашель Коленкура усиливался, то он стал тихонько поколачивать в спину "старины", как делают детям, когда они подавятся, быстро глотая кушанье.

— Черт! черт! Это упорно, как коклюш... Причина известна, папочка! причина известна, папочка!

Камергер Жозефины едва удерживался от гнева, и хотя он сердился, но победил в себе дурное настроение и протянул, улыбаясь, свою коробочку с конфетами маршалу.

— Ну, еще! — заметил последний, — теперь бонбоньерка!.. Ах, уж эти свиньи офицеры старого режима, поверите ли, что они умели заботиться о себе.

Но не успел он окончить фразы, как один из его адъютантов приблизился к нему и шепнул на ухо несколько слов. Маршал сразу совершенно переменяет тон.

— Простите меня, г. Коленкур, — сказал он громко. — Кажется, что вы отец двух храбрых молодых людей, из которых один в двадцать семь лет уже полковник в карабинерском полку... Это уже одно доказывает, что вы хороший француз... Вы воспитали для страны ваших мальчиков! Вы их не продали за границу, как многие другие!.. Позвольте мне расцеловать вас.

И не дожидаясь разрешения, он обхватил своими

руками плечи старого аристократа и прижал его крепко к своей груди.

— Прекрасный воин! Прекрасный воин! — говорил Коленкур императрице, несколько минут спустя. — Но, Боже мой, какой у него разговор!..

— Но вы хотели познакомиться в особенности с генералом Ланном, граф? — спросила Жозефина.

— Это правда, но я никогда не предполагал, что можно в одно и то же время пудриться по-маршальски и иметь манеры “sans-cullottes“.

— Не хотите ли вы, чтобы вам показали других? — спросила Жозефина.

— Благодарю вас, ваше величество, я подожду еще немного: мне нужно придти в себя. Как я подумую, что выбрал этого по случаю его пудренных волос!..

— Что было бы, — возразила тихо г-жа Ларошфуко, — если бы вы услышали Ожеро!..

— Как! тот еще лучше?..

Внезапно появился Наполеон. Но теперь он был не тот спокойный и счастливый человек, который несколько мгновений тому назад проходил по зале с Жозефиной. Смертельно бледный, с бледными губами и нахмуренными бровями, он искал глазами маршалов и незаметно для других подзывал их к себе. Толпа раздвинулась. Вскоре у двери, в которую он только что вошел, собралась группа, с виду очень внушительная. Наполеон в своем легендарном мундире, в белых шелковых панталонах и чулках, Даву, Ней, Сульт и Ланн в походных одеждах, Мюрат блестящий, как венгерский магнат, и наконец маршал Дюрок, возвратившийся из Берлина и напрасно пробовавший склонить молодого прусского короля к союзу.

— Он колеблется? — спросил император. — Он хочет меня провести? Он ожидает события, чтобы решиться!.. Хорошо, это заставляет меня отправиться немного раньше. Тем хуже для него! Бернадот и Мармон пройдут через его владение Анспах, вот и все. Они пройдут, если возможно, друзьями, а если надо — врагами. И я отплачу ему. Тебе, Мюрат, лучше было бы отправиться немедленно. Сегодня же вечером возьми с собой четыре самые быстрые полка, переправься через реку, иди всю ночь и явись с двумя из них к первому дефиле. Два других пройдут к следующему, между тем как ты будешь притворяться,

что делаешь рекогносцировку, направленную к югу. Как только неприятель увидит тебя, отступи и продолжай свой путь. Те, кто будет идти впереди тебя, или кого ты опередишь, должны следовать тем же приказаниям. Затем я пришлю тебе инструкции с другими полками. Отправляйся!.. Ах, кстати, не забудь мой совет: я не хочу, чтобы завязалось настоящее дело. Запрети драться!

Выслушав приказание Наполеона, Мюрат вышел, надев на голову свою громадную меховую шляпу с белыми перьями. При виде его все дамы направили на него свои взоры, но Мюрат первый раз в жизни забыл о своем фатовстве. Он отправлялся во главе авангарда великой армии, и, конечно, не было времени, чтобы заниматься женщинами.

Между тем Наполеон продолжал отдавать свои приказания другим маршалам.

VII

Было четыре часа утра. Начальник поста при понтонном мосте, расположенном против Страсбурга, внимательно осматривал стоящего перед ним мужчину с рыжими волосами, который только что вручил ему бумагу. В ней заключалось следующее:

“ П р и к а з :

Податель сего приказа Карл-Людвиг Шульмейстер, уроженец Нового Фрейштата (в Германии), должен немедленно покинуть французскую территорию, а потому предписывается, как гражданскому, так и военному начальству, беспрепятственно пропустить Шульмейстера, его семью и багаж. Он должен будет, однако же, подчиниться настоящему приказу до 28 сентября утром, в противном случае будет сделано особое о нем постановление.

Префект,
Ше.

Дивизионный генерал
Савари“.

Прочитав приказ, офицер спросил Шульмейстера, указывая на едва обрисовывающуюся в темноте повозку:

— Что у вас в повозке?

— Моя жена... — ответил Шульмейстер, — да вот и она сама, посмотрите! — в этот момент Берта высунула голову из-под натянутой над экипажем пару-

сины. — Позади нее на соломе спят еще двое детей, — прибавил Шульмейстер.

— Для моего рапорта мне необходимо проверить, что вы везете с собой, — заметил офицер.

— Проверяйте! Только знаете ли, я буду вам очень благодарен, если вы можете осмотреть, не разбудив детей.

Пока они переговаривались, к повозке приблизился солдат, держа на голове большой фонарь, и принялся осматривать внутренность экипажа. Офицер, в свою очередь, тоже бросил взгляд, но ничего другого не нашел, кроме чемодана, очень незначительных размеров, и двоих спящих детей.

Берта в это время обернулась лицом к свету, так что осматривающие повозку могли видеть ее тонкий профиль, оттененный золотистой линией на темном фоне ночи и окруженный ее волосами, как бы легким ореолом.

— Черт возьми! красивая женщина, — подумал про себя офицер. — Ну, так проезжайте, господин немец, и постарайтесь, чтобы вас в один прекрасный день снова не нашли здесь.

— Забудем прошлое, капитан! Надеюсь, что вы снова меня встретите здесь и с самым законным решением.

В ответ офицер только вежливо улыбнулся, благодаря приятно личику, которое он видел в экипаже. Шульмейстер уселся на свою скамью в тележке, и лошадь тронулась скорой рысью.

Спустя несколько минут, Берта спросила мужа:

— Ты ничего не слышишь? Как будто вправо от нас раздается топот ног войска и звон оружия?

Шульмейстер остановил лошадь и стал прислушиваться. Нет никакого сомнения. Слышен был очень явственный такт галопа, отбиваемого вдали по шоссе другой дороги. Металлический звон сабель вторил этому ритмическому топоту. Хотя шум мало-помалу удалялся к югу, но опытное ухо могло разобрать его значение.

— Там идет, по крайней мере, целый полк, — сказал вполголоса Шульмейстер, как будто рассуждая сам с собой. — По какой дороге, черт возьми, они идут? Можно подумать, что они направляются к Фрейбургу!.. Ах, я знаю. Это начало необходимого отвода глаз, чтобы обмануть... тех. Это — уловка. Кавале-

ристы покажут свои мундиры с противоположной стороны, той, где происходит настоящая атака. В дорогу! В дорогу! Мне нельзя терять ни минуты, если я хочу спокойно проехать по ту сторону гор.

Он тронул вожжой лошадь, и она снова побежала. Большие глаза Берты посмотрели на него вопросительно.

— Послушай, — сказал он жене, погоняя лошадь, — мы скоро будем в Оффенбурге, находящемся самое большее в пятнадцати верстах от реки. Я оставлю тебя там, чтобы продолжать мой путь пешком, пока еще не наступил день. Я предупредил вчера нашего старого друга Родека, что ты пробудешь у него с месяц. Этот честный человек многим обязан нам и очень любит тебя, а также и детей. Кроме того, он знает, что не будет в убытке, поместив тебя в своем доме. Ты найдешь его совершенно устроенным для того, чтобы вы трое могли там поместиться.

— А ты? — спросила Берта.

— Я, моя Берта, я уйду в Ульм, чтобы исполнить свой долг.

— Относительно кого?.. Увы, Карл, поручение, которое тебе дали, не будет ли состоять опять в том же, чтобы кого-нибудь обмануть?.. — спросила Берта.

— Дорогая и пугливая совесть, успокойся! Благодаря тому, кому я служу теперь, у нас начнется новая жизнь, и спящие дети увидят спокойное будущее. На моей ответственности громадная задача, и я отправлюсь вперед один, чтобы атаковать неприятеля, а я уверен в его поражении. Это предприятие, за которое никто другой не мог бы взяться, есть выкуп за мою свободу и за прощение, которое мне даровали. Когда я выполню его, ты увидишь, что я не буду более никогда ни притворяться, ни прятаться. Доверься мне и будь мужественна, дорогая жена.

Она молчала смущенная и беспокоящаяся... Молодая женщина представляла себе, каким ужасным опасностям подвергается ее муж. Эти опасности представляли ее в одно и то же время бояться и краснеть. И где-то там, в самой глубине ума, за той таинственной завесой, где начинают видеть уже глаза души, рисуя себе внушающие страх события с самой жестокой и необыкновенной точностью, она узнавала в человеке, стоящем на коленях с повязкой на глазах перед ротой солдат, готовых его

расстрелять, черты лица своего Карла... Около него стоял громадного роста кавалерист в вышитом золотом мундире, со шляпой, украшенной белыми перьями, и с короткой шпагой, которую он поднял, чтобы дать сигнал открыть огонь.

Лязг колеса, попавшего на камень, заставил сильно вздрогнуть БERTУ, она приняла его за страшный грохот выстрелов... Карл обнял ее и успокоил ее опасения, что заставило молодую женщину улыбнуться. Он указал ей на зарю и сказал:

— Смотри, вот и день!

Солнечные лучи были еще далеко за вершинами Малых Альп Швабии, но в неопределенном еще утреннем освещении дорога казалась чернее, а долины светлее. Равнина поднималась мягкими уступами к косогору, где начиналась чаща густого „Черного Леса“. Вдали отражалась сероватым силуэтом на темном фоне сосен деревня: это был Оффенбург.

Далеко ли это?.. Нет. Напротив, путешественники были совсем близко от нее. Иллюзия, мало-помалу исчезающая, удвоила расстояние. Шульмейстер выскочил из тележки, даже не желая разбудить Ганса и Лизбету, которые спали, свернувшись на соломе. Он сделал прощальный жест рукой, тогда как БERTА, подхватив вожжи, направила лошадь к первому дому. Шульмейстер пошел по извилистой тропинке, которая должна была его привести через несколько сотен метров к входу в дефиле.

С радостным сердцем он легко вскарабкивался по косогорам. Какая была для него новость топтать свободно землю и идти в свое удовольствие к намеченной цели!.. Какая гордость быть солдатом Наполеона и гонцом армии, а не торговцем секретов и продажным предателем! Он чувствовал, что его честь наполовину восстановлена, и он сделался как будто выше.

Шульмейстер смотрел на окружавшие его деревья, которые, казалось, также хотели возвыситься одно перед другим, взяв приступом холмы, и вдруг, как бы остановленные, укоренились на месте в самой середине приступа. На них был красноватый колорит осени, но трава и мох у их корней сохраняли весенний вид. Тропинка была очаровательна; она то поворачивалась, то поднималась, то суживалась, то опускалась. Но вдруг показалось между ветвями деревьев солнце, это было для путника непреодолимой и в то же время

безрассудной радостью. Влажные листья искрились; золотистый отблеск ласкал высокие коричневые стволы дубов. Окончательный свет наложил немного бледно-зеленого колорита на темные ветви сосен...

Вскоре он достиг настоящей дороги и нашел ее еще более пленительной. Какая прекрасная вещь — дорога. Это достояние всех, как бедных, так и богатых, как дикого зверя ночью, так и птиц днем. Леса и долины направо и налево могут иметь владельцев, которые их закрывают и стерегут. Дорога же всегда открыта, всякий человек может проходить по ней. На ней нет границ; привал удлиняется, согласно крепости пешехода, и даже сам горизонт, который мог бы служить границей, отодвигается и исчезает по мере приближения к нему.

Шульмейстер быстро подвигался. Всякий раз, как он оборачивался, он видел у своих ног просыпавшуюся в утреннем тумане долину Рейна необъятной и светлой. Перед ним почти прямо расстилалась дорога, ведущая в Гегенбах, а оттуда в самое сердце гор, близ Гайзаха, чтобы затем выйти в долины Бюртемберга. Она слегка извивалась, как широкая желтая лента, покоящаяся на громадных зеленых волнах.

Он заметил справа маленький город Лар, уже полный движенья...

В самом деле, как же случилось, что он различил там в такой час столько приходящих? Земледельцы и рабочие, идущие на свои занятия, не имеют обыкновения подымать такую пыль. Да они и не загромождают так все улицы; они не представляют собой таких значительных черных масс, перемещающихся с такой правильностью. Что же это такое?

Шульмейстер присел на каменистый утес и вынул из кармана коротенькую подзорную трубу. Едва он приблизил ее к глазам, как воскликнул:

— Как я глуп! Да это кавалерия, которую я слышал сегодня ночью. Они сделали привал, а теперь приготовляются снова отправиться. А... да вот я вижу блеск сабли, которую вытаскивают из ножен... Сейчас подадут трубный сигнал... Отлично! вот он: это драгунский мотив! — воскликнул Шульмейстер.

Он услышал несколько отдаленных нот и отрывок долетевшего сигнала, чтобы седлать лошадей...

— Наверное, это драгуны!.. Я вижу отблеск касок

и искры, который обозначают карабины. Как будто они направляются в эту сторону. Живо! в дорогу!

Он встал, положил трубку в карман и повернулся, чтобы пуститься в путь... Но внезапное удивление заставило его тотчас же попятиться: два французских гусара, соскочившие с лошадей, которых они держали за поводья, прицеливались в него спокойно из своих больших пистолетов.

Откуда они вышли?

Шульмейстер не мог знать распоряжений Наполеона, он не подозревал подробности хитрого маневра. Он угадывал только главные линии его. Между тем, как драгуны шли по направлению к соседней долине, другой кавалерийский полк Мюрата, отправившийся ранее, уже достиг входа оффенбургского дефиле. Стоящие перед Шульмейстером гусары составляли один из его патрулей. Они заметили его, когда он наблюдал, вскарабкавшись на утес, и направились в его сторону, чтобы расспросить его, а при необходимости и захватить.

— Во фронт! — сказал один из них постарше. — Что ты там фабрикуешь, краснолицый, со своей пушечкой в глазу?

Карл принял самый глупый вид и сделал знак, что ничего не понимает, чего от него хотят. Однако же он все-таки тихо приблизился к ним.

— Ты только говоришь, что не понимаешь по-французски? Прекрасно! удобно же будет нам объясняться! — заметил один солдат. — Не стыдно ли тебе в твои годы быть такой невеждой!..

— Простите, гусары, может быть, вы знаете по-немецки?

— Смотри-ка! заговорил... Полно, отвечайте, о чем у вас спрашивают.

— Я смотрел на солдат, вот там...

— Откуда вы?

— Я живу в Оффенбурге, в деревне, которую вы не можете видеть из-за поворотов. Она находится по эту сторону, в получасовом расстоянии.

— Так вы, значит, прогуливались? Что же, вы взяли с собой эту карманную игрушечку для вашего увеселения?..

— Без сомнения! — ответил Шульмейстер.

— Да... Отчего же вы торопитесь направиться в противоположную сторону от вашей проклятой дерев-

ни, имя которой я уже забыл?.. Ага! Это вас беспокоит! Гм! Что я заметил? Хотите, я скажу вам? Вы расскажите людям, находящимся на другом конце этой дороги, т.е. кейзерликам, все, что вы только что видели? Вот вам!..

— Но я уверяю вас...

— Без лишних фраз! Следуйте за мной, прошу вас, по доброй воле, — в противном случае!..

Шульмейстер прежде всего рассудил, что всякое сопротивление бесполезно. Он принял приветливый вид и, склонив низко голову, приблизился еще на несколько шагов, чтобы послушно отдаться двум солдатам. Он ни одним движением не выразил сопротивления, ни тогда, когда кулак ветерана сурово опустился к нему на плечо, ни тогда, когда пальцы рекрута схватили его за воротник. Но хладнокровие мало-помалу вернулось к нему, и он стал спокойно взвешивать все обстоятельства.

Нужно ли было повиноваться? Или лучше сопротивляться?

Он совершенно неожиданно был поставлен в это странное положение. Пожертвовать жизнью в случае его бегства, или испортить успех порученного ему дела, если он допустит себя взять? Неожиданный противник, стоящий перед ним, принадлежал именно к партии, которой он хотел служить.

Если он последует за гусарами, то они наверное отведут его к офицеру, который его станет расспрашивать, а он не может ему ответить ничего удовлетворительного. Его обыщут и найдут довольно значительную сумму денег, затем — бумаги и в особенности приказ об изгнании, который докажет его немецкое происхождение, а это возбудит подозрение. Самое благоприятное для него было, чтобы его задержали до более подробных справок, но в таком случае — мат его предприятию.

Сто раз лучше подвергнуться выстрелам и погоне, но спастись бегством.

Можно себе представить, как быстро он все это сообразил, и когда оба гусара приготовились прыгнуть на лошадей, все было уже кончено...

Увы! нет совершенства! Ветеран, до тех пор говоривший, был отличный солдат, но раб постановлений. Чтобы взобраться на седло, он левой рукой захватил, по всем правилам искусства, поводья и прядь гривы,

а правой, после того как запрягал в кобуру разряженный пистолет, он зажал в кулак заднее луко седла. Но в то время, как он приподнимался с земли, Шульмейстер наклонился, схватил его за правую ногу и с такой силой поддал его вверх, что злополучный ветеран пролетел гораздо выше своей лошади, упав во весь рост на мох на другую сторону.

Второй гусар в это время тоже вскарабкивался на свою лошадь, которая закрывала своей фигурой происходящую сцену. Когда он уселся удобно верхом, то, к его крайнему удивлению, не видел более ни своего товарища, ни узника. Шульмейстер, не выпрямляясь, пробрался, скользя под лошадью невинного рекрута, после чего скрылся в чаще леса.

В одно время оба солдата, один с трудом поднимаясь, другой стараясь понять, почему его “старина” изменил закону равновесия, казалось, советовались глазами.

— Черт возьми, — вскричал первый, — где же он?

Если можно сказать, что немота иногда бывает выразительна, то второй гусар достиг высоты приверженцев Цицерона, подняв плечи до ушей и вытаращив глаза, между тем как углы его рта опустились совершенно. Вся его фигура с ног до головы, казалось, говорила:

— Я не знаю!

Вдруг послышался с левой стороны какой-то шорох, как бы произведенный убегающим диким зверем, и его мозг сразу прояснел. Он схватил пистолет и хотел выстрелить.

— Глупости! — вскричал ветеран, — приказ отдан не стрелять. За ним!..

И оба, стегая своих лошадей, бросились по бесконечным тропинкам вдогонку за краснолицым крестьянином, который очень был невежлив.

Шульмейстер бежал так быстро, как контрабандист. Чтобы верно направляться между кустарниками и скалами, ему служил безошибочный проводник — солнце. Направляясь прямо на него, он шел к востоку, в сторону неприятеля, т.е. к спасению, так как, увы, за ним гнались друзья.

Он выгадал короче путь до места, перерезывая тропинки, по которым его преследователи должны были проезжать. По временам он надеялся совершенно от них избавиться, так как звук копыт их лошадей

становился все отдаленнее и слабее. Однако, шум их галопа совершенно не исчезал. Разве они знали так основательно лес, они, чужеземцы, явившиеся, без сомнения, сюда впервые?..

Нет, тут должно быть что-нибудь другое... После двадцатиминутного бешеного бега Шульмейстер едва дышал. Его лицо и руки были совершенно расцарапаны обо все кустарники, между которыми он спасался, его шаги не были уже так уверенны. Он наталкивался на деревья, желая избежать их, спотыкался о корни и ветви цветов, стелющихся по земле. Пот лил с его лба... Он был более не в силах...

Шульмейстер остановился и стал прислушиваться. Адский топот копыт продолжался!.. Но дело было хуже: топот как будто бы умножился. Уже не две лошади гнались за ним по пятам. Он слышал со всех сторон, справа, слева, впереди и сзади, звук оружия, движение лошадей и голоса людей!

Он был окружен.

Более нет сомнения: два солдата, должно быть, разыскали своих товарищей, рассказали свое приключение, и в лес был спущен целый взвод, а, может быть, и эскадрон, чтобы пресечь ему дорогу.

Эскадрон? Так что же, тем лучше! Там будет штаб-офицер, или, по меньшей мере, капитан, и ему удастся объяснить... Увы! Что же мог бы он сказать им? Кто же ему поверит? С ним нет ни приказа, ни одного письменного свидетельства, подтверждающего его слова. Напротив, все его обвиняло.

Только и есть одно средство выйти из этого положения: это — зарыть куда-нибудь деньги и бумаги. Если бы он очень захотел, то его не нашли бы ранее пяти добрых минут. У него есть время...

Он уже спустил свою одежду и приготовился расстегнуть кожаный кушак, под которым были спрятаны двадцать пять тысяч франков в золотых свертках, полученные от Савари. Его ножик лежал раскрытым на мху, чтобы вырезать квадрат земли, в который он запрятал бы свой подозрительный багаж. Но он внезапно остановился. Ему пришла мысль, заставившая его улыбнуться...

Теперь его ножик послужил ему для другого. Он быстро обрезал им наполовину полы сюртука. Одним из обрезанных кусков он обернул шею до подбородка. Таким образом получился высокий воротник сурового

вида. Второй отрезанный кусок он разделил на две одинаковые части и обернул их вокруг ног, прикрыв таким образом свои серые чулки. Свою помявшуюся во время бегства шляпу он превратил в фуражку, рыжие волосы прикрыл черным париком, а подозрную трубку забросил за кусты. Затем с ловкостью обезьяны он начал скользить от дерева к дереву. Теперь он направлялся не на восток, как раньше, в сторону, где было слышно менее шума, а напротив, в ближайшую от дороги сторону, откуда слышалась суматоха и топот многочисленных ног. Он выбрал прекрасный момент, так как квартирмейстер гусар, внезапно заметив в нескольких шагах от себя бедняка, с испугом смотревшего на солдат, вскричал:

— Эй, человек! Мы ищем статского с волосами цвета моркови и в серых чулках. Не видели ли вы его случайно?

Человек отвечал, снимая фуражку, на французско-немецком говоре:

— Nein, montsir oftitsir, rien fu... (Нет, господин офицер, ничего не видел).

Некоторые из солдат стали насмехаться над его произношением. Он представился разгневанным и удалился, прихрамывая.

Пять минут спустя все затихло; он более ничего не слышал: он был спасен!..

Он был спасен, но он очень устал!

Приходилось ли вам когда-нибудь встречать на краю дороги одну из жалких, бродячих собак, облезлую, грязную, тощую, безобразную и дикую. Может быть, она не злее других, но отталкиваемая всеми, колоченная мужчинами, побитая камнями детьми, она имела вид, как будто всегда просит милостыню. Когда ей приходится по дороге отведать зубов откормленных крестьянских и фермерских псов, то после этого ее найдешь сидящей на пыльной дороге, упорно зализывающей жгучие раны, которые нанесли ей же подобные. При вашем приходе она прерывает свою работу и подымает голову, с беспокойством следя за вами взглядом. Но в нем, однако, нет, может быть, ничего другого, кроме страха. Затем успокоенная на несколько минут, измученная длинным путем и постоянным голодом, без хозяина и пристанища, она свертывается, сближает лапы, опускает хвост, кладет морду на свои когти и засыпает, т.е. обедает.

В таком положении был Шульмейстер; когда наконец он осмелился присесть на откосе дороги. Его платье представляло лохмотья, лицо было истощено, и члены дрожали от усталости. Хотя на нем не было видно ран, но все его тело ныло от толчков, полученных во время бегства. Все еще ему казалось, что грубая рука тянет его за галстук, громадный кулак лежит на плече, а нога солдата толкает его в бок, чтобы ускорить шаг. Осмотрев глазами пустынную дорогу, он воспользовался с жадностью своим отдыхом.

Спать! Есть! Пить! Нет на свете людей, для которых одна из этих задач была бы восхитительным сновидением более, чем для Шульмейстера, изнемогавшего от усталости. А все три вместе были бы настоящим раем.

Машинально он стал расправлять своими неверными пальцами висящие на нем лохмотья, ощупал больные от толчков места на руках и ногах и, сорвав парик, принялся выстаскивать запутавшиеся в волосах мох и отломленные от деревьев побеги. Одним словом он поступал, как бездомная собака, которую бьют и отталкивают.

Он кончил тем, что заснул, держа руку у пояса, где сохранились его сокровища. Он был голоден, несмотря на золото, которое носил с собой, жаждал, хотя в двух шагах был ручей, но в то же время был божественно счастлив, что мог забыть все и закрыть глаза.

VIII

Принц Мюрат после продолжительной езды верхом остановился перед домиком, где он должен был ночевать. Удивленные крестьяне, по обыкновению, рассматривали его величественную наружность и блестящее великолепие его штата. Раньше его в квартиру была доставлена в карете великолепная походная посуда, белье и удобный домашний костюм. Благодаря его мягкости и удобству во время сна и практичности и прочности для верховой езды, в случае внезапной тревоги Мюрат не мог обойтись без него.

Все уже было приготовлено к приезду принца. Четверо слуг старались, чтобы этот крестьянский дом не показался очень плохим его высочеству. Хозяева

дома переместились наверх. Всем нижним этажом завладели слуги для принца. Им казалось, что даже конюшня, несмотря на свою свежую, густую подстилку, едва ли достойна чести вмещать в себе его лошадей.

Заслышав стук копыт, один из слуг бросился к двери. Он приблизился, чтобы поддержать стремя Мюрата, в то время, как его товарищи выстроились вдоль стены. Жестом Мюрат отпустил своих адъютантов и офицеров. В сопровождении только одного из них он вошел в дом. На нижней ступени порога стоял маленький мальчик.

Мюрат не без удивления рассматривал ребенка, глядевшего на него серьезно и задумчиво. Его маленькая, хрупкая фигурка была принцу знакома. Где же он видел эти блестящие, умные глазки? Но ум Мюрата не обладал памятью. Он даже не замедлил шаги, а, переступив порог, перестал думать о мальчике.

Живо был приготовлен ужин и так же живо подан. После ужина, удобно расположившись перед камином, Мюрат почувствовал необходимость узнать людей, у которых он отнял камелек. Принц приказал хозяину спуститься к нему.

Спустя несколько минут перед ним предстала странная фигура. Это был мужчина лет пятидесяти, громадного роста, но столь же худой, как и длинный. Его плечи и руки были гигантского размера, а бока и ноги худы и сухи, как у скорохода. Он, казалось, был сложен, чтобы носить на своем затылке целый мир, а кулаком убивать быка. Но стоило опустить глаза, и мысль о силе исчезала, оставляя впечатление о вероятном проворстве. На этом сильном и легком теле возвышалась голова с выражением простодушия. Однако, его тонкие губы выражали лукавство. Его волосы были совершенно седые.

— Вы — хозяин дома? — спросил его Мюрат после того, как осмотрел с некоторым удивлением его замечательную фигуру.

— Только не сегодня вечером, — лаконично отвечал крестьянин.

— А — а! Это означает, что нас здесь не любят, что ли?

— О, нет, я не это хочу сказать. Я не питаю ни того, ни другого чувства к французам. Только надо-едаёт быть всегда обеспокоенным, когда хочешь жить

спокойно, и перебираться, когда привык к своему месту.

— Это закон войны, мой любезный!

— Может быть. Но так как мы не в войне с Францией, то, мне кажется, можно бы прежде, чем поселиться здесь, переговорить с нами!..

Адъютант Мюрата сделал гневное движение.

— Успокойтесь, мой друг, — сказал принц, пожимая плечами. — Предупредите, пожалуйста, обоих командиров наших колонн, чтобы они явились ко мне со своими дневными докладами.

Затем, обернувшись снова к своему хозяину, Мюрат сказал:

— Бьюсь о заклад, что вам не сказали, сколько я заплачу за ночлег? Смотрите: вот за проведенную у вас ночь!

И Мюрат великолепным жестом бросил на стол кошелек. Он, по меньшей мере, должен был содержать в себе десять золотых наполеондоров. Хозяин взял его, прикинул на руку и снова положил на стол, пронзительно свистнув. Спустя момент, позади его показалась бледная голова ребенка, который так внимательно рассматривал Мюрата при входе в дом.

— Вот тебе, Ганс, возьми деньги, которые принц Мюрат пожелал нам дать. Если твоя мать позволит, то на них можно купить тебе и твоей сестре одежду. Мне ничего не надо, — прибавил он, гордо закидывая голову.

— Что это за ребенок? — спросил удивленный Мюрат. — Он родственник ваш? Кто же его мать, о которой вы говорили?

— О, не беспокойтесь об этом, генерал. Он мне не приходится родственником, а ту, которая его воспитывала, вы не знаете совсем. Только я раньше вас ее здесь поселил, и нахожу справедливым, чтобы она воспользовалась вашим великодушием.

Стеснительное молчание водворилось на несколько минут. Старик прервал его, видимо, усиливаясь быть любезнее:

— Но теперь, кажется, все устроилось. Вы были любезны, генерал, занялись нами минуту, этого достаточно. Вашим людям что-нибудь надо? Мой бедный дом, как он есть, удовлетворит ли вас? Не нуждается ли вы в чем-нибудь? Могу ли я вам оказать какую-нибудь услугу?.. Я не больше, как крестьянин, но

буду счастлив дать себя в распоряжение такому прославленному воину, как вы.

Лесть была тем более неожиданная, что ей предшествовала суровость приема. Мюрат, наслаждавшийся ею во всяком случае, теперь после такого предисловия находил ее вдвойне приятной.

— Нет, — ответил он снисходительным тоном. — Нет, благодарю вас, все хорошо. Прикажите только, чтобы дали кушать гвардейцам. Мои люди заплатят за все, что вы им доставите... Но еще одно слово, прошу вас! Как вас зовут?

— Меня зовут Франц Родек.

— Вы из Бадена?

— Бадена... да... теперь.

— Почему “теперь”? Разве переменили страну? Вы не отвечаете... Где вы жили прежде, чем поселились здесь?

— Я жил в Этенгейме.

— Этенгейм?.. Я знал такой. Недавно должны были сражаться вокруг города или деревни, носящей это название...

— Там не сражались, генерал, но все-таки там была пролита кровь.

— Какая кровь!.. Объяснитесь!..

— Восемнадцать месяцев назад, в марте 1804 года туда явились солдаты в мирное время. Они нарушили права народа и вечной справедливости, схватив и увезя принца королевской крови...

— Принца Ангиенского?..

— Да, вы сразу вспомнили его имя! Это именно так, Людвиг-Антуан Бурбон, принц Конде, герцог Ангиенский, мой повелитель!

— Ваш повелитель?.. Вы были?..

— Я был самый покорный из его слуг... Я восторгался его храбростью и любил его молодость... Он не позволил себя защищать, но я видел, как отряд в триста кавалеристов окружил деревню, в которой он спокойно жил. В то же время отряд, даже с артиллерией, пришел сюда, в Оффенбург, охранять окрестности. Я видел, как моего повелителя отвезли в Страсбургскую цитадель, как какого-нибудь злоумышленника или предателя. Я знаю, что спустя две недели его расстреляли ночью в Венсене после шутовского приговора по приказу Бонапарта, первого консула!.. Правда ли, нам говорили, что в то время губернатором

Парижа и начальником солдат, из которых составился отряд, был принц Мюрат?

— Нет! Нет!.. Я не хотел!.. Я противился...

— Да, мне это тоже рассказывали!.. По-видимому, нужен был Савари, чтобы совершить хладнокровно этот позорный приговор!.. Прекрасно: я счастлив, что услышал, как вы повторили мне это сами. Значит, правда, что генерал Мюрат осмелился сказать своему шуину — “императору“, отныне императору, все, что ему подсказала совесть? Да будет ему честь за этот смелый поступок! С этих пор его покой не будет нарушен под этим кровом, пока я жив. Вы меня спрашивали сейчас, генерал, откуда я?.. Я не немец, но уже восемнадцать месяцев я отказался быть французом. У меня нет другой родины, кроме моего дома и в нем я охотно предлагаю вам гостеприимство!

После этих слов Родек повернулся, и Мюрат услышал, как снова раздался странный призыв, на который уже Ганс однажды пришел. Ребенок был недалеко и снова явился немедленно.

Тогда старик жестом, простота которого достигала величия, взял у мальчика кошелек и положил перед Мюратом на стол, говоря:

— Прошу вас побереечь это, генерал! Решительно, я все еще остался немного шуаном, чтобы допустить себя прикоснуться к золоту “голубых“.

Он поклонился и вышел. Удивленный Ганс прислонился к косяку двери. Он увидел старого Родека, всегда тихого, доброго, молчаливого и мягкого, разговаривающим так гордо с начальником армии. Хотя он ничего не слышал, что говорилось перед его приходом, но он понял, что скромный крестьянин строго говорил с человеком, перед которым дрожало столько людей. Он видел, что после ухода старика Мюрат остался сидеть с поникшей головой.

Принц оставался неподвижен. В самом деле ему казалось, что он снова переживает все перипетии ужасного происшествия, вызванного неожиданно. Он вспомнил, как год тому назад ему принесли приказ о смертной казни герцога Ангиенского, который он должен был подписать. “Нет, нет! Я не хочу видеть этой крови на шитье моего мундира!“... Затем была ужасная сцена с Наполеоном, выслушавшим холодно и высокомерно его отказ и возражения, на которые последний ответил сурово: “Хорошо“.

И принц продолжал раздумывать о том, что в начале кампании, которую все считали славной, рок привел его в убежище жертвы... Это было, как черное предсказание, кидающее тень на будущее.

Он поднял голову и увидел бледного ребенка, смотревшего на него. Его мысли переменились.

— Кто ты, малютка? — спросил он, стараясь смягчить свой голос. — Разве ты живешь в этом доме?..

— Я здесь с сегодняшнего утра. Раньше мой друг Франц приезжал к нам в Страсбург, а затем вы к нам приходили, я ведь вас хорошо узнал, полноте!

— Меня? Ты уверен?..

— Да, я уверен!.. Это было не так давно!..

— Ты хочешь сказать, что видел меня на улице верхом, не правда ли?

— О, нет! вы были пешком, совсем один и не были так красиво одеты.

— Полно! приблизься и Расскажи-ка мне немножко.

Ганс подошел спокойно, пожирая глазами его вышивки, кресты и шпагу, которую он мог потрогать. Он доверчиво прижался к коленям Мюрата, смотря прямо ему в глаза и не смущаясь теперь его величественной фигурой. Затем он наклонил голову и тихонько, украдкой стал поглаживать кончиками пальцев висящий золотой шнурок темляка.

— Где же ты видел меня? Скажи теперь.

— У нас! Мама Берта была с вами, когда мы с Лизбетой вернулись. У нее был такой печальный вид, но, когда вы уходили, то сказали что-то, доставившее ей удовольствие. Тогда я увидел, что вы не злой.

— А, угадал!.. Улица де-ла-Мессанж, не правда ли? Тому два дня? Да, да, я вспоминаю! А где же теперь твой отец?

— Не знаю... Я никогда не знаю!..

— А твоя мать?

— Она здесь с нами.

— Как, здесь? Эти комнаты занимала она?

— Да, Франц перевел нас наверх, узнав, что вы придете.

При звуке детских слов душа воина мало-помалу освободилась от печальных мыслей, только что ее омрачивших. Затем в его воображении предстало красивое лицо и изящный силуэт женщины, которую он нашел в скромной лавочке. Теперь он, сияющий силой

и славой, встретит снова ее и даже будет встречать мимоходом в своих разъездах на глазах неприятеля. Все это облегчило атмосферу, и черные тучи прошедшего унеслись высоко к звездам.

Впрочем, правда, что он был в тот вечер очень добр к этой красивой женщине, испуганной шпионом Шульмейстером, и он с самодовольством вспомнил об этом. Но и эта маленькая лавочница тоже была очаровательна! Возможно ли, чтобы она принадлежала подобному грубому мужику!..

Теперь Мюрат смеялся себе в усы, барабанил пальцами по плечу ребенка. Провалились, черные мысли, при подобном соседстве! И солдатское фатовство победителя дошло до мысли: “Когда найдется другой подобный случай?”

Движение по улице, шум сабель, задетых за порог, и несколько грубых, отрывочных слов, достигших его уха, заставили Мюрата поднять голову.

— Останься там, — сказал он Гансу, указывая на один из углов комнаты.

Вошло четверо офицеров: один драгунский, другой гусарский полковники и два капитана.

Они молча ожидали вопросов начальника. Затем на безмолвный вопрос глазами Мюрата оба полковника последовательно отвечали, что видели и что знали. Этот словесный рапорт не содержал, по правде, ничего интересного и нового, чего не видели бы ежедневно на войне. Однако Мюрат не забывал специальной роли, которая ему предстояла в этом прологе кампании. Он настаивал, чтобы узнать малейшие детали демонстрации, сделанной обоими полками при входе в дефиле...

— Какие признаки собрали вы о том, что наши движения были указаны неприятелю? — спросил он наконец. — Встретили ли вы какой-нибудь австрийский корпус, отряд конницы?

— Нет, ничего! — в один голос ответили полковники.

— А местные жители как встретили вас?

— Вежливо... Прилично...

— Ни одной подозрительной фигуры среди них?...

Ни одного человека, попробовавшего пройти, несмотря на вас, на другую сторону гор?

— А! что до этого, напротив, — отвечал гусарский полковник. — Капитан, командующий моим третьим

эскадрон, заявил, что гонялся за человеком, схваченным двумя его солдатами. Одного из них он сначала опрокинул, а от другого скрылся и пустился бежать лесом. Обыскали все чащи, но его не нашли. Я оставил еще несколько человек, которые караулят три перекрестка, чтобы окружить облавой место, где он исчез.

— Прикажете им вернуться, полковник! Бесполезно искать этого молодца... Тем лучше, если он скажет другим, что нас видел, потому что для этого-то мы и показываемся! Есть у вас приметы этого человека?

— Да, маршал, маленький, коренастый, с рыжими волосами. На нем надет коричневый сюртук и серые чулки. Он наблюдал издали за нашими драгунами, когда мои гусары его захватили. Он, должно быть, бросил свою подозрительную трубку, когда бежал. Один из солдат поднял ее: вот она. Я наказал обоих солдат, допустивших его побег.

— Отмените наказание! Он оказал нам важную услугу помимо его желания.

Ганс сделал легкое движение в своем углу. Мюрат повернул голову в его сторону, посмотрел на него и, подаваясь какому-то внезапному побуждению, спросил:

— Знаешь ли ты, крошка, человека, о котором полковник только что говорил мне?

— Это — папа! — отвечал ребенок с оттенком гордости и нежности в голосе.

— Ты уверен?

— Ну, конечно. У него надеты серые чулки, а вот и его трубка...

Мюрат смеясь положил свою руку на голову ребенка.

— Видите, господа! Наш беглец известен. Не занимайтесь больше им: это приказ императора!.. Мы отправляемся завтра рано утром. Прикажете звонить пробуждение в четыре часа. Дорога назначена драгунам в Оберкирх через Аппенфейер, а для гусар, имеющих лучших лошадей, в Ахерн, где они обождут меня. Спокойной ночи!

Только что успели уйти офицеры, как в дверях показалась Берта и остановилась, пораженная зрелищем.

Мюрат стоял перед столом, вода пальцем по разложенному плану, как будто изучая глазами дорогу,

по которой ему придется следовать. В двух шагах от него маленький мальчик забавлялся совершенно подомашнему, вынимая тихонько из ножен стальное лезвие шпаги.

— Что ты делаешь здесь? — сказала она. Краска покрыла ее щеки при звуке своего собственного голоса, прежде чем генерал и ребенок одним движением повернулись в ее сторону.

Она хотела извиниться за свою нескромность в материнских чувствах и сделала жест, чтобы позвать и увести своего сына.

— Наконец — это вы?.. — Этим криком радостно приветствовал ее появление Мюрат. Она сконфузилась и осталась прикованной на одном месте.

Ганс подвинулся к стене и сел в старое кресло Родека, которое представило ему возможность отдалиться. Мюрат бросился с протянутой рукой к молодой женщине. Последняя не могла помешать себе, чтобы застенчиво не дотронуться до нее кончиками своих пальцев.

— Не браните, сударыня, этого милого мальчика! Я сказал ему, чтобы он остался здесь... Это я его задержал. Не угадываете ли вы, почему мне доставляло удовольствие слушать его?

Берта не знала, что отвечать. По правде сказать, чувство, которое она испытывала при виде Мюрата, не походило на чувство благодарности, так как ее женская гордость была безупречна. Тем более это не была привязанность, ибо она едва знала этого блестящего офицера, этого грозного принца, смотревшего на нее такими пылкими и веселыми глазами. Но тогда это, значит, была все-таки небольшая симпатия, потому что он уже второй раз выказал к ней любезность и доброту.

Она кончила тем, что сказала, вся дрожа, как в лихорадке:

— Пора этому ребенку вас покинуть, сударь. В этот час я должна его уложить спать. Вы сами, без сомнения, нуждаетесь в покое!..

— Мой истинный покой, — перебил ее Мюрат, — это видеть вас! Если бы вы знали, какое вознаграждение после тяжелого дня найти подобную хозяйку квартиры!..

— О, пожалуйста...

— Да, да! я знаю, что я уже успел вам не

понравиться грубостью, с которой я говорил в первый раз. Но вы скоро поняли, — не правда ли? — что не умеешь взвешивать слова, когда выражаешь истинное чувство. Надо простить грубость воину, как я, когда он хочет сказать, что у него на сердце.

Он говорил с ней нежным голосом, как бы с ребенком, которого не хотят напугать. Они были так близки друг к другу, что она чувствовала себя как бы окутанной его неуловимой лаской. Это было какое-то восхитительное и страшное оцепенение, которое мало-помалу охватывало ее, пока она слушала Мюрата. Она смотрела на это темное, отважное лицо, слегка побледневшее от нежности или желания, и ее глаза помутились... Она повернула голову к сыну и увидела его свернувшимся в большом кресле. Он наполовину уже дремал, прислонившись склоненной на плечо головой к спинке большого кресла.

— Чего вы боитесь? — сказал Мюрат. — Ваш телохранитель здесь, близко от вас... И потом я не хочу вас ни пугать, ни огорчать. Почему вы не позволяете мне сказать вам, до какой степени вы занимали мой ум и сердце, с тех пор, как я увидел вас на улице Мессанж? В этом ничего нет дурного. Вас зовут Берта, я знаю это... Да! Я знаю это. Вас это удивляет? Вы так божественно прекрасны.

— Умоляю вас, ничего не говорите мне больше... Вы забываете, кто я... и кто — вы...

— Я ничего не забываю... Но когда человек идет весело на битву и останавливается на дороге на один момент, чтобы позволить своему сердцу излиться перед женщиной, разве он не достоин, чтобы его выслушали и поверили? Зачем я буду вам лгать, быть может, накануне смертельной раны?... Разве вы не чувствуете... Берта, что я друг вам?

— Молчите! молчите!..

— Разве это не имеет значения, что мы, обыкновенно так далекие друг от друга, соединились сегодня в одном и том же доме? Кто мог бы сказать, что мы так встретимся?

Теперь он находился совсем близко к ней, настолько близко, что слова, которые он шептал, едва пробуждали в комнатной тишине легкое жужжание любви. Она была бледная и чувствовала, что все ее мысли и рассудок уходят в безумии поражения. Непроницаемый туман поднялся перед ее глазами и закрыл собой

действительную жизнь с ее долгом, благоразумием, дозволенным счастьем и темным будущим. Однако, в тот момент, когда Мюрат обхватил ее талию, в ней пробудилось чувство возмущения. Она освободилась от него и удалилась на шаг. Дальше она не могла идти. Он удержал ее руку, нежно зажатую в своей.

— Меня обижает, — возразила она, задыхаясь, — что вы говорите так со мной, что вы удерживаете меня!.. Я хочу...

— Не приказывайте и не требуйте ничего... Скажите только, чего вы желаете: Мюрат вам будет повиноваться во всем, что бы вы ни сказали.

— Умоляю вас позволить мне увести сына и никогда больше не говорите мне...

Он сделал ей знак, чтобы она более не продолжала, и она замолчала. Тогда Мюрат отпустил ее руку и направился к креслу, где спал ребенок, которого он взял на руки с тысячью предосторожностей.

Ганс не сделал ни одного движения... и его голова склонилась на плечо Мюрата с той же бесцеремонностью, с какой лежала на спинке старого кресла.

Мюрат вернулся улыбаясь и положил на руки молодой женщины свою легкую ношу. Ребенок так крепко спал, что ничего не сознавал, и его крепко сомкнутые глаза даже не открылись ни разу.

Но затем она снова почувствовала себя испуганной, как и вырываясь только что из восхитительных объятий. Ничто ее не защищало от поцелуя, которого она так страшилась. Малейший крик, малейший жест с ее стороны разбудил бы ее спящего сына.

IX

На другое утро, несколько минут спустя после отъезда Мюрата и его офицеров, старый слуга герцога Ангиенского оживленно разговаривал с Бертой Шульмейстер.

— А я заявляю вам, что не могу допустить вас уехать так! — говорил старый Франц Родек... Куда вы отправитесь?

— Я уеду во Францию или углублюсь в лес, не все ли равно!.. Но я не могу оставаться здесь...

— А!.. И вы, без сомнения, возьмете с собой детей?

- Детей?..
- Ну, конечно! Зачем же я оставлю их у себя, если вас не оставлю? Шульмейстер, прося принять вас и заботиться о вас в его отсутствие, подразумевал вас троих. Вы должны бы жить вместе в моем доме. Я иначе не обязывался. Кто вам сказал, что я обре- меню себя одними малютками?
- О, господин Родек!.. Прошу вас об этом!
- Скажите мне, зачем вы хотите убежать?.. Так как, поистине, это бегство, не правда ли? Что такое случилось? Что довело вас до такой степени безумия, вас, по обыкновению серьезную и рассудительную? Разве присутствие этих солдат? Офицеров? Немного же надо, чтобы вас взволновать. Вы, слава Богу, уже насмотрелись на этих людей в мундирах! Или потому, что главный штаб должен, по-видимому, поселиться здесь сегодня вечером? Но с завтрашнего дня, вы это знаете, мы не будем более осаждены ими! Можете же вы, как я, потерпеть двадцать четыре часа.
- Нет, нет! Не хочу!
- Полно, полно, дитя мое. Отчего не сказать мне, что вас тревожит и смущает? Чего вы можете опа- саться? Мне кажется, что “принц“ Мюрат не даром любезен к нам? Я его не люблю, но должен при- знаться, что он делает все, чтобы нас не очень стес- нять... Только что он очень вежливо извинился, уез- жая, за то, что должен квартировать в Оффенбурге еще сегодня вечером. Он отдал в моем присутствии самые приличные приказания своим слугам.
- О! Конечно, он был очень хорош...
- Он даже одержал, по-видимому, победу над Гансом, так как ребенок не покидал его весь вечер. А вы сами разве не вошли в комнату, где находился Мюрат, раньше чем пойти к себе? Я думаю, что вы не можете на него пожаловаться?
- О! Нет... нет... Я ничего не могу сказать.
- Тогда что же?
- Я хочу уехать.
- Это безумие. Послушайте, вы знаете прекрасно, что я ни за что на свете не хотел бы, пока вы находитесь в моем доме, видеть вас подверженной малейшей неприятности, благодаря моей слабости или невниманию. Скажите только мне, что вам не нра- вится здесь, и что вас притягивает в другом месте? Слово Родека, я тогда запрягу свою кобылу в одно-

колку и отвезу вас лично, куда вы хотите поехать. Но, черт возьми, я имею право знать, какой тут смысл, и не повинуетесь ли вы безрассудному страху. Шульмейстер мне не простит, что я допустил вас покинуть это убежище, выбранное им самим, и он будет прав!..

— Шульмейстер первый оправдал бы меня.

— А... Первый?.. Смотрите-ка!

Франц Родек выпрямился во весь рост. До тех пор его глаза так и впивались в глаза молодой женщины, чтобы угадать ее мысль. Теперь он более не смотрел на нее. Казалось, что он наблюдал далеко позади нее какой-то спектакль, возмущавший его. Выражение его лица становилось настолько жестоко и ужасно, что Берта не могла удержаться и, повернув голову, быстро осмотрела одним взглядом пустую комнату.

— Вот-то я дурак! — шептал старый шуан. — Точно принц Мюрат мог пройти мимо подобного создания, как она, без того, чтобы у него не явилась мысль завладеть ею для собственного удовольствия!.. Не все ли равно ему, что она принадлежит другому? Когда отправляешься завоевывать Германию, можно начать с победы над немкой... Что же он сказал вам? О!.. Простите!..

Находясь под влиянием гнева он задал ей вопрос, не подумав. Бледное лицо и блуждающие глаза Берты привели его в себя.

— Простите, дитя мое! Не все ли равно, что он сказал. Я вообразил себе, что, сознавая себя могущественным и пленительным, он выказал себя ласковым и льстивым... Я знаю!... Я знаю! Ничего не говорите мне. Вы, такая чистая и порядочная женщина, были наверное сразу удивлены и, может быть, немного ошеломлены его жаргоном. Только дети, как Ганс, допускают себя ослепить золотыми аксельбантами... Женщины иногда те же дети!.. Не говорите ничего, я знаю все! Мы сейчас уедем.

Проницательность и доверчивое расположение старого Франца так дополняли друг друга, что Берта себя почувствовала с ним душа на распашку. Она не сказала ему ни слова, и он понял ее. Берта стояла неподвижная, пристыженная минутной бессознательностью и слабостью. Она была поражена ужасом от предстоящих испытаний снова завладеть своей волей, чтобы восторжествовать над страшным, безумным ув-

лечением. Но внезапно у нее явился союзник, рассеявший своей прямою атмосферу, полную волнений, в которой она находилась со вчерашнего дня. Она была ослеплена: Родек сказал правду! Но теперь она чувствует себя сильной и неприступной. Спокойная снисходительность старика вернула ей самообладание.

Она подняла на Родека свои проясненные глаза. На ее губах обрисовалась нежная полуулыбка, в которой оставалось еще некоторое смущение. Но внезапно она побледнела, видя во взгляде ее хозяина, устремленном на нее, отпечаток горестной суровости.

— Пришел час раскрыть вам секрет, долго мной сохраняемый, — сказал он после тяжелого молчания. — Я не рассчитывал вам так рано открыть эту ужасную историю, но я вижу, что обстоятельства сильнее моей воли... Они нас не предупреждают о своем ходе, но внезапно раскрывают нам глаза на мир, казавшийся нам иным накануне. Уже если вас судьба нечаянно поставила лицом к лицу с людьми, замешанными в вашу жизнь, я не имею права долее молчать: надо, чтобы вы узнали все.

Берта устремила на него свои расширенные от мучительного беспокойства глаза. Инстинкт подсказывал ей, что не о ней одной идет дело, и наконец слова старика бросят свет на таинственные события, совершившиеся перед ее глазами.

— Дело идет о малютках, — продолжал Родек, дотрагиваясь до ее плеча, желая этим как бы успокоить ее смятение. — Дело идет об их матери, вашей бедной очаровательной сестре, умершей от горя в прошедшем году. Дело идет также и об их отце, известном мне одному и ужасный конец которого причинил отчаяние и сократил жизнь нежной защитнице этих малюток. Вы помните это гордое и красивое создание, которое, казалось, предназначалось к более счастливой мирной жизни. Вы помните, насколько казалось невероятным, чтобы она забыла свои обязанности и решила жить далеко от своих, не признанная никем и тем не менее счастливая в своем позоре... Все это потому, что она встретила самого благородного и преданного из друзей, сознавала себя вполне любимой человеком, который дал бы ей свое имя, восторжествовав над всеми препятствиями, но неожиданная катастрофа вырвала его из ее рук...

— Так... — прервала его Берта с глазами, полными слез. — Так Ганс и Лизбета...

— Ганс и Лизбета — дети, увы! Сироты Жанны Унгер, вашей сестры, и Луи Бурбона, герцога Ангиенского. Мой несчастный повелитель часто являлся в Этенгейм и жил иногда подолгу в уединенном домике по дороге во Францию не для заговора против дирекции, а позже против первого консула, но для того, чтобы снова встретить мать своих детей. Он находился около нее, сколько было ему возможно. Я сопровождал его всегда в этих секретных путешествиях, дабы снова увидеть ту, которую я называл “госпожой”. Он доверялся только мне, чтобы предупредить о своем приезде и чтобы обеспечить их спокойствие, когда он был с ней. Он, конечно, изменял свой костюм во время этих путешествий, но, как и следует принцу его расы, ничто не обнаруживало его.

Сколько раз я видел его играющим со своим сыном! Он обожал его. Для всех ребенок назывался Гансом, только для своего отца он был Жан. Это был их секрет... Принц шептал ему очень тихо это имя, и малютка бледный, с блестящими глазами бросался в его объятия.

После двойной катастрофы, когда я решил верить вам и вашему честному Карлу этих двух бедных крошек, я отвел мальчика в сторону и объяснил ему, как умел, о случившемся несчастье. “Ты будешь жить с сестрой твоей матери. Она также прекрасна и добра. Повинуйся ей. Но она не знала твоего отца; береги же для себя одного воспоминание о том, кто так любил тебя. Когда мы встретимся, то будем о нем разговаривать”.

Впрочем, незачем вас уверять, что он не знал ни звания, ни настоящего имени потерянного покровителя... В его глазах это был его отец, вот и все!

Дорогой малютка поступил, как я указал ему. Это честный мальчик, он не изменил своим двум расам. У него сердце крестьянина, но в нем бьется королевская кровь. Он тверд и верен, мужествен и скрытен. Иногда, оставаясь со мной вдвоем, он смотрит на меня бледный, с покрасневшими от слез глазами. Я пробовал улыбаться и звать его тихо по имени Жан, которого он давно не слышал. Тогда он горестно подымал глаза, будто желая рассмотреть далекий образ. А у меня этим временем, при воспо-

минании о моем повелителе, сердце разрывалось от рыданий.

Берта плакала при воспоминании о своей исчезнувшей старшей сестре. Слова Франца Родека приподняли последнюю завесу, спущенную перед ней. Теперь раскрылось, чего она до сих пор не знала из жизни и любви Жанны. Она вспомнила, с какой строгостью принимал ее отец, уважаемое всеми должностное лицо в Сент-Мари-о-Мин, скромные попытки некоторых родственников, старавшихся вымолить прощение для отсутствующей дочери. Она смутно спрашивала себя, подозревал ли, хотя бы один момент, отец имя человека, для которого эта опозоренная девушка покинула родительский кров.

Затем она унеслась мысленно к своим юным дням и увидела себя под тяжестью неизвестной ошибки. С этой минуты она поняла, почему с такой поспешностью схватились за неожиданный случай, чтобы ее устроить. Ее выдали замуж за скромного иностранного купца, который жил везде понемногу, не имея нигде ни связей, ни привязанностей. Правда, он искренне к ней привязался, но не очень домогался ее руки!.. Однако, этот случайный муж был совершенством по своей доброте к ней, хотя после всего совершившегося она не имела никакого права жаловаться.

Ее мысли завертелись вихрем и смешались... Они толпой ворвались в ее ум в продолжение тяжелого молчания, последовавшего за рассказом старого шуана. Самая упорная из них, которая беспрестанно появлялась, едва успев исчезнуть, была мысль о детях-сиротах, живших с ней. Она заботилась о них от всего сердца и воспитала, как могла, их, последних отпрысков почти королевской расы, настоящих французских принцев.

Она любит их по-прежнему, но теперь присоединилось еще чувство уважения.

Внезапно открылась дверь, и маленький мальчик вошел своим обычным шагом.

Первый раз ей показалось недостаточным посмотреть на него, и она принялась изучать его. У него были белокурые волосы и естественно бледное лицо. Он был худ, но энергичен и крепок. Его глаза были голубые, а взгляд казался то твердым, то мечтательным. Как это случилось, что Берта никогда не замечала этого холодного решительного лица,

этого не то что высокомерного, но какого-то недосыгаемого вида.

Мальчик заметил, что на него смотрят не так, как обыкновенно. Он уловил на лице старого Франца выражение, похожее на то, какое он видел во время их тайных бесед. Затем Ганс перенес свой взгляд на БERTУ и увидел ее потрясенной непонятным душевным волнением. Тогда он еще более побледнел и, казалось, колебался, что ему делать.

Она, не отрывая от него глаз, протянула к нему руки и дрожащим голосом сказала это простое слово:

— Жан!..

Он сначала попятился, как будто от сильного удара в грудь, затем бросился к своей новой матери и начал ее яростно целовать, повторяя с улыбкой и слезами:

— Мама Берта, мама Берта!

Затем, высвободившись от нежных объятий и не говоря ни слова, он выбежал.

Родек и Берта переглянулись с удивлением.

Минуту спустя, Ганс вошел, держа за руку свою маленькую сестру. Толкнув ее нежно к той, которая их обоих усыновила, он сказал едва слышно:

— Теперь ее надо звать Елизаветой. Это ее французское имя...

Около двенадцати часов дня маленькая деревенская тележка тихо катилась лесом.

Путешественники оставили дом открытым для ожидаемых гостей. Слуги Мюрата могли распоряжаться по своему усмотрению погребом и хлебным амбаром. Правда, погреб был очень скромный, а амбар плохо наполнен, зато постели были готовы, стол накрыт; шкаф для белья не заперт; в конюшнях была приготовлена солома в снопах, которую только оставалось разбросать вилами, и подстилка была готова.

Далеко, уже очень далеко, по дороге, тянувшейся по другую сторону гор, ехала тележка ровным шагом не очень скоро, но без остановки. Впереди ее шел гигант, с седыми волосами. Его гибкая походка и крепкая сильная фигура обличали осторожный и степенный вид. Около него шел ребенок, которого приводило в восторг каждое встречавшееся обстоятельство и развлекала каждая птичка. Он хлестал мимоходом своим прутиком по печальным ветвям

сосны, протягивающимся к почве, подобно опустившимся волосатым собачьим хвостам.

В тележке сидела красивая, но все еще очень печальная женщина с маленькой, хорошенькой и очаровательной девочкой. Последняя смотрела на все: на солнце, на деревья, на камни, на лошадь, на небо, на старика, на горизонт, на бегущего ребенка, на летевшее насекомое, улыбалась всему и все время болтала своим ясным и невинным голосом, в котором слышалось пение, смех, опасения и радость.

Уже давно длится их путь. Они отправились после первого завтрака, отчего Лизбета уже проголодалась. Но она не смеет признаться из боязни прервать чары путешествия. Ей так весело видеть своего брата идущим, как большой мужчина, и не чувствующим совсем усталости!.. Если бы она могла знать, кто из них ранее устанет — большой Франц или маленький Ганс!.. Вот будет весело-то, если такой великан захочет отдохнуть раньше мальчика!.. Да разве Ганс еще мальчик, он идет с таким решительным видом!.. Когда перестают быть детьми? Разве когда позволяют ходить по дорогам пешком не боясь запряженных в экипаж лошадей?.. Наверное, Лизбете никогда не позволят такой свободы. Это, вероятно, оттого что она не переставала еще быть маленькой девочкой!.. Тогда зачем же позволяют ее брату? Должно быть, он уже больше не маленький мальчик.

Эти рассуждения заставили ее восторгаться своим обычным товарищем по играм. Она захотела тотчас же высказать ему радость и наклонившись закричала:

— Ганс, Ганс! Поди-ка сюда.

Он с видом любезного покровителя повернулся к ней и улыбнувшись сказал:

— Оставь меня, моя Лизбета; я смотрю, спокойно ли на дороге!

Тогда убедившись, что ее брат не только сделался взрослым человеком со вчерашнего дня, но превратился даже в героя, она бросилась в материнские объятия Берты, готовые всегда принять ее. Ее личико внезапно изменилось: щеки побледнели, глаза сделались печальны, и она сказала:

— Мама Берта, я голодна!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Генерал Мак был сильно разгневан. Уже в продолжение нескольких дней все складывалось так, что уничтожало все самые старинные его познания и совершенно противоречило военным принципам. Так, весь свет до сих пор соглашался, что на Европейской карте существуют несколько традиционных позиций, давно уже определенных знатоками военного дела как необходимый театр действий. Все сколько-нибудь образованные офицеры, изучившие основы, знали как близкие к делу люди, сколько надо войска, чтобы защитить их. Утвердиться на одном из них, когда предстояло охранять соседнюю дорогу, было азбукой стратегии. Например, было бы совершенной нелепостью охранять Германию от нападения французов, не заняв Ульмского укрепленного лагеря, это все равно, что не надеть на голову шляпы, желая предохранить себя от холода. И вот в армии, которой он командует, нашлись среди генералов, командующих главными корпусами, фантазеры, отказывающиеся преклониться перед этим святым правилом! Да, дошли до того, что позволили даже в его главном штабе поддержать то мнение, что его стратегия "старая игра". Они говорили даже, будто ничего в общем не доказывает необходимости иммобилизировать армию перед выходами из Черного Леса, до тех пор, пока не знают наверно, по какой дороге пойдет неприятель. Точно неприятель может идти по другой дороге! Точно в продолжение двухсот лет и более не было безусловным правилом для французской армии выходить через Адскую долину или соседние холмы в долину Швабии или Вюртемберга.

Мак поднял плечи и начал прохаживаться по кабинету. Он в особенности сердился на эрцгерцога Фердинанда, номинального начальника над императорскими силами, которыми в действительности же руководил он сам. Без сомнения, это храбрый принц,

но не утверждает ли он, как и другие, что Наполеон может прекрасно пройти по другому пути и обмануть ожидания генерала?..

Наполеон! Они все говорят о Наполеоне. У них на языке только Наполеон. Четырехкопеечный император, которого контрреволюция поджидала в Париже, развлекающийся устройством балов в Сен-Клу, чтобы утешить себя в невозможности захватить Англию!.. Его искусство в маневрах более расхвалено, чем оно есть на самом деле. Скверный, ничтожный артиллерийский поручик, сделавшийся начальником сумасшедшей нации, только потому, что он был безумнее остальных!.. Его победы? Счастливая случайность! Правда, он разбил Альвинца, Вурмсера и Меласа в Италии, но именно благодаря небрежности этих же генералов: они упустили случай занять существенные пункты, освященные обычаем.

И затем в Италии не было Черного Леса. Немцы там были не у себя. Между тем, как здесь в Ульме...

Наконец нельзя иметь малейшего сомнения в истинных намерениях неприятеля, потому что рапорт превосходного шпиона, живущего в Страсбурге, извещает день в день о приготовляемых движениях!..

Мак остановился перед высоким окном, откуда перед ним открывалась длинная, узкая улица с маленькими неправильными домами. Она составляла главный вход города. Вдали он заметил вершины Мишельсберга, где находилось его войско, непреборимое и готовое поразить осаждающих все равно, с какой стороны они ни пришли бы. Он улыбнулся с сожалением, думая о тех, кто не понимал цены этого места.

Мак был в полном смысле тип офицера старого порядка. Длинный белый мундир, с сурово поднятым и застегнутым воротником, охватывал его худой, нервный стан. На нем был напудренный парик, какие носили офицеры во времена Марии-Терезии, затканый золотом шарф, знак его командования, обхватывал его талию и единственный нарушал однообразие его одежды.

В то время как он, барабанил по стеклу оконной рамы, расходовал негодование старого воина, потревоженного в своих привычных комбинациях, движение на улице становилось все шумнее и разнообразнее. Несколько групп кавалеристов поочередно приближа-

лись к главной квартире, и лица разного возраста, вида и костюмов соскакивали с лошадей перед ее дверьми, приветствуемые караульными солдатами при помощи ружья.

— А! Вот и фельдмаршал Кленау! — произнес Мак. — Какой-то удивительный рапорт он представит нам сегодня? Если его послушать, то надо было покинуть этот добрый город Ульм и пойти навстречу русским союзникам, т.е. показать пятки неприятелю, черт возьми!... Смотри! Кто это такой позади Кленау?.. А это Шварценберг, глубокомысленный человек и дипломат на поле битвы!.. Гьюлай следует за ним. Хороший воин этот Гьюлай... Дисциплинированный!.. Если бы все были таковы, то все пошло бы хорошо.

Но так как голоса становились слышнее в соседних комнатах, то генерал Мак перестал смотреть на улицу и пошел навстречу своим гостям. Он принял последовательно главных генералов, которых он видел сходящими с лошадей перед его дверью. Вскоре в их свите появились: Вернек со своим угрюмым и недовольным видом; Иелашиш усатый, как гусар, говорящий всегда громко и крепко ругавшийся, как немецкий рейтар; Ризе — серьезный и молчаливый; Матцерой — ничтожность в человеческом образе, наконец эрцгерцог Фердинанд с благосклонностью принца крови, счастливый тем, что пользуется наружным авторитетом, принимая почести, относящиеся к его положению. Впрочем, он полагался в подробностях войны на суждение лиц, единственное ремесло которых было видеть ясно в дыму. Храбрый и решавшийся хорошо действовать, он требовал только одного, чтобы не выставляли под шах человека его происхождения. Он привез с собой свои экипажи и покраснел бы, если бы они были замешаны в отступлении.

Все собрались для совещания и уже поместились вокруг стола, в конце которого находился эрцгерцог. Внезапно отворилась дверь залы, и вошла личность, не известная никому из присутствующих.

Это был маленького роста человек. Для тех лет, которые отпечатывались на его лице, а в особенности, судя по его мундиру главного интенданта первого класса, он был необыкновенно силен, как с виду, так и по походке. По своему чину он мог, согласно правилам немецкой иерархии, иметь право на фельдмаршальские почести.

Однако он направился к эрцгерцогу и приветствовал глубоким поклоном, как прекрасно воспитанный придворный кавалер. Затем он сам представился генералу Маку и другим с достоинством человека, стоящего выше их и снисходившего до знакомства с ними.

— Его величество, — сказал он, — пожелал дать мне почетное поручение посетить последовательно все его армии на походе. Я главный интендант Калькнер... Между вами, господа, я думаю, мало кто меня знает, ибо государь соблаговолил меня призвать к службе после очень долгой отставки.

Последовало молчание. Каждый из присутствующих генералов искал в своей памяти каких-нибудь следов из прошлого Калькнера. Мак, в особенности, был удивлен более других, как человек старший по возрасту. Он воображал до этого дня, что знает лучше всех кадры главного штаба, и вдруг новое имя прозвучало в его ушах!.. Калькнер!.. Калькнер!.. Где же, черт возьми, этот Калькнер мог жить и служить раньше, чем представился ульмской армии в качестве делегата императора Франца.

Пришедший, однако, казалось, был знаком с обычаями. Его костюм был вполне правильным, установленным и не казался заимствованным. У него были прекрасные манеры, и он выражался хорошо. Самое большее, что могли бы заметить в нем, это некоторое стеснение в движениях, когда он в свою очередь сажился по вежливому приглашению принца. Его сабля не падала без колебания во всю длину стула, но зато его шляпа была ловко положена рядом с перчатками на столе. Его рука, достававшая из левого кармана, находившегося под лентой и крестом, рекомендательное, может быть, несуществующее письмо, была довольно бела.

Эта рука так и не окончила своего жеста. Разрешающая улыбка и любезное слово эрцгерцога избавили его от этого труда. Главный же интендант Калькнер со своей стороны не настаивал. Он тотчас же начал рассматривать пристально и решительно генерала Мака, очевидно, единственного из всех присутствующих, ревнивой прозорливости которого нужно было опасаться. Калькнер объяснил в нескольких выражениях свое желание узнать мнение присутствующих знаменитых генералов.

Читатель простит нам, если мы не войдем в детали

прений. В то время, как начальники австрийской армии высказывали последовательно свои мнения относительно лучшего расположения войска в случае неожиданного вторжения французской армии и повторяли, что уже по сто раз говорили друг другу, мы предпочитаем поискать, откуда вышел неизвестный их коллега, внезапное появление которого так удивило всех. Мы вернемся в совет позже и довольно рано, для того, чтобы узнать результаты.

Прежде всего, как случилось, что никто не подал мысли главному начальнику о таком важном деле, как появление главного интенданта без эскорта из офицеров? Калькнер, как человек, осторожный и одаренный исключительной скромностью, вошел в Ульм пешком, один, очень рано утром без барабанного боя и трубных звуков. Но его форма должна была бы его выдать: как же случилось, что никто не знал о его присутствии в городе?

Но Калькнер не удовольствовался тем, что пришел один, он даже явился одетый обыкновенным горожанином.

Но наконец какое имя и звание сказал он, чтобы быть принятым без затруднения. Он сказал, чтобы его ожидал хозяин главной гостиницы в городе, почтенный и богатый человек, управляющий судьбой гостеприимного дома, на вывеске которого красуется величественная сосна с написанными под ней словами: "Зеленое дерево".

Калькнер свободно пробрался таким образом в старую баварскую крепость. Затем он написал под рубрикой иностранцев три буквы "К. Ш. К.", сопровождаемые вещей формулой (служба императорского штаба). Его кошелек казался хорошо наполненным, и с него больше ничего не спрашивали.

Затем он почти все утро отсутствовал, после того как заявил, что придет обедать, и чтобы ему накрыли обеденный стол в отдельном зале и в назначенный час.

— На сколько приборов? — спросил хозяин.

— На три.

Когда он возвратился немного ранее назначенного часа, его сопровождали действительно два очень известных офицера, принадлежавшие к главному штабу. Один из них был поручик Венд, другой поручик Рульский. Первый принадлежал к свите эрцгерцога Фер-

динанда. Прямой начальник второго был генерал Ким-мейер, отряженный на дорогу к Аугсбургу в нескольких верстах оттуда. Войдя в гостиницу, они велели внести в комнаты их товарища тяжелый чемодан, на взгляд переполненный вещами, который их слуга вез за ними в тележке. Во время обеда они выказывали совершенное уважение к скромному горожанину, с которым они сидели за столом. В самом деле, если бы они видели в нем самого высшего начальника, они не обходились бы с ним почтительнее.

К удивлению хозяина, незнакомец, записавшийся в его книге "К. Ш. К.", явился к обеду в великолепном мундире генерала империи. Лакеи искоса поглядывали на кресты, украшавшие его грудь; помощник повара смотрел в притвор двери, чтобы полюбоваться его шпагой, шарфом, лентами и ботфортами.

Он дышал безразличным спокойствием человека сильного мира сего, привыкшего к почтению презренного плебса. Он чувствовал себя прекрасно в этом "старье", обшитом галунами, и казался в тысячу раз живее, одетый в этот костюм пугала, чем в своей небрежной одежде путешественника. Он говорил мало, но более смотрел и наблюдал, слушая своих собеседников.

Был ли причиной напудренный парик, надетый на нем, или его плохо рассмотрели раньше, только теперь он казался гораздо старше, чем утром. Правда, он держался все время прямо, и его походка осталась так же тверда и быстра. Он дал даже легкий толчок, чтобы отодвинуть табурет, забытый перед камином, но морщины, не замеченные ранее, изрезывали теперь его лоб и глаза. Его лицо как бы поблекло от времени, а губы, сложившиеся в складку от обычной гримасы, выражали беспрестанное напряжение мысли, профессиональную скрытность, и, может быть, даже гений.

Правда, его физиономия изменилась в особенности от того, что он срезал усы и совершенно выбрил лицо. Это обнаружило многие детали, остававшиеся ранее незамеченными.

Приглашенные не изменяли своего обращения, пока длился обед. Но когда они остались одни после обеда, то их тон тотчас же переменился.

— Скажете ли вы, на что понадобился этот маскарад? Я помог вам, как только мог, его исполнить.

Я указал вам лоскутника, оружейника, портного, шляпочника, которые могли вас снабдить частями костюма; но что за сцены намерены вы разыгрывать?

— Вы слишком любопытны, друг Венд! — отвечал псевдоинтендант, в котором, может быть, читатель узнал Карла Шульмейстера... — С вас будет достаточно узнать, что если я собрал часть сведений благодаря вам и моей личной предприимчивости относительно настоящей численности императорской армии и проектов ее начальников, то есть еще некоторые детали, ускользнувшие от меня, но я тоже овладею ими.

— Но, — возразил поручик Рульский, — я надеюсь, что вы не будете собирать справки в этом костюме?

— Это — мое дело.

— Извините, — подхватил Венд, — нас видели вместе, и каждый ложный шаг с вашей стороны будет иметь для меня и Рульского самые неприятные последствия.

— Что же?.. Вас будут, может быть, подозревать в соучастии со мной?.. Не беспокойтесь об этом.

— Но, ведь...

— Полноте! — перебил Карл, — вы хотите, чтобы я поставил точку над i... Пусть будет так! Я поставлю ее. Вы столько же оба поручики, сколько я — интендант! Что вы носите мундир с тех пор, как здесь в армии, не может служить причиной тому, чтобы вы, Венд, перестали быть любимым разведчиком его высочества, эрцгерцога Фердинанда. По его приказу вас зачислили в контроль главного штаба, хотя вы никогда не были в списке офицеров, по крайней мере, под этим именем. Еще менее причина, чтобы Рульский не оставался тайным агентом генерала Кинмейера, который хотел бы забыть, дабы иметь вас рядом, несчастное столкновение с дисциплинарным советом. Дайте мне, пожалуйста, все высказать! Мы — старые знакомые, при каждом сражении на Рейне мы работали вместе; вы знаете поэтому, что я умею держать слово. Каждому из вас я обещал по пяти тысяч франков в случае вашей помощи. Вот они золотом. Откройте наудачу любой из свертков, чтобы убедиться, а теперь, чтобы не терять более времени, выслушайте меня до конца.

В то время как оба соучастника одинаковым дви-

жением ногтей торопились раскрыть один из своих пяти свертков, разложенных перед каждым из них, Шульмейстер продолжал.

— В данный момент я от вас ничего не требую! Наш завтрак окончен; теперь два часа: я отправляюсь к генералу Маку... О, не удивляйтесь, это моя мысль!.. Прежде чем я у него выведаю все, что следует, я хочу, чтобы он порасспросил меня как сумеет. Сегодня вечером вы наведаетесь, здесь ли я еще. В случае, если меня уже не будет, то возвращайтесь в ваши почтенные жилища и ожидайте меня там. Вы, конечно, знаете, тот и другой, какие новости надо сообщить вашим начальникам, если они станут вас спрашивать ранее сегодняшнего вечера. Этого достаточно. Так мы порешили?

— Да, — ответили в один голос оба агента, — но...

— Прибавлю еще, если все пойдет, как я хотел бы, вы получите через восемь дней такую же сумму, какую я вручил вам сегодня.

Глаза обоих офицеров засияли от радости.

— А затем, — прибавил Шульмейстер, — так как мы отныне сошлись во всем, возвращайтесь к вашим занятиям, а я пойду по своим делам.

Они вышли все трое, сопровождаемые низкими поклонами хозяина гостиницы и слуг. Но недолго они шли вместе, и в то время, как Венд и Рульский удалялись в одну сторону, Шульмейстер, или, скорее, его превосходительство, интендант Калькнер, направился спокойный и с достоинством к главной квартире, где в это время решалась судьба восьмидесяти тысяч человек австрийской армии.

II

Теперь мы можем возвратиться в военный совет, под почетным председательством эрцгерцога Фердинанда и действительным — генерала Мака. Мы в точности знаем намерения всех его участников.

Дело в том, что наслушавшись всласть в продолжение более часа различных сообщений генералов, фальшивый Калькнер кончил тем, что более ничего не стал понимать. Правда, раньше, чем покинуть Страсбург, он навел справки из хороших источников

и имел право считать себя в точности осведомленным. Тем не менее все стратегические соображения, выраженные защитниками Ульма, начали его волновать. Находясь в новой атмосфере, он не считал уже их более нерассудительными. Он дошел до того, что спрашивал себя, не во сне ли он это видел, или не был ли он сумасшедшим...

Действительно ли видел он Наполеона? Разговаривал ли он с ним? А солдаты Мюрата, чуть не захватившие его при входе в оффенбургский дефилей, прикроют ли они, как предполагал Наполеон, обширное движение флангов, произведенное всеми французскими силами. Не будет ли это, как предполагает Мак, крайняя точка авангарда великой армии, производящей атаку по прямой линии, через Черный Лес?

Одним словом, давая ему секретное поручение, действительно ли Наполеон сказал ему все?

— Конечно, они отчасти были правы, не доверяя ему там!...

Впрочем, как допустить, чтобы все генералы австрийской армии были обмануты так легко неосновательными признаками?... Каким образом среди них не нашелся хотя бы один, достаточно развитый человек, чтобы угадать маневр противника и помешать этой хитрости... если действительно существовала хитрость?

В особенности Шульмейстер интересовался, чтобы у него определенно осведомились по этому последнему вопросу, прежде чем установить отношения с немецким главным штабом с целью сказать им лишь то, что могло бы служить в пользу плана Наполеона.

По правде, это был единственный результат, который он мог надеяться получить от смелого предприятия и переодевания.

Он хотел тотчас же выяснить дело.

— Насколько я понял, господа, — сказал он, — вы все допускаете мысль, что неприятель выйдет прямо против вас?

— Разумеется, господин главный интендант, — поспешил ответить Мак, задетый за живое, — люди дела не могут ошибаться!.. Впрочем, я должен вам сказать, что мои сведения об этом вопросе — я подразумеваю, полученные из совершенно верного источника, из самого Страсбурга, — согласуются с прецедентами.

Шульмейстер вежливо поклонился, прежде чем отвечать. Это ему помогло скрыть улыбку, вызванную этим намеком, посланным им же самим из Эльзаса.

— А ваши офицеры того же мнения, генерал? Простите мою настойчивость. Я хотел бы доложить его величеству, императору Францу-Иосифу, всевозможные мнения, что не мешает мне а priori преклоняться перед вашим.

— У меня иное впечатление, чем у нашего начальника, — ответил Вернек. — Я думаю, что Бонапарт нам втирает очки, чтобы помешать смотреть в настоящую сторону.

— Я того же мнения! — отвечал мягко генерал Ризе.

— И я тоже! — пробрюзжал Иелашиш.

— А! видите ли, генерал! — возразил Шульмейстер, — эти господа сомневаются.

— Очень возможно, — поторопился ответить Мак. — Но, я, со своей стропы, сомневаюсь так мало, что не колебался бы, с разрешения его высочества, воспользоваться моим авторитетом и предписать необходимым войскам двинуться предупредительной атакой на запад. А моего авторитета, я надеюсь, здесь не будет никто оспаривать.

— Конечно, нет! — отвечал Иелашиш. — Только я не хочу попасть в капкан и предупреждаю вас, я постараюсь устроиться, чтобы не быть запертым в мышеловку, как другие, когда французы неожиданно очутятся у нас за спиной.

Теперь Шульмейстер знал достаточно, чтобы быть уверенным в необходимости действовать как можно скорее на этих слишком прозорливых офицеров. Но в то время, как Мак тратил свое красноречие, доказывая Иелашишу справедливость своих взглядов, агент прежде всего думал воспользоваться настоящим положением, чтобы пополнить свои собственные сведения.

Пользуясь минутой, пока главный генерал переводил дыхание, он сказал:

— В общем я вижу, что мнения относительно планов завоевателей могут быть различны, но зато все исполнят свой долг, с какой бы стороны ни была произведена атака. Мне остается сообщить вам кое-какие сведения, собранные в Вене, благодаря официальной и секретной корреспонденции императорского правительства. Его величество совершенно прав, так

же, как и ваш достойный начальник, генерал Мак, что неприятель собирается выйти именно из Черного Леса. Движения, которые ваши ближайшие ведетты обозначили, отвечают тем, какие ожидал император. Достаточно вам сказать, что наш государь, зная цену армии, которой вы командуете, и силу вашей позиции, вполне уповает на благоприятный результат. Чтобы подтвердить эту высочайшую надежду, я буду вам очень благодарен, если вы скажете мне точно, каким определенным наличным составом вы можете располагать для сражения.

Генерал Кленау, не произносивший еще ни слова, при этом вопросе наострил уши.

— По моему мнению, — продолжал псевдоКалькнер, — французский узурпатор не может переплыть Рейн с войском более шестидесяти тысяч человек. Это, должно быть, все, что он мог отозвать в такое короткое время из армии, находящейся в Булони и собранной против Англии. Если у вас столько же войска здесь или даже немного меньше, то, когда будут посланы силы укрепленному лагерю, наше положение будет превосходно. Сколькими пушками владеете вы? Сколькими саблями? Сколькими штыками?

Мак открыл рот, чтобы отвечать, а эрцгерцог, остававшийся всегда оптимистом, принялся с обычной любезностью считать силы, находящиеся под его номинальным начальством, как неожиданно грубый голос фельдмаршала Кленау раздался в первый раз.

— Меня удивляет, — сказал он, — что главный интендант, посланный государем, не имеет понятия о положении дел!... Во всяком случае, я со своей стороны подаю голос против того, чтобы ему сделали сообщения по этому предмету. Подобные вещи должны храниться в тайне, и если бы мой отец был еще жив и предложил бы подобный вопрос, то, несмотря на его мольбы, я ответил бы ему: нет!

Это “нет” было произнесено таким тоном, что Шульмейстер, несмотря на свой апломб, немного всполошился. Он чувствовал, что зашел слишком далеко. Но самое важное — он понял в то же время, что его достоинство не допускает пятиться назад, после того как он подвинулся настолько. Императорский авторитет, представителем которого он явился в совет, не допускал, чтобы он теперь отступал от требования справок, в которых ему уже отказали. С другой сто-

роны, замечания Кленау были настолько справедливы, что поразили всех членов совета. Многие из них стали относиться с недоверчивостью, правда, запоздалой к дерзкому незнакомцу, перед которым они так свободно высказывались.

Как быть?...

Шульмейстер встал, не выказывая своего беспокойства, которое овладело им при мысли о возможных и неизбежных последствиях его ужасного предприятия. Одно слово, один неосторожный жест могут его выдать, и все это значительное число довольно сильных генералов могут схватить его без всякой посторонней помощи. Кроме того, они могут позвать одного из гвардейцев и запрятать его в тюрьму, где недолго ему придется ожидать решения своей судьбы.

Он взглянул, между тем, приветливо улыбаясь, на Кленау. Затем его глаза пробежали по внимательным, но бесстрастным лицам других генералов. После этого он взял со стола свою шляпу и перчатки и произнес следующее приветствие:

— В добрый час! С удовольствием вижу, что все здесь исполняют свой долг и говорят лишь то, что должны сказать. Его величество узнает это. До свидания, господа!

И склонясь перед эрцгерцогом, он прибавил:

— Ваше высочество, позвольте вам выразить мое глубочайшее почтение.

В свою очередь Мак тоже встал. Остальные генералы в подражание ему задвигали стульями. Шульмейстер сделал грациозное движение, выражающее просьбу не беспокоиться о нем, и, замаскировав свое бегство, под личиной самой учтивой поспешности, он ловко повернулся на каблуках, открыл дверь и вышел.

Только что успел он выйти за дверь, как услышал позади себя шум голосов, как будто его уход прервал очарование и раскрыл глаза самым слепым. Все генералы заговорили разом, а среди неясных криков можно было различить грубый голос Йелашиша, кричащего следующие слова:

— Говорю вам, что это - интриган, а, может быть, шпион!

Шульмейстер не останавливался, чтобы подслушать более. Перед ним был путь, по которому он пришел, но ему было необходимо его избежать. Направо, в конце коридора стоял караул, вследствие чего

он направился через левый коридор. Опасаясь, что его могут увидеть, он шел мелкими старческими шагами, но в то же время с быстротой юноши, потому что ему надо было спастись. Шульмейстер бросился в сторону, где находились частные комнаты. Здесь он вышел в пустую буфетную, в конце которой открывалась дверь в столовую; за ней следовали две гостинные и еще одна комната. Он бросил в угол свою шляпу, перчатки, шпагу и свое платье, обшитое галунами и увешанное крестами. Открыв шкаф, где висел длинный коричневый сюртук, он взял его, повесив вместо него свой парик. Одетый в эту миролюбивую одежду, со старой поярковой шляпой на голове, он толкнул дверь и очутился на черной лестнице. Напевая вполголоса, он стал спускаться по ней, как вдруг один из лакеев, пересекший ему дорогу, закричал:

— Добрый вечер, Вильгельм, веселись хорошенько!

На это он ответил смеясь:

— Благодарю!

Нижняя дверь была открыта на улицу. В этот момент, как он хотел проскользнуть через нее, до его слуха долетел серебристый звук, казалось, сопровождавший каждый его шаг. Он опустил глаза и отодвинулся тотчас же в тень позади порога. Это были его золотые шпоры, продолжавшие звенеть. Они нахально выдавали фальшивого офицера, скрывавшегося под одеждой горожанина. Он отцепил ее одну за другой и бросил в незапертый погреб. Теперь он вышел спокойнее и пошел вдоль стены главной квартиры, направляясь, как можно осмотрительнее, к гостинице, не без того, чтобы бросить взгляд в сторону солдат, стоявших на карауле у дверей дворца.

Окна залы совета были открыты, осунувшееся лицо генерала Мака склонилось с одной стороны, громадные усы Иелашиша висели по другую сторону. На втором плане виднелись волновавшиеся высокие фигуры. Некоторые из прохожих с удивлением смотрели на волнение предводителей войны. Караул не мог удержаться, чтобы не поднять глаз наверх с целью разгадать, что происходит наверху.

Затем поднялся шум, крик слуг и солдат, безумно спешивших к дверям. Караул взялся за оружие; раздалась команда.

Шульмейстер рассудил, что будет благоразумнее проникнуть в парикмахерскую, находящуюся по до-

роге. Он уселся перед мыльницей, где еще лежал остаток мыла; заложил за воротник полотенце, лежащее около него на кресле, и намылил себе душистой мыльной пеной нижнюю часть лица от носа до горла.

К нему приблизился один из служащих с бритвой. Он с видимой симпатией смотрел на горожанина, избавившего его от одной части его обязанностей. Шульмейстер протянул ему правую щеку, и когда несколько минут спустя по улице прошла среди восклицаний одних и вопросов других толпа солдат, пущенная в погоню за каким-то невидимым беглецом, он спокойно спросил его:

— Что это такое?

— Не знаю, сударь. Вероятно, бегут вдогонку за воров.

В этот самый момент в дверях показался полицейский, он осмотрел хозяина, служащих и клиентов, сделал насмешливую гримасу при виде наполовину белого, наполовину красного лица самого экс-интенданта Калькнера и продолжал свой путь.

III

Шульмейстеру удалось избежать большой опасности. Но и теперь, измерив ее, он не сожалел, что подвергся ей. В общем, благодаря этому безумно смелому шагу, он собрал сведения об истинном намерении генерала Мака. Никакая разведка не могла бы снабдить его такими ценными справками. Благодаря им, он узнал, кто из генералов, командующих дивизией или бригадой, яснее верховного начальника армии видит это дело. Запасшись такими сведениями, он мог, с одной стороны, составить полный план похода, чтобы исполнить поручение Наполеона, с другой — передать ему, как только представится случай, полезные сведения.

Только... он вдруг сообразил, что ему невозможно вернуться теперь в гостиницу “Зеленого Дерева“. Его там видели в двух видах, в двух различных костюмах, и, конечно, главный штаб, наведя справки относительно его дерзкого предприятия, найдет там с первого шага ценные доказательства.

— Не считая того, — сказал он себе, — что Руль-

ский и Венд попадутся, если я не предупрежу их тотчас же!..

Едва он сделал это заключение, как поднялся с кресла, на котором помощник парикмахера со всевозможными предосторожностями водил бритвой по его лицу. Последний с удивлением взглянул на него, когда он подходил к умывальнице, наполненной водой, и, намочив лицо, вытер его одним движением руки. “Положительно этот клиент какой-то оригинал; сам намыливается и сам смывает мыло”, — подумал помощник парикмахера. Шульмейстер, прежде чем выйти, бросил на конторку большую серебряную монету, поменьше вручил за труды помощнику.

Тотчас же удивление последнего перешло в благодарность.

— Ну, что, хозяин! Вот так торопится! — воскликнул помощник главного артиста-парикмахера.

— Заплатил ли он? — спросил главный артист.

— О, да! Да еще как широко!..

— Ну, так добрый путь!

Не успел Шульмейстер сделать несколько шагов, как вдруг, к его удивлению, какая-то молодая женщина приблизилась к нему. Это была бледная брюнетка, одетая, как горожанка, но с поддельным изяществом. На ее голове была накинута темная шаль и завязана вокруг плеч. Она защищала ее против холода в этот печальный осенний день и в то же время скрывала ее лицо.

Черты ее лица были очаровательны, но выражение их казалось необыкновенно жесткое. В эту минуту она улыбалась, что придавало ей насмешливый вид. Ее живые, блестящие глаза, на самом деле, должно быть, не имели понятия о наивности и нежности, а знали только насмешки и, может быть, злобу. Она подошла и дотронулась без всякого стеснения до руки этого рыжего человека в широкой шляпе и в черном дорожном плаще, поспешно вышедшего из парикмахерской.

— Я искала вас, сударь. Следуйте, пожалуйста, за мной... О! не смотрите на меня так удивленно и не пробуйте разувериться, что я имею дело не с ложным Калькнером, а с совершенно настоящим, живым Карлом Шульмейстером!.. По этому поводу позвольте мне сделать вам сейчас же комплимент: вы мастерски успели в вашем предприятии. Ваши друзья очень

беспокоились о вас и немного о себе, благодаря дерзости вашего плана. Вы теперь отправитесь сообщить им подробности, предупреждаю вас об этом, так как они не думали, что вы выйдете живым от главнокомандующего.

— Но, сударыня...

— Вы совершенно не правы, опасаясь, полноте! Если бы у меня были дурные намерения, то, согласитесь сами, мне было бы достаточно сделать знак, чтобы вас задержали, а так как, узнав вас, я этого не делаю, то вы должны же предположить...

— Черт возьми! — перебил шпион, имевший время обдумать все, — ясно, что вы наперсница одного из них, Венда или Рульского. Впрочем, не все ли равно которого. Я охотно последую за вами, если вы идете к одному из них... Но кто же?

— Венд.

— А!.. это... ваш друг?

— Да.

— Хорошо, тогда идем! Кстати, мне надо с ним поговорить.

Разговаривая, они сделали несколько шагов по направлению к месту, где бегство Шульмейстера произвело несколько минут перед тем такой переполох. Теперь вокруг главной квартиры снова воцарилось спокойствие, но окна первого этажа оставались открытыми. Время от времени в них показывалась фигура кого-нибудь из членов военного совета. Она, казалось, ожидала, не известит ли какое-нибудь отдаленное движение на улице о взятии под арест беглеца.

— Если бы один из этих генералов мог отгадать, что вы идете в эту минуту так близко около него, — сказала молодая женщина с насмешкой, блеснувшей в глубине ее зрачка, — не думаете ли вы, что он отдал бы приказ вас арестовать?

Шульмейстер, не отвечая ничего, обернулся в ее сторону. Он посмотрел на нее серьезно и даже почти строго. В самом деле, его черты приняли настолько доверчивое и даже мягкое выражение, как бы облагородились. Затем искра блеснула в его зрачке, и он без всякого усилия или гримасы, а лишь с помощью незаметной гимнастики лицевых мускулов изменил совершенно лицо... Его спутница подумала, что около нее находится другой человек;

она сделала удивленный жест, в то время как он наконец сказал:

— Так вы думаете, генерал Мак узнал бы меня?

— О, нет, — возразила она с восторгом... Я не воображала, что можно так обмануть мои глаза... А вы на это способны!..

— Как вас зовут? — спросил, улыбаясь, Шульмейстер.

— Доротея.

— Так знайте же, Доротея, когда человек дурен собой, ему ничего не стоит изменять лицо. Красивые же особы, как вы, не имели бы успеха, так как слишком дорого стоило бы испортить свое личико.

Этот ловкий человек держался принципа жить в ладу со всевозможными союзниками и не пренебрегать никакой помощью. Если он не мог дать денег, чтобы овладеть мужчиной, то давал ему обещание; чтобы победить женщину, он прибегал к комплиентам, которые почти всегда играют роль ходячей монеты, очень хорошо принятой. Доротея не казалась исключением из общего правила, а ее оживленная походка достаточно свидетельствовала, что она теперь исполняет с удовольствием поручение служить проводником такому обаятельному спутнику.

— Ну куда же вы ведете меня? — спросил ее Шульмейстер некоторое время спустя. — Я знаю дом Венда, он не в этой стороне.

— Вы идете ко мне, — отвечала она просто. — Вы найдете его там.

— А к вам, это?..

— Мой домишко находится около вала; я живу с отцом и братом, но их теперь там нет.

— Где они?

— Они ушли по делам поручика.

При этом она сделала неопределенный жест, как бы указывая на окрестности города или очень отдаленную местность.

— А!.. Так ваши родители служат Венду?

— Да. Я тоже служу ему.

— Как! Он не боится подвергать вас опасности?

При этих словах раздался ее звонкий смех:

— Боится ли он или нет, это безразлично, потому что я сама не боюсь.

— Но он мог бы избавить себя от этого...

— Нет, он не мог бы это сделать! Он знает только

то, что я ему говорю. Все справки, которые он носит эрцгерцогу, я доставляю ему. Женщина может идти везде, видеть все и угадать то, чего она не видит, Мужчина — не может! Я знаю только одного вас, который стоил бы женщины с этой точки зрения.

По мнению Доротеи, это был лучший комплимент, какой только она могла сделать Шульмейстеру. Он понял это...

Однако они подходили к цели их пути. Загадочное создание внезапно остановилось и знаком попросило спутника обождать ее. Затем она проскользнула в дрянной переулочек, где исчезла почти тотчас.

Она недолго отсутствовала. Несмотря на приближавшуюся ночь, он вскоре заметил ее тонкий силуэт, выделявшийся из тени переулочка. Он повиновался без колебаний ее немому знаку, который она делала, приглашая его следовать за собой.

Едва они сделали вместе двадцать шагов между глухими стенами, как она остановилась и, обернувшись к нему, тихо сказала, положив руки на его плечи:

— Мне надоело работать с Вендом! Хотите, я буду вам служить?..

Наш герой не был фатом, тем менее глупцом, и потому, когда он услышал это неожиданное предложение, его первая, скорее единственная мысль была: “Эта красивая девушка увидела деньги, которые я дал ее другу: она думает, что ее прямая выгода — иметь дело лично со мной“. И он тотчас решил не колеблясь как поступить: “Она не нужна мне; одному лучше действовать....“ Ни одной секунды он не подумывал в сделанном предложении женского аванса. Но все-таки он ответил громко, в добродушном, несколько насмешливом тоне:

— Уверены ли вы, что служба у меня вам не надоест еще скорее, чем у поручика?

— Я в этом уверена!

И она продолжала со странным лихорадочным волнением, от которого минутами ее голос становился хриплым:

— Да, да, я знаю, что моя просьба вам кажется безумной, это совершенно естественно, потому что вы не знаете меня... Едва прошло пять минут, как я заговорила с вами впервые... Вы теперь знаете, что моя жизнь связана с человеком, которому вы платите

за измену правительству. Это не служит мне рекомендацией, — я с этим согласна. Но выслушайте меня минуту, одну минуту. Клянусь, что это не будет долго... Человек, которого вы снова увидите, ничего не стоит, ничего, слышите ли вы! Это картежник, пьяница и подлец! Довольно я давала ему моей молодости и ума. Я стою более этого низкого ремесла.

Шульмейстер уже терял терпение и сожалел, что напал на эту болтушку, заставившую его тратить даром время. Что ему в сущности за дело, рассуждал он, если ей надоел Венд? Разве он знает ее хорошо? Известно ли ему, откуда явилась она, и чего она стоит?.. Вероятно, размышляя таким образом, он сделал легкое движение, которое выразило его тайную мысль без его ведома, потому что пальцы Доротей оперлись тяжелее на его плечах. Ее голос становился еще тоскливее, чем раньше.

— Знаете ли, — сказала она, — меня не смущает, что приходится все пересказывать, а я не довольна тем, что должна передавать этому человеку все, что видела. Он продает справки, которые даю ему я! Он живет за счет угрожающих мне опасностей!.. Я ненавижу его. Я чувствую, что вы помогаете друзьям, или боретесь с противниками, но во всяком случае вы служите идее, убеждениям, делу, страсти... Не правда ли? Кроме того вы храбры: вы отправились сегодня один в сборище ваших неприятелей. Когда я встретила вас, вы могли бы испугаться... Другой на вашем месте пришел бы в ужас, чувствуя, что его преследуют, как это было с вами! Вы же остались хладнокровны. Затем вы показали мне ваше могущество среди белого дня на вас самом, изменяя совершенно черты лица, достигнув в этом блестящих результатов. Возьмете меня, скажите? Вы увидите: я ловка, я также умею переодеваться, когда это надо. Я буду передавать вам все, о чем вы пожелаете узнать... Если хотите, ничего не платите мне; только бы я помогала вам, и я буду довольна!..

Пылкость ее просьбы удивила и слегка взволновала Шульмейстера. Он опасался, что ему предстоит банальное приключение в этом переулке, куда он пришел, чтобы защищать интересы французской армии. Отделяться от него было трудно. Возможно ли, чтобы таким образом ему бросились на шею? Кроме того, как все действительно смелые люди, он находил

стеснительными и смешными эти комплименты, обращенные к его храбрости. Чтобы избавиться от ее назойливой фантазии, Шульмейстер взял обе руки проводницы и, слегка похлопывая ими, сказал:

— Полно, полно!.. Вы слишком пылки, чтобы я приобщил вас к этому делу, которого вы даже не знаете! Оставьте, оставьте, мы поговорим об этом позже. Необходимо, чтобы я повидал сейчас же вас...

Она приложила свою руку к его губам, чтобы помешать ему даже ночью, с глазу на глаз произнести слово, которое было у него в мыслях. Это движение поразило его. Такая стыдливость, подумал он, и у такой женщины!..

Теперь она отошла от него и оставалась неподвижна.

Он кончил тем, что спросил ее тихо:

— Чего же вы хотите наконец? Чтобы я пользовался вашими услугами? Я ничего не ожидаю ни от вас, ни от кого другого. Мне необходимо, чтобы я сам устраивал мои дела. Чтобы я оставил вас у себя? Но я не здешний и здесь не останусь. Если меня не схватят, я уеду к моей семье, которая меня ожидает далеко отсюда. Вы прекрасно видите, что меня надо оставить одного продолжать мой путь!.. Дело идет о жизни Венда и Рульского, а также о моей.

При последних словах Шульмейстера Доротея отодвинулась, давая ему дорогу. Она прижалась к стене, и когда он проходил мимо нее, то услышал, как она едва слышно прошептала:

— Все равно! Не забудьте все-таки, что я говорила вам, и, если вам когда-нибудь понадобится, приходите ко мне!

Она последовала за ним совсем близко, и когда они пришли в конец переулка, примыкающего к валу, то она остановилась перед дверью низенького, маленького дома и сказала ему только:

— Войдите. Здесь.

IV

Поручик Венд бросил какой-то особенный взгляд, увидя, как отворилась дверь перед вновь прибывшими. Он сидел, куря свою длинную трубку. Перед ним

стояла кружка пива. Вообще Венд вел себя, как человек, чувствующий себя везде, как дома. Он расстегнул свой мундир и, отцепив портупею, положил саблю на худой, шаткий комод. Утром, делая вместе с Доротеей покупки, он показал ей на улице Шульмейстера. Посылая ее разыскивать Шульмейстера днем, он надеялся, что она будет настолько ловка, что узнает его, как бы он не был переодет, и приведет к нему. Но какой-то тайный инстинкт заставил его теперь сожалеть, что она имела такой успех.

Может быть, у него были какие-нибудь тайные планы относительно этого агента, обладающего золотом? Очень вероятно, что он находил излишним пошарить в его кармане.

Но, тем не менее, он, несмотря на свои тайные виды, выказал ему много почтительности при встрече.

— А! Я хорошо знал, что эта тонкая штука вас отыщет.

— Действительно, очень тонкая, — ответил лаконически Шульмейстер с любезной улыбкой, относящейся к молодой женщине. — Будем говорить немного, но хорошо, — прибавил он тотчас. — Генералы сомневаются в моих проделках, и послали за мной погоню. Невозможно, чтобы они вскоре не узнали, что нас видели вместе сегодня утром: вас, Рульского и меня. Вы не должны терять времени, чтобы ввести их в обман, выдав меня.

— Выдать вас!..

— Ах, конечно! У вас нет другого выбора. Расскажите им, что с первого взгляда я показался вам подозрительным, и вы следовали за мной с целью задержать меня, предварительно побеседовав со мной довольно продолжительно. Но я перехитрил вас и убежал Бог знает куда! Впрочем, вы можете предложить главнокомандующему, как залог вашей искренности и предвидения, арестовать в гостинице мой багаж... Вы найдете в "Зеленом Дереве" одежду, которую я носил по прибытии, и даже некоторые бумаги, не имеющие важности. Другие я сохранил на себе. Что касается до моего счета, который не очень велик, рассчитайтесь, пожалуйста, сами. Офицеру его величества императора Франца неприлично, чтобы его кормили за счет неприятеля.

— А вы, — спросил Венд, смотря на него как-то странно, — что вы будете делать это время?

— Я? Я останусь здесь несколько часов, потому что госпожа Доротея согласилась дать мне убежище, и подожду, когда вы скажете мне, что дороги свободны.

— Прекрасно устроилось!.. Да, на самом деле, таким образом я покончу с подозрениями, а вы немного позже убежите... Но скажите, вы говорили мне о сумме денег, которые вы хотели вручить через несколько дней...

— Так что же?

— Так это еще...

— Без сомнения!.. Только эти деньги надо заработать, как и те.

— Ладно!.. Но вы так скоро убежали, что, может быть, не можете сдержать ваше обещание.

— О, будьте спокойны, — сказал агент, — мои деньги никогда меня не покидают.

При этих словах Шульмейстер ударил по своему поясу со спокойным настроением кассира, уверенного в безопасности своих денег...

Доротея, прислонившаяся к стене с самого прихода в комнату, теперь, побледнев вся, выпрямилась и беспокойно следовала глазами за игрой физиономии Венда. Она, казалось, читала, как в открытой книге, его самые сокровенные мысли.

Поручик не настаивал более на разговоре и принял молча снова застегивать свой мундир; затем, расправив рукой складки на талии, он направился к комоду, где лежала его сабля, как бы желая ее взять.

В то время, когда он повернулся спиной, молодая женщина бросилась между ним и агентом. Проходя она схватила руку своего гостя и знаменательно пожала ее.

Шульмейстер не успел даже спросить ее, почему она так поступает, как внезапно увидел через плечо повернувшееся к нему бледное, искаженное лицо Венда. Поручик держал в руках заряженный пистолет... Достаточно было взглянуть на него, и тотчас стало бы понятно, что только неожиданное вмешательство Доротеи удержало его от намерения убить Шульмейстера, неосторожно сознавшегося в своем богатстве.

“Какая была бы удача для начальника разведок императорской армии, — раздумывал Венд, — если бы, прилично обобрав свою жертву, он мог похвастаться в главном штабе, что избавился от сомнительного

иниона! Какое гениальное средство выйти, таким образом, из дел и объяснить свои самые подозрительные поступки в свою же пользу, если его будут обвинять в преступлении!“

Вмешательство Доротеи уничтожило его план.

— Что ты делаешь? — спросила она Венда после трагического молчания. — Отчего не оставишь ты этой игрушки в кармане?.. А, я понимаю: ты, вероятно, хотел доверить ее мне, прежде чем отправиться в главный штаб... Это недурная мысль! Положи пистолет на стол... если хочешь, разряженным!.. Я могу неловко взять его и причинить несчастье... Так! Превосходно!.. Теперь, поверь мне, что ты должен благодарить господина Шульмейстера. Во-первых, за то, что он вознаградил тебя так щедро сегодня утром, во-вторых, — что доверился тебе вечером, а в особенности за то, что он не заметил твоего последнего поступка... Только не забудь, что бесполезно появляться тебе здесь! Я не хочу, чтобы ты сюда возвратился. Я не знаю тебя! Я никогда тебя не знала! Можешь уходить... Ступай! Ты теперь свободен!..

Положив на стол пистолет и снова застегнув портупею, Венд, дрожа от бешенства, а, может быть, из боязни, с минуту колебался, прежде чем выйти. Доротея не спускала с него глаз. Она сделала быстрое движение и прикоснулась к оружию — искусителю.

Шульмейстер, готовый на все последствия, скрестил руки, смотрел в упор на изменника.

Венд, сделав угрожающее движение, прошел, топча, около него. Но голос Доротеи раздался еще прежде, чем он вышел за порог.

— Сделай, как тебе советовали, — сказала она, — и не надейся возобновлять под другим видом того, что ты пытался сделать здесь... у меня! Этот раз я не пощадила бы тебя! Впрочем, знай: если случится с моим гостем несчастье, я убью тебя, как собаку. Ты знаешь, на что я способна, не правда ли? Ну, убирайся вон, подлец!

Но она не удовольствовалась, видя, что он вышел. Вооружившись пистолетом, который он оставил, она снова открыла дверь и, сделав несколько шагов по переулку с поднятой над головой свечой, следила за его бегством. Шульмейстер смотрел с молчаливым удивлением, как она действовала и подвергала себя опасности для него. Его жесткое сердце искателя при-

ключений всего более защищено было от всевозможных сентиментальных впечатлений; оно питало нежность только к трем слабым существам, окружавшим его: Берте, Гансу и Лизбете. Но как отказать в небольшой благодарности за эту добровольную преданность, встретившуюся неожиданно ему на дороге?..

— Что я сделал, чтобы заслужить ее? — спрашивал себя Шульмейстер. — Ничего.

Доротея возвратилась медленными шагами, поставила подсвечник на стол и сказала, опустив глаза:

— Не надо, чтобы вы здесь оставались, господин Карл. Этот человек на все способен, я сказала вам уже об этом!.. Если он на всякий случай не бросился донести о вас, то он наверно стережет вас где-нибудь в уголке, чтобы предательски нанести вам удар сзади... Кто знает, что он не будет бродить всю ночь вокруг дома, чтобы выждать благоприятный случай? Я уверена, что он недалеко отсюда.

— Существует ли другой выход отсюда? — спросил Шульмейстер.

— Да. Венд его знает, но не имел еще времени запереть его от нас с тех пор, как ушел... Послушайте. Сзади двери, которую вы видите там, около комода, вы найдете узкую тропинку, перерезающую круговую дорогу. Надо идти по ней с предосторожностью; в конце десяти шагов находится пропасть крепостного рва в тридцать футов глубины. По счастью, откос не очень обрывист, и с некоторой осторожностью можно без затруднений достичь дна рва. Я проходила часто там!.. Достигнув глубины, вы пойдете немного вправо и найдете место, где легко подняться на другую сторону.

— Хорошо! — сказал Шульмейстер, беря свою шляпу. — Благодарю, Доротея! Я никогда не забуду, что вы сделали для меня сегодня вечером... Хотите вы протянуть мне руку, как другу?..

— Нет, — возразила она глухим голосом. — Нет, я не хочу...

— Отчего?

Доротея больше не отвечала. Она оставалась молчаливая, неподвижная, с опущенными руками, с полужакрытыми глазами.

Шульмейстер с минуту колебался, смущенный и даже немного взволнованный. Следует ли ему подойти к ней, заставить ее объясниться, выказать ей более

расположения, чем благодарности? Конечно, это честное создание, выказав столько благородства и бескорыстия и даже жертвуя своей жизнью для него, заслуживает горячих объятий.

Однако Шульмейстер не подошел к ней. Он не понимал, что говорил, что делал. Он только прошептал едва слышно почти неясным голосом:

— До свидания, Доротея!..

Затем медленно направился в глубину комнаты и, открыв маленькую дверь, вышел.

Тогда Доротея подняла глаза. Они были красные и блестели, как бы от незаметных слез.

Она упала на стул и напрягла слух, чтобы слышать в ночной тиши удаляющиеся шаги Шульмейстера.

V

Шульмейстер, несмотря на очевидное впечатление, которое произвела на него Доротея, когда он был у нее, не хотел слепо следовать ее указаниям. Во-первых, из принципа он слушал советы других только наполовину. Для его ремесла это было вернее. Во-вторых, он предвидел затруднения, какие ему теперь придется испытать, чтобы возвратиться в город, если он добровольно из него выйдет.

Он даже не спустился в ров, прежде чем взять шпоро на тропинку, ведущую в деревню, как указывала ему Доротея. Напротив, он пошел по гребню вала до ближайшей дороги. Она шла вокруг жалких лачуг этого забытого квартала, и он забрался по ней на улицу, направляющуюся в центр старой части города.

Бродя таким образом, Шульмейстер размышлял. Не в проигрыше ли он скорее, чем в выигрыше, от только что совершившейся смелой выходки? Не скомпрометировал ли он серьезно результаты своего предприятия?

Прежде всего ведь Венд хотел его убить, чтобы завладеть его деньгами. Из этого можно вывести заключение, что этот почтенный поручик делается его отъявленным врагом, потому что ему не удалось его убить.

Помимо этого во многих кварталах города его ви-

дели проходившим без гримировки и переодевания. Лакеи же гостиницы созерцали его в военных доспехах. Все это, вместе взятое, препятствовало ему показываться в Ульме, по крайней мере, пока он совершенно не преобразится.

Наконец, надо быть очень осторожным и в особенности воспрепятствовать Венду, а, может быть, и Рувльскому донести на него. Иначе он не будет в состоянии иметь доступ к главнокомандующему, так как Мак узнает о фальшивом Калькнере.

— Черт возьми! Это очень сложно!

Да, но зато он теперь ясно видел игру неприятеля. С первого раза ему удалось проникнуть в самый центр и иметь возможность рыться в совести каждого из офицеров. Разве не самое важное было для него узнать все точно? Так теперь это сделано.

Что же касается до будущих затруднений, то с небольшой ловкостью и большой дозой дерзости можно будет их преодолеть.

Его затруднял не выбор гримировки. Единственно существующее препятствие, созданное Вендом, была обнаружившаяся враждебность. Колебаться же было нельзя; туда должны быть направлены все усилия, и там надо применить всю его гениальную изворотливость.

Результатом этих размышлений Шульмейстера было решение войти в одну из подозрительных гостиниц, где он мог не опасаясь сказать свое настоящее имя, если бы вздумали у него спросить.

Заняв комнату, он тотчас заснул сном праведника. Таким образом, посредством полнейшего отдыха он подготовился к предстоящему дню сражения.

На следующее утро поручик Венд отправился в главный штаб со своим ежедневным докладом, который он обдумывал всю ночь. Когда он явился туда, то нашел генерала Мака оживленно разговаривающим с каким-то незнакомцем.

Последний своей наружностью и походкой напоминал деревенского увальня, напротив, его взгляд был хитрый, а речь ловка. Однако, им, казалось, овладел гнев, доводивший его чуть не до апоплексии. Генерал слушал с видимой благосклонностью все его объяснения и, казалось, понимал всю их важность, но в особенности наслаждался справками, добытыми от крестьянина.

— Идите сюда, идите, поручик! — закричал Мак, как только заметил своего патентованного разведчика. — Вас заинтересует одинаково, как и меня, то, что этот человек сообщил мне. Вы знаете его имя?

— Нет, генерал, я не знаю его совсем.

— Его имя Карл Шульмейстер.

Если бы гром разразился, и молния упала у ног Венда, он не был бы сильнее поражен. Он как будто наступил в самой фальшивой позе, с раболепной улыбкой. По окончании военного поклона его рука не повиновалась ему и не опускалась, оставаясь сложенной, кисть руки — открытой, а вытаращенные глаза, устремленные на Шульмейстера, выражали безумие.

— Что с вами, поручик? Отчего у вас такое лицо! Так это не первый раз, что вы слышите имя Шульмейстера?

— Честное слово, можно сказать, что поручик встречал другого Шульмейстера! — заметил глухим голосом крестьянин. — Не будете ли любезны, генерал, спросить его, не был ли у него вчера в гостях какой-то злой шутник, назвавшийся моим именем и взявший мои деньги? Он хвастался тем, что может кунить всех окружающих вас офицеров, которых только захочет, и проникнуть в главный штаб. Кроме того, он хотел рассказать вам какую-то ложь относительно намерений Бонапарта.

— Вы понимаете, о чем вас спрашивает Шульмейстер? — сказал главнокомандующий, испытывая взглядом взволнованное лицо своего офицера.

— Я прекрасно слышу, что он сказал, но я не очень хорошо его понимаю.

— Не получили ли вы вчера предложения одного человека подозрительного вида?.. Я должен думать, что нет, потому что вы ничего мне об этом не говорили. Говорите же наконец: предлагали ли вам денег за какое-нибудь дело?

— Конечно, нет! — протестовал Венд на всякий случай.

— Так вы не имели вчера дела с человеком, носящим имя Шульмейстер?.. Вы не помогали его переодеваниям, чтобы он мог пройти к офицерам, составлявшим военный совет?

— Нет! Нет! Все это неправда!..

— Вы не знаете никого из товарищей, кто мог бы сыграть эту роль?

— Никого, генерал! Клянусь вам, никого!

— Нет надобности клясться, поручик, я верю вам... Но объясните мне тогда, отчего имя этого честного человека вас только что поразило до такой степени?

Венд мало-помалу начал овладевать собой. Рассуждения стали проявляться в его мозгу... Он еще не знал, чем все кончится, но думал, что немного дерзости, и он может выйти из этого положения.

— Я давно знаю имя Шульмейстера, — сказал он, — но никогда не встречал его лично. Мне известно, что этот человек — самый драгоценный из агентов и самый надежный, которому начальник армии может поручить дело. Признаюсь, я не ожидал встретить его таким... Вот отчего я так удивлен.

— Благодарю вас, поручик, за ваше доброе мнение. Но признайтесь, все-таки неприятно когда другой выдает себя за меня!.. Боже мой!.. Боже, если бы я его знал!

— Наконец, — сказал Мак, — Шульмейстер, которого я никогда не видел, но только переписывался с ним с некоторых пор, рассказал мне, что один из его прежних разведчиков, после того, как обобрал его, назвал его именем и затем незаметно проникнул в Ульм. Он опасается, что этот несчастный уже нас обманул относительно намерения неприятеля. Я невольно сравнил то, что он рассказал, с известными фактами, свидетелями которых я был вчера. Так вы положительно утверждаете, что ничего не знаете, не правда ли, поручик? Ваша исключительная роль как начальника нашей разведочной службы позволяет вам знать эти дела. Однако вы не знаете их?

— Клянусь честью!

— Хорошо.

Мак не прибавил более ни слова. Что же касается крестьянина, он тоже молчал, но при этом поднял на Венда глаза, в которых презренный мошенник прочитал с быстротой молнии свой приговор: “негодяй!”

Но как он мог угадать, что этот толстяк с угреватými, красными щеками, с волосами цвета кудели, с тяжелыми ногами, с красными руками (потому что они были стянуты в кисти очень тесными рукавами) был одно и то же лицо со вчерашним Шульмейстером? У последнего, напротив, щеки были бледны, волосы цвета пламени, ноги сухие и нервные, а руки белые.

Поручик видел, что главнокомандующий еще не-

которое время разговаривал с хитрым страсбургцем и даже сделал множество замечаний, слушая его. Сам Венд держался в стороне, пока длилась беседа, из которой он не уловил ни слова. Его мысль, вернувшись к вчерашнему дню, вызвала перед ним ненавистное лицо "другого", которого он давно знал под тем же именем, оставшегося накануне с Доротеей, в маленьком доме, по соседству со рвом.

Если в эту минуту перед ним был настоящий Шульмейстер, рассуждал Венд, кто же был тот самозванец, до последнего дня обманывающий его? Не он ли внушил Доротее выгнать его и наверно после насмеялся над ним вместе со своей сообщницей?

Генерал Мак, окончив расспросы и записывание своих замечаний, вышел из кабинета и оставил одних, с глазу на глаз, вчерашних сообщников, а сегодняшних врагов. Тогда Венд принялся рассматривать во все глаза странную фигуру, которую он видел вперые.

Он мог вполне доставить себе это удовольствие, так как неизвестный приблизился в его сторону, не прячась от дневного света. Чем больше он смотрел на него, тем менее его черты напоминали даже приблизительно черты его соперника.

Поистине Шульмейстер устроил все прекрасно, от грима и прически до одежды. Ему приходилось обманывать не только такого подозрительного старика, как главнокомандующий, но и такого профессионального разведчика, как полицейский поручик. Он увеличил предосторожности, изменил всю свою особу, от своих привычек до жестов и голоса.

Теперь, когда партия была выиграна, так как Венд, отрицая перед начальником свои отношения к Шульмейстеру, которые легко было доказать, находился совершенно в руках последнего, то можно было немного позабавиться.

Не говоря ни слова, Шульмейстер приблизился мелкими шажками к презренному Венду и принялся на него смотреть в упор. Вдруг Венд увидел, как крупные розовые щеки крестьянина начали понемногу таять и бледнеть. В свою очередь красные толстые руки становились вне рукава тоньше и блее.

Можно было принять это зрелище за волшебное превращение живого существа, но сверхчеловеческого, имеющего возможность принимать, по своему жела-

нию, различные оболочки. Одна измененная черта лица естественно преобразовала другие. Так, маленькие, подмигивающие глаза, какие только что были у крестьянина на его раздутом лице, теперь показались блестящими, громадными и страшными на костлявом, почти без кровинки синеватом лице. Последние быстрые движения закончили творчество. Правая рука вынула изо рта два широкие шарика из пробки, помещенные между щеками и деснами, чтобы придать округленность щекам. Затем он быстро вытащил два ствола от перьев, завернутые в вату, которые изменили форму носа, а левая рука сорвала с головы парик. Перед Вендом появился человек, которого он хотел накануне убить. Он был по-прежнему безмолвный, но уже не такой равнодушный и насмешливый, а напротив — страшный.

Первое движение Венда было ударить и бежать, в криках выражая свой донос и в то же время свой ужас. Тогда рука Шульмейстера ударила его по плечу, и самый откровенный взрыв смеха, какого еще никогда не раздавалось в старом Ульмском замке, остановил его покушение на насилие и бегство. Но этот взрыв шумного веселья опять сменился осторожностью.

— По правде, не очень-то у вас умны! — сказал Шульмейстер. — Генералы совещаются с незнакомцами; добрые друзья, видевшиеся накануне, не узнают на другой день друг друга... а агенты, обязанность которых — давать справки со всего света, не знают даже, уважают ли их в собственном быту.

Венд, услыша последние слова, казалось, был готов наброситься на своего врага. На этот раз порыв был возбужден именно с той целью, чтобы узнать, не скрывается ли случайно в чувстве ненависти Венда какая-нибудь ревность. Для этого Карл и решился намекнуть на Доротею.

— Я извиняю всевозможные глупости, если они внушены истинной страстью, — сказал Шульмейстер, снова становясь серьезным. — Вы ошибаетесь, господин Венд, воображая, что я делал глазки этой славной девушке, которая проводила меня к вам вчера. Возможно, что если бы вы обращались с ней лучше, то она не подумала бы бросить службу у вас и перейти ко мне, потому что, сколько мне известно, я не Адонис. Ваш гнев, позвольте вам сказать, так же глуп, как неблагороден. Теперь делайте, что хотите.

Вы так хорошо маневрировали, что мне нечего вас более бояться: довольно одного моего слова, чтобы вас погубить. Мы находимся у людей, которые должны были бы приказать расстрелять меня, потому что я обманываю их. Вас же надобно было бы повесить, потому что вы изменяете им. Я слышу шум... Очень возможно, что нас поставят сейчас на очную ставку, чтобы сравнить наши показания и взвесить представленные нами сведения. Я увижу по вашим приемам, чего я должен держаться. Неправда ли, вы хорошо предупреждены? Этого достаточно. Ах! я забыл... еще одно слово: знаете, мои деньги все там же!

При этих словах он ударил себя по животу. Действительно, со вчерашнего вечера деньги находились все там же, в поясе. Они были единственной вещью из его переодевания, от которой было невозможно так легко отделаться и в такой короткий срок.

В то время, как Венд, успокоенный и вместе с тем взволнованный от всего слышанного, казалось, взвешивал за и против, Шульмейстер проворно удалился в глубину комнаты и мигом поправил беспорядок своего грима.

Когда отворилась дверь, шпион императора снова устроил себе раздутое и хитрое лицо. Поручик стоял у окна и, казалось, был еще в нерешительности, что ему предпринять.

Мак возвратился, сопровождаемый эрцгерцогом Фердинандом и фельдмаршалом Кленау, тем самым, который почуял накануне обман.

— Вот этот человек! — сказал им главнокомандующий, указывая на Шульмейстера, — и вот г-н Венд, которого вы знаете, как и я. Допросите их, как я это сделал. Если я обманываюсь до последней минуты, и из этих докладов, даже противоречащих друг другу, вы не сделаете формального заключения, то я соглашаюсь относительно мер, какие предпримут генералы на совете.

Затем начался допрос.

VI

Что же делала Доротея в то время, пока ее вчерашний гость находился так близко от нее, чего она не подозревала? Несмотря на все невероятие, он про-

должал свою задачу, которая, как думала Доротея, была прервана бегством.

При виде удаляющегося Шульмейстера, Доротея испытала странное смешанное чувство разочарования и горя. Скромная дочь народа, наполовину крестьянка, наполовину работница, она попала в объятия фальшивого офицера, красавца и хвастуна. До тех пор безропотно покорившись странному ремеслу, на которое ее осудил Венд, она сохранила, даже сама не зная, идеальные наклонности, смутно обрисовывающиеся на дне ее сердца. Внезапно, после долгого забвения, эта еще не изгладившаяся мечта снова явилась к ней.

Достаточно было ей сравнить отвагу неизвестного прохожего, как Шульмейстер, с ежедневной дрянностью, как Венд, работою которого была она, чтобы предусмотреть обстоятельства, которые могли облагородить ее ремесло. Она видела, что может искупить низость лжи смелым подвигом, став лицом к лицу с опасностью. Ее воображение окончило остальное, и теперь ее сердце присоединилось к нему.

Доротея искренне страдала, видя себя покинутой, но ее более огорчало, что ее презирал человек, который был в ее глазах героем. Она думала, что если Шульмейстер отверг ее сердце и молодость, то, без сомнения, потому, что находил ее не достойной любви.

Тогда она спрашивала себя, почему она недостойна. Не потому ли, что принадлежала этому презренному Венду? Но разве она не выгнала его позорно от себя? Разве этого не достаточно?

Но ведь она молода и красива! Она знала, что может внушить страсть. Она чувствовала, что может привлечь и удержать человека, который ей понравится. И вдруг, как живой протест, явился перед ней Шульмейстер. Человек, которого она так желала иметь своим спутником в жизни, своим сообщником, отвернулся от нее и удалился.

Этого было достаточно, чтобы Шульмейстер показался ее глазам полон очарования, о котором он сам и не подозревал. Он снова явился перед ней в ее воображении, но уже не тем раздумывающим и внимательным, каким она видела его в начале встречи, а благородным и гордым, каким он покинул ее. Он не был более холодным до безразличия, как в то время, когда она вела его к себе, а осторожным,

сдержанным и властелином самого себя до героизма, каким он расстался с ней. Обдумывая все, как она умела, согласно природной склонности своего ума и привычке к ее обычному ремеслу, она сказала себе: "Я покажу, что необходима ему и могу быть полезна. О, я докажу ему!"

Всю ночь она не сомкнула глаз, мысленно разбираясь с усиливающейся лихорадкой в своих новых планах и идеях. Усталая, она наконец закрыла глаза, и ею овладел страх, который перешел во время сна в ужас. Она опасалась подпасть снова под иго Венда. Но, когда утром она проснулась и убедилась, что со стороны Венда не было сделано никакой попытки попасть к ней в течение ночи, и дверь оставалась неприкосновенной, то ею овладела радость. Лучи сиявшего солнца, бросавшие на все отпечаток спокойствия и безразличия, обнаружили, что все осталось по-прежнему, и увеличивали ее радостное настроение.

Выйдя из дома, она деятельно принялась разыскивать повсюду каких-нибудь ценных справок для Шульмейстера, с которым она надеялась вскоре снова увидеться. При этом она заботливо избегала тех мест, где встречалась обыкновенно с поручиком, и находилась его квартира. Одним словом, она наводила справки, оставаясь невидимой, и наблюдала за всем, не выдавая себя. Она никак не могла догадаться, что оба существа, в которых заключалась ее жизнь, были вместе задержаны с утра в главном штабе и все из-за той же продолжавшейся между ними борьбы.

Она так углубилась в свои мысли, что едва поняла причину внезапного движения на торговой площади. Хотя с точностью она ничего не могла определить, но знала, что в городе произошло что-то новое. Не желая остаться одна дома, она решила идти куда глаза глядят.

Она быстро встала и вышла через маленькую дверь, где Шульмейстер прошел накануне. Цепляясь за траву, она спустилась на дно рва и затем поднялась по знакомой дороге с другой стороны обрыва. Вскоре она очутилась в пустынной деревне. Здесь Доротей остановилась и принялась осматриваться в темноте. Она не знала, в какую сторону должна идти завоевывать уважение и любовь своего несравненного владыки.

Но мало было надежды, что в эту ночь она узнает какие-нибудь интересные новости. Однако инстинкт,

никогда не обманывавший ее, направил шаги ее к деревне, расположенной на левом берегу Дуная, в одной версте расстояния. Ее глаза мало-помалу освоились с темнотой, и ее внимание было привлечено едва заметными светящимися точками, то пропадающими, то вновь появляющимися. Это было маленькое предместье Вертинген, хорошо известное ей. С этой стороны дома были расположены далеко друг от друга у подножья холма.

Туда именно она и направилась. Чтобы достичь Вертингена, ей предстояло проходить через поле со жнивом, перелезая через заборы и избегая постов, расставленных во всю длину дороги. В особенности она старалась обойти обширные пространства, занятые целой австрийской дивизией, которая теперь там отдыхала. Этот отряд составлял часть корпуса, находящегося под прямым начальством эрцгерцога Фердинанда, и стоял позади Ульма. Со стороны Черного Леса он охранялся только несколькими часовыми. Его начальники думали, что положение, занимаемое дивизией, служит защитой против всевозможных нападений неприятеля. Благодаря этой уверенности, десять тысяч человек спали спокойно, не подозревая, что мимо прошла одетая в черное женщина, с целью хлопотать об их поражении.

Однако, после многих обходов, она попробовала выйти на грядую дорогу в Вертинген. Внезапно Доротея очутилась в присутствии ведетта, расположенного на легком земляном скате. Она слишком поздно увидела гигантскую фигуру лошади и солдата и не успела скрыться от внимательных глаз часового.

Затем она услышала обычную фразу караульных: "wer — da?" Сначала эта фраза звучала беспокойно, а затем угрожающим тоном. Одним прыжком она бросилась в тень и хотела скрыться... Стук карабина, вскидываемого на плечо, заставил ее сразу остановиться. Она легла в траву. Однако, выстрел последовал наудачу, проведя светлую линию в темноте. Она встала и снова пошла к краю дороги, где помещался караул, но не приближалась к нему; а заботливо оставалась в расстоянии нескольких шагов.

— Что вы, белены объелись? — закричала она смело... — Разве теперь не дозволяют более ходить на свою работу или возвращаться домой?

— Отчего вы не ответили? Кто вы? Куда идете? — спросил взбешенный кавалерист.

— Я иду из города и возвращаюсь в Вертинген. Достаточно с вас этого?

— Скатертью дорога!

— Мне только это и нужно.

В это время она услышала галоп приближающихся солдат. Они явились, чтобы узнать о причине тревоги. Доротея не дождалась их и продолжала путь. Она шла согнувшись, чтобы ее не заметили. Вскоре вдаль слышались голоса и лошадиный топот на той дороге, по которой она проходила. Затем все стихло.

Она снова стала смотреть по направлению к реке. Теперь свет не казался более одиноким. На склоне горы, покрытой лесом, казавшимся темным пятном на серовато-голубоватом безлунном небе, выделялись зажженные фонари. Они в полном смысле представлялись блуждающими огоньками, перебегающими взад и вперед. Это освещение указывало на присутствие многочисленного войска. Каким образом вместо того, чтобы стрелять в прохожих на дороге, австрийские часовые, которых она только что избежала, не заметили этого явления?

Но внезапно все огни погасли. Виднелись лишь два или три красных мерцанья, очень отдаленные друг от друга. Они, очевидно, сосредоточивались в центре бивуаков.

По-видимому, войско, собравшееся вокруг таинственных огоньков, теперь совершенно окончило свое размещение. Они, как и австрийцы, тоже улеглись и будут ждать рассвета, чтобы снова пуститься в путь.

Доротея ускорила шаг, направляясь к первым домам деревни. Никто не шевелился. Все окна были темны, а дворы пусты. Дворовые собаки не лаяли.

Было около одиннадцати часов ночи.

Только дверь одного дома, находящегося в конце дороги около долины, ведущей к первому лесу, была не заперта. Перед ней стояла распряженная тележка. Две ее пустые оглобли поднимались к небу, как две молящие руки. На неосвещенном пороге дома виднелся высокий мужчина, облокотившийся на наличник, и степенно курил трубку.

Молодая женщина шла по траве, чтобы не производить шума. При виде стоявшего мужчины она внезапно остановилась. Заметив ее силуэт на зеленом

бордюре травы, мужчина вынул трубку изо рта и стал смотреть с вниманием на ее черную фигуру. Ее внезапный приход оторвал его от размышлений о слышанном несколько минут тому назад выстреле.

Но кто это остановился перед ним? Не бродяга ли?.. Или солдат?.. Женщина?.. Да! это, должно быть, женщина: ветер коснулся ее юбки, и она начала развеваться, — раздумывал он.

— Должно быть, крестьянка или какая-нибудь служанка с одной из ферм отправляется на свидание?.. А, может быть, запоздавшая работница? Просто это нищенка — решил он.

— Сударь, не можете ли дать мне связку соломы и угол, где я могла бы заснуть до утра? — раздался из темноты молодой голос, обращаясь к мужчине.

— Я не у себя, — отвечал он. — Дом пуст, и я сам с семьей здесь ночью. Делайте, как хотите. Я не могу ни принять вас, ни отказать вам.

Доротея приблизилась. Мужчина отодвинулся от нее на несколько шагов в коридор, чтобы из предосторожности достать маленький фонарь, свет которого терялся в стене. Направив фонарь на молодую женщину, он убедился, что она не опасна ни ему, ни его спутникам:

Благодаря беглому освещению, Доротея увидела перед собой человека со строгими чертами лица, с седыми волосами, широкими плечами, сильными руками и с худыми большими ногами...

— С этой стороны комната занята, — сказал импровизированный хозяин, указывая на дверь слева, перед которой он стоял. — Но там вы найдете комнату с готовой постелью, на которой можете лечь, — сказал он, указывая на другую сторону. — Вероятно, живущие в доме спасались бегством несколько часов тому назад при виде приближающегося врага...

— Так неприятель близко отсюда?

Ничего не отвечая, высокий старик протянул руку по направлению гор, покрытых лесом, где Доротея видела свет.

— Но, значит, надо думать, вы не боитесь жить здесь, вблизи французов? — спросила она.

— А вы? — возразил он, — у вас, верно, есть дело до них, если вы идете в их сторону?

— У меня! ...Я не знала...

Она прервала свою речь, увидя, как в медленно

открывавшейся двери внезапно появилась ослепительная фигура женщины.

Какое таинственное могущество руководило этой встречей... Был ли это случай, или непреложный инстинкт, управляющий земными существами, без их ведома?

Может быть, это была воля Провидения, определяющая необходимые связи в делах и располагающая по своей прихоти мнимой человеческой несбыточностью.

Каким образом перед смелой искательницей приключений появилось это нежное создание, предназначенное только для любви?

Перед самовольной и дерзкой сообщницей Венда, единственным желанием которой было завоевать место в жизни Шульмейстера, заменив ему жену, нечаянно отворилась дверь, и в ней появилась сама, законная жена Шульмейстера.

Да, это была действительность; циничная и наглая хохотунья Доротея стояла лицом к лицу с белокурой, бледной и целомудренной Бертой.

Бертой?.. спросит читатель. Но как же она попала в этот дом? Какие последовательные события, какие разочарования или какое неожиданное увлечение привели ее к воротам императорской крепости?..

Оффенбургские беглецы на самом деле служили игрушкой событий, совершенно противоположных их планам. Эти неудачи начались, как только они покинули единственное убежище, где их спокойствие было гарантировано.

В первый же вечер своего отъезда они были остановлены в самом сердце гор, Гегенбахе. Начиная со следующего дня, им пришлось испытать общую панику. Незвестно откуда явившаяся новость, что кавалеристы принца Мюрата снуют во всех дефиле Черного Леса, вызвала эту суматоху.

Узнав эту новость, они немедленно поспешили в Оппенау, чтобы достичь после двух долгих привалов Фрейденштадта, расположенного при входе двух больших равнин Вюртемберга.

Там они натолкнулись на первые немецкие полки. Безжалостные приказы на военных границах заставили их бежать еще дальше, как и всех объятых страхом жителей, на другую сторону стратегической черты.

Настроение у всех было различное. Родек проклинал судьбу, маленькая Лизбета надувала губки и

смеялась. Гнездилась ли она в уголке тележки, своего неотъемлемого владения, или собирала она детски-неловким, но очаровательным жестом запоздавшие цветочки на опушке дороги, она все время оставалась свеженькая и розовая.

Берта, бледная и печальная, казалось, была поглощена созерцанием какого-то невидимого предмета и погружена в неотвязную мысль. Она во что бы то ни стало хотела присоединиться к мужу, убежать к нему и больше никогда, никогда не покидать его.

Единственно Ганс, или Жан, как она теперь его попеременно звала, был доволен ежедневной переменной стран. Он был счастлив, что направляется все дальше к новому горизонту. Мальчик смотрел на людей и на вещи с той восхитительной чистотой молодых глаз, когда все виденные сцены не запечатлеваются надолго, но зато рисуются в обаятельных красках. В этих юных глазах холмы становятся горами, ручейки — реками, букеты — целыми рощами, а рощи — первобытными лесами. Прохожих, даже просто бедняков, идущих самым прозаическим образом на их занятия, они принимали или за героев и воров, или за убийц и освободителей...

Если бы ему дали волю, он бесконечно шел бы пешком около тележки, как это делал при отъезде. Только по принуждению он иногда садился в тележку, чтобы отдохнуть. Затем Ганс останавливался перед каждым отрядом солдат, чтобы их подробно рассмотреть. Он изучал с серьезным видом, не подходящим к его летам, лица, мундиры и оружие, как кавалеристов чужеземного вида, венгров и кроатов, так и простых белых и синих саперов, у которых на их странных киверах виднелись спереди медные бляхи с двуглавыми орлами. Из-за этого наблюдения он опаздывал; Берта принуждена была его звать и бранила за это...

Тогда он возвращался к ней и с нежной улыбкой обнимал "маму Берту", выпрашивая себе прощение. Но стоило показаться новому полку, и он снова забывался.

Странное наследие бессмертной мысли! Оно заставляет души одной и той же расы следовать по той же дороге и разделять один и тот же вкус века за веками. Можно сказать, что кровь, переходя из вены в вену, как река с неистощимыми волнами, извлекает с собой из среды предшествовавших поколений разнообразный груз идей и мечтаний. Этим

грузом все жизненные путники владеют в свою очередь.

Ганс смотрел на марширующих солдат, как будто он назывался Жаном Бурбоном, принцем Конде!..

Таким образом, проклиная, щебеча, мечтая или рассматривая, путешественники кончили тем, что достигли ближайших к ульмскому укрепленному лагерю постов. Ввиду атаки французов на той дороге, где ехали путешественники, генерал Мак отдал приказ обязывать всех несражающихся освободить местность по сю сторону. Следовательно, необходимо было объехать все позиции армии, прежде чем приблизиться к городу по восточной дороге. Ночь застала Берту с детьми и Родеком при въезде в неизвестную деревню. Здесь они нашли покинутую всеми ферму. Они видели, что ехать дальше было невозможно, и им предстояло отложить до другого дня окончание путешествия.

VII

Это странный, невероятный факт, однако он доказан множеством примеров, что наша симпатия чаще всего направляется к личностям, которых было бы нужно избегать. В этих случаях наше сердце изменяет нашим интересам, и нас побуждает какая-то таинственная сила любить того, кто нас побеждает, или кто будет нам вреден.

Таким образом, чистота находит очарование в цинизме, а разврат зато чувствует искреннее влечение к добродетели. Честные женщины оказываются упорно великодушными к "этим женщинам" и не из любви к ближнему, а просто по склонности. Вы нередко увидите наглых искательниц приключений, преклоняющихся низко перед святыми женщинами, но не в надежде обмануть кого бы то ни было насчет себя, а, как бы пользуясь случаем, оправдаться перед своей собственной совестью.

По этим-то именно чертам узнается истинное целомудрие и порок, лишенный лицемерия. Пусть они созерцают оба без ненависти: последний — героев воздержанности, а первое — поклонников самого низкого распутства.

Доротей еще не успела взглянуть на Берту, а уже полюбила ее.

Она ничего не знала об этой женщине: ни ее имени, ни лет, ни ее мыслей, ни привязанности, ни цели ее путешествия, ни впечатления, какое произвело на нее собственное лицо Доротей. Однако она чувствовала к этой незнакомке сердечное влечение, что вскоре перешло в застенчивую нерешительность.

Нежный взгляд Берты, который только что ласкал ее глаза, возбудил в ней желание плакать.

Ей тотчас пришла мысль, чем бы она могла услужить этой незнакомке. Она явилась перед ней так неожиданно после длинного пути среди ночной тьмы, и Доротей наивно любовалась ее прелестным лицом.

Она смотрела на нее молча, не находя что сказать.

В свою очередь, Берта рассматривала с видимой симпатией ее лицо, на котором сверкали два красивые блестящие глаза. Эта встреча среди ночи, в затерянной деревне, с красивой празднично шатающейся женщиной, в скромном и чистом платье, с виду такой честной, была неожиданным сюрпризом для Берты. Если бы она слушалась только своего первого сердечного движения, то немедленно широко открыла бы дверь своей комнаты и заставила бы ее войти.

Однако они продолжали молча рассматривать друг друга.

Вдруг из полураскрытой двери раздался тихий стон спящего ребенка. Берта обернулась и стала прислушиваться. Доротей наклонилась вперед. Когда стоны перестали раздаваться, жена Шульмейстера снова стала рассматривать незнакомку, и их обе головы приблизились, руководимые общим интересом.

— Это ваши дети? — спросила Доротей.

— Да, — тихо ответила Берта.

— Бедные крошки! Хорошо ли им, по крайней мере, спать?

— О, да, посмотрите.

И Доротей вошла в комнату.

С тех пор, как она вошла в дом, Родек смотрел на нее подозрительно и вслушивался в ее разговор. После того, как старик, вероятно, убедился, что со стороны незнакомки ничто не угрожает ни Берте, ни детям, он без шума возвратился исполнять свой караульный пост. Вскоре обе женщины сели в комнате друг против друга, недалеко от большой постели. На ней спали совсем одетыми оба ребенка.

— Еще очень далека дорога, ведущая в Ульм?

— Нет, я ушла оттуда сегодня вечером, около десяти часов... А теперь только что полночь. Вы видите, что это недалеко.

— А вы не боитесь ходить одна по дорогам?... Куда же вы идете?..

— Я пришла именно сюда, в Вертинген... Вы, кажется, удивлены. Вы не знаете названия этой деревни?

— Совсем не знаю. Когда мы приехали, уже никого здесь не было, чтобы дать справки. Эта ужасная война пугает и заставляет всех бежать. У вас, без сомнения, есть родители, друзья, которые живут в этой стороне?

— Здесь близко... Да.

— Вы должны беспокоиться о них, не правда ли?

— Я? Почему?

— ...Но, чтобы придти ночью?..

— О! беспокоиться, нет... Но шли дурные слухи, и я хотела видеть...

— Простите меня! я расспрашиваю вас... Как вас зовут?

— Меня зовут Доротеей. А вас?

— Меня? Берта.

— Это ваш отец, который караулит вас у двери?

— Нет, это друг моего мужа.

— А!... правда, вы замужем...

И шальная молодая девушка кинула печальный взгляд на постель, где спали дети...

— Если вы хотите тоже отдохнуть, то ложитесь не опасаясь. Я не устала и буду караулить, — сказала Доротей.

— О, нет! Благодарю, я не буду в состоянии закрыть глаз. Когда я закрываю их, то передо мной проходят такие ужасные образы!... Но отчего же вам не заснуть?

— Мне?... Спать...там... около этих бедных крошек... в то время, как вы будете бодрствовать? О! нет...нет...

В этих словах слышался как бы униженный протест против покушения завладеть местом в том же социальном ряду, как и ее незнакомцы. Несмотря на неизменное добродушие, Берта была поражена. Но у нее было простое сердце, которое не допускало дурных мыслей. Кроме того, оба спящие под ее надзором ребенка заслуживали, чтобы о них заботился всякий, кто только находился около них.

Она с большой симпатией стала рассматривать свою спутницу по приключениям, тем более, что она была так сострадательна к ее горю.

— Вы живете обыкновенно в Ульме? — спросила она.

— Да.

— Вы там знаете много народа?

— Довольно много.

— Не правда ли, там много солдат? Вероятно, столько же, как в Страсбурге, откуда я еду.

— О, да! В данный момент там больше солдат, чем жителей. А вокруг вала, в особенности с другой стороны, к горам, в лагерях и в укреплениях, так там целая армия.

— А!... Не встретили ли вы случайно... впрочем, какая я сумасшедшая, спрашиваю вас об этом?... Представьте себе, что я знаю кое-кого... кое-кого из Страсбурга, так же, как и я. Он отправился тому двенадцать дней в Ульм. Это было бы любопытно, если б вы его видели и могли сообщить мне о его приезде!

— Кто это?

— Естественно, это не офицер, потому что он приехал из Франции!... Нет, это простой горожанин, совершенно скромный по манерам и костюму. Он не очень высок... но в то же время коренастый. У него волосы ярко-белокурые... и даже рыжие... а глаза у него темные... очень живые...

Совершенно побледневшая Доротея пристально смотрела на Берту. Она прислушивалась к каждому слову этого застенчивого и медленного описания интересующей ее незнакомки. Ей казалось, что в нем она узнает черту за чертой человека, которого она только что покинула. По мере того, как образ определялся и становился более и более сходным, она почувствовала в глубине сердца глухую, неожиданную ненависть, ее начали мучить непреодолимое искушение быть жестокой и внезапное желание испортить спокойствие прекрасной соперницы.

О Шульмейстере ли хочет спросить ее эта женщина, эта мать, сидящая около своих спящих детей? Возможно ли, чтобы эта мадонна с кроткими глазами принадлежала подобному искателю приключений?

Нет!... Карл сказал ей накануне, когда был у нее,

что его семья далеко, очень далеко. Он сказал, что поедет к ним после того, как исполнит возложенное на него поручение, если его не арестуют. Как же он мог, имея сведения о стольких различных вещах, не знать о предпринятом семьей путешествии с целью соединиться с ним? Впрочем, это безумная идея воображать, что дело идет о нем. Разве на свете только и есть один человек с рыжими волосами и карими глазами?

Берта с удивлением рассматривала совершенно преобразившееся лицо Доротеи. Перед ней была не та женщина, которая с минуту назад сидела с ней. Улыбка исчезла, и все очарование улетело. Теперь на ее лице остались жесткий взгляд, своевольные и даже несколько поблекшие черты... и почти злое выражение.

— Согласитесь сами, — ответила наконец Доротея, — что мне довольно трудно сказать вам, встречала ли я человека, которого вы так неопределенно описываете!.. Очень может быть, что я и встречала его, но как же утверждать это? Ах, если вы скажете его имя?...

— Я не знаю, имею ли право его обнаруживать. И при том он, может быть, изменил его...

— Переменил имя?... Зачем?...

— Как знать? Чтобы не быть разысканным...

— Вот что? — ответила Доротея, прикрывшись хладнокровием. Она хотела теперь во что бы то ни стало знать правду: — Насколько я поняла, особа, о которой вы говорите, имела причины прятаться по приезде в Ульм?.. Однако вы предполагаете, что я могла его встретить и заметить, проходя... Надо, чтобы вы очень были к ней привязаны и очень близки, чтобы расспрашивать меня, не правда ли? Вероятно, это ваш родственник? Это, может быть, ваш брат? Если только не...

— Так, хорошо!... да, это мой муж! — тихо перебила Берта краснея, как молодая девушка. — Теперь вы понимаете, почему я торопилась знать, что стало с ним.

— Разумеется, понимаю... я понимаю... Но если вы не хотите сказать имя, как же вы желаете, чтобы я вам сообщила?

Берта инстинктивно посмотрела вокруг, прежде чем ответить и дать указания, каких от нее требовали.

Ей казалось, что она выдает страшную тайну, и однако же она угадывала по волнению Доротее, что последняя может дать ей полезные указания.

Тогда Берта еще более приблизила свое лицо к Доротее. Она уже полуоткрыла губы, чтобы доверить свою тайну, не замечая странной душевной тоски, выразившейся на лице Доротее.

Вдруг легкий шум заставил ее остановиться. Она повернула голову к кровати и остановилась, похолодев от испуга.

Ганс, сделав неопределенный жест рукой, как будто отгоняя невидимого врага, поднялся во весь рост на постели. Его глаза были широко раскрыты и устремлены на темную стену. Ничто не отвлекало этого взгляда от нее: ни трагическая, но грациозная группа двух женщин, поднявшихся разом, ни ритмическое колебание пламени, выбивающегося из фонаря, который служил единственным источником освещения комнаты...

Он спал... Он видел сон... Он говорил... твердым и монотонным голосом:

— Надо торопиться! Вот они являются. Мама Берта, тебе нужно будет унести Лизбету сейчас же и уехать с Родеком. Я же поеду, отыщу моего отца, отца Карла, чтобы его не убили... его также... Его хотят убить!...

— Что ты говоришь? — закричала Берта, бросаясь к нему.

Ребенок упал без движения в ее объятия. Затем он открыл глаза, узнал ее и улыбнулся.

— Я видел во сне, — произнес он со своим обычным милым выговором... Я видел, что нас окружили солдаты и взяли... Что это!... кто с нами? Кто эта дама, скажи?

— Одна дама, только что укрывшаяся в доме.

— Ты знаешь ее?

— Я не знаю ее, но она сказала свое имя. Она пришла из того города, куда мы едем.

Ганс несколько минут смотрел на нее со странным вниманием и затем сказал совсем тихо:

— Ты уверена, что не она ведет тех солдат?

Доротеея ничего не слышала и даже не прислушивалась. Она была поражена в самое сердце фразой: "мой отец Карл", только что произнесенной спящим ребенком. Она стояла, облокотясь плечом на дверь,

глядя на соединившихся вокруг нее трех существ. Но она не видела их. Хотя эти маленькие существа были хрупкие, но теперь они встали, как невидимая охрана сердца того, на которого она смотрела, как на свое будущее завоевание.

Теперь было ясно, этот Карл — никто другой, как Шультмейстер, человек с красными волосами, с карими глазами, маленький, коренастый и явившийся оттуда... из Эльзаса!

Нет более сомнений: перед ней находились жена и дети неблагодарного, который ее оттолкнул.

Как они должны любить его все трое, если решились, несмотря на войну, проехать столько стран, чтобы найти его!...

Да и у него, этого смелого, отважного ее товарища, владеющего такой женой и такими детьми, должно быть сердце тоже полно воспоминаний о них.

Доротeya чувствовала, что капризное здание, построенное ее лихорадочным воображением, рушилось... Уже несколько часов она жила мыслью освободиться от роковой зависимости... Она бросилась, очертя голову, в новое похождение, возмущенная изменой и подлостью Венда. Положим, это новое похождение было опасно, но, по крайней мере, привлекательно по своему открытому риску и по рыцарскому бескорыстию...

И с первых же шагов она разбивает голову о стену, а свое сердце — о целую семью, собравшуюся вокруг ее героя!

Так значит инстинкт ее обманул? Очевидно, на свете был иной закон, чем ее фантазия, другая воля, чем ее, и существовали такие запретные плоды, которых ее рука не могла бы никогда схватить.

Жена! сын! дочь! — раздумывала Доротeya. Шультмейстер обладал всем этим! И он имел мужество все это покинуть, чтобы исполнить опасное поручение!.. Что же он за человек? Положим он не легкомысленный развратник, потому что отказался от удовольствия воспользоваться любовью прекрасного создания, как она. Она бросалась сама в его объятия!... Нет сомнений, что он достойный человек, потому что он посвятил себя долгу, более, чем кто-либо другой...

И в бедном, потертом и легко поддающемся мозгу Доротейи поднялся целый вихрь смутных и бессвязных

мыслей. В ее груди слышались повторяемые сильные удары, отражавшиеся, как эхо, в ее ушах. Хотя вокруг никто более не говорил, однако ей казалось, что она слышит с обеих сторон оглушающий шум.

Что она будет теперь делать?.. На что ей решиться... Кому служить?...

Эта мысль была первым проблеском, осветившим ей путь, по которому ей предстояло следовать.

— Нет! Нет! Скорее все другое, но не Венд! — решила она.

Вскоре ее невидимые душевные глаза начали снова искать этот свет. Ее умом снова овладело вдохновение. Мало-помалу исчезло ужасное смятение, помрачившее на один момент ее ум.

Надо продолжать службу у соперницы, чтобы ускользнуть от презренного Венда, так безжалостно эксплуатировавшего ее.

Ну, так что же, разве она не порешила помочь Шульмейстеру? Не будет ли лучшим средством заслужить его доверие, если она известит его прежде всего о судьбе любимых существ? Да, она была способна даже на это!..

Благородная мысль, едва появившись, овладела тотчас ее душой. Эта потерянная дочь народа переродилась, даже не заботясь об этом, и ничего не предпринимала, чтобы смягчить свое горе. Надежда полюбить этого человека овладела ею, потому что она презирала другого. И даже теперь, не надеясь на любовь, она могла оставаться верна своему презрению к Венду.

Все было кончено! Она подняла голову с твердым решением действовать благородно.

Но с возвратившимся хладнокровием к ней вернулась способность видеть и слышать.

Что же произошло в это время в комнате?

Оба ребенка проснулись и смотрели со страхом на дверь. Берта крепко прижимала их к себе... Перед домом раздавался грубый голос бранившегося Родека. В ответ слышался слабо заглушаемый голос. Непрерывавшийся топот оживил деревенскую улицу. Бряцанье оружия невольно выдавало присутствие солдат, которым, без сомнения, предписывалось как можно меньше производить шума. Но не могли же они помешать кольцам узды ударяться друг о друга, двум ружейным дулам сталкиваться и стальной пряжке за-

девать за медную пуговицу. Все это производило как будто ночной шепот оружия, который никогда не могло еще ни одно войско запретить.

— Что случилось? — спросила громко Доротея.

— Значит, мы опять попали в немецкую линию, — отвечала Берта. — Хотя мы близки к цели, но нам придется, может быть, еще удлинить наш путь...

Сильным толчком, который заставил Родека попытаться, несколько солдат очистили себе вход и прошли до самых дверей комнаты, где были путешественники. В то время Ганс высвободился из объятий Берты и прыгнул с постели. Он встал перед Бертой с наивным и трогательным инстинктом, побуждающим его защищать мать. Доротея бросилась к двери, в которую уже начали стучать солдаты ружейными прикладами.

— Всего проще открыть и посмотреть! — сказала она решительно. Едва она повернула ключ в замочной скважине, как было отброшена назад непреодолимой силой трех австрийских гренадер оффенбургского полка. Это были три великана, их разбег, не находя себе более сопротивления, устремился на испуганных беглецов.

— Что же вы хотите? — спросила их Доротея смелым тоном. — Где офицер, командующий вами? Я желала бы, чтобы он объяснил мне, почему врываются в комнату, где спят женщины и дети, когда есть много других углов для солдат?

— Молчите, девица! — грубо возразил ей вошедший унтер-офицер. — Приказ отдан занять деревню, остальное ни до кого не касается.

— Где начальник?

— Это — я .

— Неправда!

— Ты смеешь возражать! — вскричал взбешенный унтер.

— Я говорю, что вы командуете самое большое взводом. Где же капитан?

— Ба! да это вы, г-жа Венд?

Эта фраза была произнесена самым удивленным и в то же время самым любезным тоном. В раскрытых дверях показалась изящная фигура молодого командира роты. Когда Доротея услышала, что ее так называют, у нее от стыда сделался прилив крови, окрасивший ее щеки пурпуровой краской... Ганс полу-

обернулся к матери и, казалось, говорил ей взглядом: “Видишь, я — прав, она заодно с ними”.

— Какими судьбами вы попали сюда, красавица Доротея? — продолжал юный офицер. — А! понимаю... Тайная служба! не правда ли?... Ничего не говорите! я ничего не хочу знать! .. Только я вас обязываю не оставаться дольше в этой деревне! Кто-то, кого вы знаете, указал главному штабу, что он обманулся, или был обманут до последней минуты относительно неприятеля, и что нас атакуют с этой, а не с той стороны... Так вы понимаете?.. У нас может быть здесь с восходом солнца слишком горячее дельце, чтобы в него вмешивались женщины... Вы были с этой дамой? Красивая особа!.. Вот тебе и раз! да у нее есть дети! у нее?..

Солдаты при появлении начальства отступили. Один сержант, стоящий у двери, ожидал распоряжений.

— Прикажете проводить “г-жу Венд” до входа в Вертинген, — сказал ему офицер, — и позаботься, чтобы она прошла свободно. Если есть возможность найти какой-нибудь экипаж, который может доставить ее туда, то велите откомандировать солдата, чтобы управлять лошадью.

✚ Кстати, я как раз видел перед дверью маленькую тележку, которой можно воспользоваться. До свиданья, красавица! Поклон поручику!

Доротея была глубоко оскорблена этой самонадеянной фамильярностью одного из тех, с которыми борется Шульмейстер, и в особенности потому что все это произошло в присутствии Берты. Она понимала, что каждое слово товарища Венда унижает ее бесповоротно в глазах Берты именно теперь, когда она честно предавалась своей задаче... Как бы она хотела снова завоевать один из этих доверчивых и симпатичных взглядов, какие только что ей дарила Берта!

Но Берта думала о себе. Ее занимала единственная мысль: что будет с ней? что ожидает детей?

Зато мальчик внимательно наблюдал за малейшим движением Доротеи. Он видел в ней с самого начала пробуждения врага. Но его детских глаз Доротея не замечала вовсе.

Поразмыслив обо всем, она решила, что ей ничего не остается другого, как использовать предложение

капитана немедленно возвратиться в Ульм. По крайней мере, ей удастся на следующее утро увидеть Шульмейстера и сообщить ему о только что совершившемся движении войска.

Она вышла не сказав ни слова, почти украдкой, как воровка.

VIII

Франсуа Родек находился в страшном гневе.

Прежде всего его очень неучтиво оттолкнули в то время, когда он усиленно объяснял одному унтер-офицеру о невозможности поместить в доме мужчин, так как там уже находятся две женщины и дети.

Затем ударами прикладов его оттолкнули назад в глубину коридора, который служил входом в дом. Там его грубо и крепко привязали за руки к железному брусу в очень неловкой позе. Пока старик старался понять, к чему ведет внезапное нападение на деревню, он вдруг увидел двух солдат, выводивших из конюшни его бедную кобылу, измученную продолжительным путешествием. Затем ей проделали удила, и оглобли его тележки снова прижались к ее бокам.

Потом почтительно предложили женщине, незадолго до войска прибывшей в деревню, занять место на маленькой скамеечке, где перед тем сидела Берта с детьми, и солдат ударил кнутом по лошади. Тележка покатилась.

— Вор.. Вор.. — кричал Родек. — И это называется армия?.. И это солдаты?.. Нет!.. Это сброд разбойников, которые позорят честных женщин и таскают всюду за собой мошенниц. Они связывают честных людей и обируют их, как в лесу!.. Здесь нет ни одного достойного офицера, командующего солдатами, которому я мог бы прямо сказать в лицо, что он начальник пандур.

Достойный шуан так увлекся в своем гневе, что даже не заметил, как заговорил по-французски. Солдаты, приговариваясь спать в пустых комнатах и коридоре, довольствовались тем, что смеялись, видя его гнев. Они не понимали ни одного слова из его проклятий.

Но один человек понял их.

После отъезда Доротеи молодой капитан спокойно возвратился к узнице. Любуясь ее красивой фигурой, он в то же время прислушивался к каждому слову Родека.

— Сейчас же замолчите! — сказал он наконец с прекрасным французским выговором, — в противном случае я прикажу, не желая вас расстрелять, заткнуть вам рот и бросить на дно погреба. Поняли ли вы меня?

— Сударь, — отвечал Родек выпрямляясь, — ваши люди обошлись со мной, как со злоумышленником. Они отдали мою тележку той женщине и взяли лошаадь, которая принадлежит мне!.. Как же вы назовете это?

— А дом, в котором мы находимся, принадлежит тоже вам?

— Нет, я в него вошел, найдя его незанятым, чтобы дать возможность отдохнуть женщине и двум детям; они находятся там, — указал он на комнату.

— Я видел их. Но если воспользовались этим кровом без хозяев как пристанищем, то, вероятно, на несколько часов?..

— Без сомнения.

— Прекрасно, я сделал то же с вашей тележкой. Она будет здесь на рассвете, и я верну ее вам. Чего же вы еще хотите?

— Я хочу, чтобы меня не связывали, как человека, которого думают повесить. Я хочу, чтобы меня сейчас убили, если должны это сделать, но не заставляя бы меня краснеть.

И у этого старого вандейца при этих словах не только дрожал от гнева голос, но в глазах блеснула такая благородная гордость, что офицер немножко взволновался.

— Если вас отвяжут, даете ли вы слово не искать случая бежать и подчиняться моим требованиям, какие бы я ни представил вам, для безопасности моих солдат? Поклянитесь, и вы будете свободны.

— Именем Отца, Сына и Святого Духа! — ответил Родек, тщетно стараясь сложить толстые пальцы, еще распухшие и красные от веревок, в благочестивый жест. — Я не сбегу. Я не сделаю никому зла. Я больше не скажу ни слова. Я буду ожидать.

— Прекрасно!

Капитан повернулся, сделал знак, и сержант принялся за свою обязанность — развязывать узника.

Последний, по мере того, как его узы падали, все более и более распрямлял свой стан, согбенный от насилия. Теперь перед его глазами был не один маленький белокурый офицер, которого он победил своим достоинством. Он был выше его на целую голову и мог видеть массу людей, сидящих на земле. Они прислонились к стене, чтобы спать, при свете фонаря, прикрепленного к перилам.

В открытую дверь он увидел в нескольких шагах неподвижную фигуру часового и затем часть еще темного неба.

Направо на холме, где при дневном освещении виднелись зеленые деревья, теперь была черная масса.

Но это еще не все, что он заметил. В трех шагах от него дверь знакомой ему комнаты, где находились охраняемые им слабые существа, была полуоткрытая. Без сомнения, ее открыли недавно. В образовавшуюся щель были устремлены на него глаза ребенка.

Ах, эти глаза!.. Он их узнал бы среди тысячи глаз. Это были глаза, называемые “Бурбонскими“, также “Конде“ и просто “глазами Жана“.

В то время, как они смотрели на него, он невольно устремился на них.

Что он говорил им? Что они поняли? Это мы увидим позже.

Родек клялся офицеру, что не убежит, но он не давал обещания, что не спасет других. Он пообещал Святой Троице, что не произнесет ни слова, более того, что сказал. Но его обет оставил ему свободу мыслить и иметь идеи, которые можно выразить мгновенно. Одно легкое движение головы по направлению к отдаленному горизонту может дать точный и определенный совет.

Оскорбления же, которые он только что перенес, произвели на него странное действие. Они вернули ему прежнюю ненависть к австрийцам и в то же время загладили еще недавние следы свежих мучительных обид, полученных от французов.

Эти руки, раздумывал Родек, созданные для сражения, немцы связывали позорными узами, как приговоренному. Тело его они обесчестили ударами, седую голову оскорбили, гнев его осмеяли и силой

вырвали клятву. Все это пробудило в нем воспоминание о его родимой стране. Там, вспоминал он, сражались, убивали, но никогда не оскорбляли врага.

Вспоминая о старинной удали, он снова переживал борьбу против "голубых", происшедшую на перекрестной дороге Бокажа.

А кровь?.. Конечно, она тоже тогда лилась! Он видел, как сейчас, бледные головы, повернутые к небу, усеянному звездами. Глаза их были закрыты. Он видел там мундиры, разорванные серпами, и тела, пронизанные пулями. Но никогда, никогда он не видел там побежденных, которых наказывали бы унижением, связывая веревками, как поросят.

В его время узников запирали на замок и охраняли с ружьями в руках или иногда убивали. Это случалось, когда они изменяли. Но к ним всегда относились, как к воинам.

И эмигрированный из Франции шуан снова превратился в француза.

Ему пришла мысль, что там, совсем близко от него, на горе находятся, может быть, в опасности его соотечественники и братья по крови. Надо предупредить их, во чтобы то ни стало, решил старый шуан.

И даже не думая, что его соучастник — ребенок, он продолжал говорить глазами.

Спустя несколько минут, как только воцарилось в доме спокойствие, полуоткрытая дверь стала медленными толчками приотворяться. На время, пока раздавался звон шпор капитана, возвращавшегося после осмотра, дверь приостанавливалась открываться. Но когда шум шагов молодого офицера затих, она открылась и снова мало-помалу закрылась.

Если бы кто-нибудь вздумал заглянуть теперь в эту закрытую комнату, то увидел бы, что в ней находится лишь женщина, заснувшая в кресле от усталости с маленькой девочкой, которую она крепко прижимала к себе.

Что же касается мальчика, который находился там еще недавно, то он исчез.

Родек лежал, свернувшись в клубок, внизу на лестнице. Он видел со сжатым от страха сердцем, но со слезами восторга на глазах, как легкая и тонкая тень мальчика скользнула между солдатами и бросилась бежать без малейшего шума.

Как часто в жизни ничтожные случаи производят великие последствия! Со времени Боссюэ сделалось таким обыденным явлением в свете указывать на каждую песчинку, которая совратила с пути человеческие события. Какое-нибудь случайное намерение делалось решительным последствием в судьбе целой империи. Какое-нибудь сражение, казавшееся уже выигранным, внезапно проигрывалось. Причиной этой превратности послужил выстрел из ружья, пущенный наудачу и убивший необходимого начальника. Какая-нибудь ученая экспедиция не удалась из-за простого тумана и некстати выпавший дождь привел ее в совершенное расстройство. Гигантские предприятия рушатся вследствие гнилой доски, сломавшейся на мосту. В 1803 году Наполеон едва не потерял плодов своего ловкого маневра и чуть не увидел ускользнувшей целую армию, которую считал уже своей добычей. И все из-за того, что крестьянину из окрестностей Донауверта не удалось продать свой овес так дорого, как бы он хотел.

Последний, приехав в Ульм по делам, привез в кармане мешочек с образцом своего зерна. 7-го октября он предложил на торговой площади овес интендантским агентам, закупавшим провиант для австрийской кавалерии, а также частным лицам, которых нередко стесняла в покупках военная реквизиция. Ни те, ни другие не согласились на его цену. Наконец, крестьянин дошел до того, что им овладел гнев и горькое сожаление о напрасно сделанном длинном пути. Если объявленная война, рассуждал он, не имела в виду увеличить цену на товар, назначенный для армии, как же хотят, чтобы благоденствовали хлебопашцы? Не очень-то удобно ухаживать за полями и защищать жатву от войска, снующего взад и вперед. Если теперь не согласны заплатить подороже за их труд, что же будет с ними?

Дело в том, что крестьянин заломил страшную цену. Один из покупателей попробовал ему это объяснить.

— Прежде всего ваш овес не так хорош, чтобы стоить так дорого. Зерна легки, слишком длинны. Да, кроме того, можно ли быть уверенным, что поставка

будет стоить образца? Во всяком случае это в половину дороже.

— А! В самом деле?

— Да, разумеется. Вы сами видите, что это выше курсовой цены.

— Потому, что здешние продают порченный товар.

— Порченный или нет, но они все-таки продают. Вам не удастся устроить ваш товар... Полноте! Уменьшите на треть цену, и я куплю его.

— Нет, нет, сто раз нет! Французы мне лучше заплатят...

И наш торговец покинул свое место у старого фонтана "Ганнетон", дорогого по воспоминаниям всем жителям Ульма, как воспоминание о четырехсотлетнем прошлом... Он положил свой пакет в карман и сделал вид, что удаляется.

— Вы продадите его французам? — спросил покупатель, удерживая его за рукав.

— А почему же нет?

— Но вы, должно быть, давно их не видали в вашей стороне?..

— Давно!.. Два дня тому назад я отпустил им сто тюков сена и десять мешков овса.

— В Донауверте?

— Без сомнения.

— Их было там много?

— По правде, я ничего не знаю. Я видел своими глазами около трехсот кавалеристов и с карабинами. Они называют их, кажется, драгунами. Эти кавалеристы тянулись один за другим вдоль правого берега Дуная. Я торговался с их начальником, милым юношей, заплатившим мне красивыми желтыми монетами... Вот и все.

— Вы говорите, что это было два дня назад?

— Ну, конечно! У нас сегодня 7-е октября, не правда ли? Ну, так это было 5-го. Моя счетная книжка может это удостоверить.

— Не уходите! Подождите меня...

Крестьянин удивился, видя, как расспрашивающий его человек бросился бежать к группе офицеров, стоявших невдалеке от него. Он оживленно начал разговаривать с двумя или тремя из них. Затем они все направились в его сторону и так внимательно принялись его рассматривать, что он смутился.

— Вот человек, от которого я достал сведения, сообщенные вашему превосходительству, — сказал, указывая на него, покупатель. Последний был никто иной, как капитан Рульский.

После того, как торговец повторил рассказ, который он случайно или с досады привел, его пригласили остаться еще несколько часов в распоряжении главного штаба. Крестьянина проводили в ратушу, а оттуда в главную квартиру. Здесь он очутился в присутствии совета, состоящего из многочисленных военных лиц. Их имена были ему совершенно неизвестны, но все они были в блестящих мундирах.

В третий раз он повторил перед ними рассказ о том, как французская кавалерия купила у него продовольствие, два дня тому назад, в нескольких верстах от города, к востоку. Он повторил все подробности. Совет теперь узнал, что если французы не изменили с тех пор своего пути, то они должны следовать по берегу реки до Вертингена.

— Прикажете войти капитану Венду и агенту Шульмейстеру! — приказало лицо, председательствующее в собрании, выслушав объяснение крестьянина.

Оба врага-сообщника находились в распоряжении главного штаба, после очной ставки, состоявшейся в это утро. Их тотчас же ввели.

Венд был обязан поддерживать все рассказы человека, который его подкупил. Поэтому генерал Мак торжествовал над последним упорством своих офицеров, так как начальник разведочной части говорил одно и то же, что и агент. Но что такое случилось благодаря этому так внезапно явившемуся новому приключению, из-за которого, казалось, снова поднимались все вопросы?

Наконец герцог Фердинанд заговорил и сообщил в нескольких словах обоим новопришедшим, что присутствие кавалерийского корпуса на правом берегу Дуная, позади позиции армии было подтверждено с уверенностью. Затем он ожидал ответа.

Венд, затрудняясь ответить, сделал вид, что поворачивается к Шульмейстеру, предоставляя ему говорить.

— Пожалуйста, без церемоний, капитан, — возразил своим грубым голосом Кленау. — Скажите нам, без обиняков, сходятся ли собранные вами сведения с рассказом этого человека? Какого черта! Распола-

гаешь разведочной частью, чтобы иметь сведения! Если у нас за спиной неприятель, вы должны же что-нибудь знать об этом!

Венд был подлец, но он далеко не отличался глупостью. Он понял, что, прикидываясь незнающим о таком событии, которое, казалось, уже было доказано, он ничего не выигрывал и терял все в будущем. Да и какая вероятность, что Шульмейстер посмеет отомстить ему, если он скажет правду о таких деталях, где всякое скрытничество становилось невозможным? Притом они одним и тем же ударом были поставлены в невозможность действовать до того момента без сомнения, когда у одного из них окажутся развязанными руки.

— Этот человек прав, ваше превосходительство, — ответил Венд. — Мои сведения мне указывают в действительности на присутствие нескольких неприятельских разведчиков, именно в той стороне, которую указывает крестьянин.

— Почему же вы ничего не сказали об этом утром?

— Потому что я еще не определил важности означенного войска, и я предпочитал...

— Так вам нужно увидеть целую армию, тогда вы узнаете, что корпус кавалерии может быть рассматриваем как авангард?.. — перебил его Иелашиш. — Вот так в капкан попались мы! Вот что называется быть хорошо осведомленными!

Шульмейстер решил не открывать рта, пока к нему не обратятся с вопросами прямо. Однако, он выражал свое желание говорить легким притоптыванием ног, которое, по-видимому, являлось, как бы помимо его воли. Мак, обманутый в ожиданиях, благодаря полученному новому известию и дурному настроению офицеров, инстинктивно обернулся к своему предпочитаемому агенту.

— А вы знаете это дело? — сказал он, обрывая фразу Иелашиша.

— Я знаю еще кое-что другое, ваше превосходительство, — сказал Шульмейстер.

— Что же?

Глаза всех генералов обратились к нему.

— Контрреволюция только что вспыхнула во Франции после отъезда Бонапарта из Парижа в армию, — донес он спокойным тоном. — В тот момент, как я говорю, англичане отплыли в Гавр и готовятся помочь

войскам его величества короля прусского, который открыто присоединяется к коалиции. Баварским силам, удалившимся к Аугсбургу, чтобы не быть объявленными присоединяться к силам генерала Кинмейера, или открыто с ними сразиться, угрожают русские, явившиеся с востока. Пруссаки, в свою очередь, грозят им с севера. Французское войско, которое видел этот человек, есть остатки корпуса генералов Бернадота и Мармона. Его прогнали назад немцы и их союзники. Они ищут выхода во Францию. Ульмский же укрепленный лагерь совершенно запирает им выход. Вместе с тем, я знаю, что там множество полков старых войск, которые, даже рассеянные, способны нанести пред... Я полагаю, что было бы разумно поставить им на левом берегу Дуная несколько серьезных преград. Однако, при этом надо остерегаться, чтобы не обнаружить фронта армии со стороны Черного Леса... Прощу прощения у вашего превосходительства, что осмелился между прочим дать вам этот совет. Что же касается до присутствия французских разведчиков на Дунае, то я совершенно согласен с капитаном Вендом. Но я придаю этому очень небольшое значение.

Мак ликовал. Переданные с такой невозмутимой уверенностью новости слишком хорошо свидетельствовали о том, что он упорно доказывал своим корпусным начальникам, а потому главнокомандующий принял их с энтузиазмом.

— У вас, конечно, есть серьезное доказательство вашего рапорта?— спросил, однако, фельдмаршал Кленау, обращаясь к шпиону.— Удивительно, сколько новостей можно узнать в один день! Ведь вы нам, однако, ничего не сказали сразу!

— Я предлагаю, как гарантию рассказанного, мою жизнь, она в ваших руках, ваше превосходительство. Этого достаточно, не правда ли? Доставляя до сегодняшнего дня верные справки главнокомандующему, разве я представлял ему письменные аттестаты в их достоверности?.. Нет! Я проник через французские линии, рискуя быть убитым. Я говорил здесь все, что знал, рискуя, что мне не поверят. Только несколько часов тому назад через посредство, которое мне одному известно, и я не должен его открывать, я мог узнать то, что еще сегодня утром было мне неизвестно. Я исполнил долг, повторив все это. Более мне нечего прибавить.

Тогда произошло что-то странное, чего Шульмейстер сразу не мог себе объяснить, но когда он понял, то был поражен до серьезного беспокойства. При последних словах его голос прозвучал, чего он не заметил сам, совершенно как накануне у фальшивого интенданта Калькнера. И на этот раз фельдмаршал Кленау, отличавшийся лучшей памятью, чем другие, внезапно встал и направился к одутловатому, багровому крестьянину, стоявшему в нескольких шагах от него.

С нахмуренными бровями и внимательным взглядом он, казалось, рассматривал на ходу эти черты лица, со стесняющим Шульмейстера вниманием. Он, по-видимому, искал в них малейший признак другой личности, за которой его глаза уже наблюдали.

В то время как он подходил, Шульмейстер после минутного удивления и некоторого смущения уже овладел собой и спросил себя: "Я, должно быть, забылся... Мне изменил голос!.. Подлинно, что этот человек менее глуп, чем остальные. Он подозревает мое переодевание и наверно подвергнет меня какому-нибудь испытанию... Какому?.."

Кленау был от него только в двух шагах. Он был так поглощен своим исследованием, что глубокое внимание царило в зале. Все присутствующие как бы поняли немую трагедию, разыгравшуюся между этими двумя лицами, находившимися друг против друга.

— Надо снять с этого человека дорожный плащ, надетый на нем, — сказал фельдмаршал, указывая пальцем на шпиона.

Мак подумал, что Кленау сошел с ума, и был готов уже вмешаться, как, к его крайнему удивлению, Шульмейстер без малейшего сопротивления принялся снимать свою одежду.

С удивленной улыбкой он правой рукой сдернул за спиной свой левый рукав, и тяжелый крестьянский кафтан унал к его ногам. Присутствующие увидели круглые плечи и сильный торс поселянина, мало заботившегося об элегантности и легкости одежды.

Поистине ничто не напоминало в нем исчезнувшего интенданта:

Удивленный Кленау рассматривал совершенно близко лицо секретного агента и, казалось, искал на нем исчезнувшие морщины...

Однако и он дошел до того, что уже с минуты стал сомневаться в верности свидетельства своих ушей. Многие знают, с каким упорством поразивший нас выговор, так сказать, отмечается в нашей памяти. Но как же хвастаться тем, что узнал человека только по его голосу, когда все остальные признаки совершенно неподходящие?

Все-таки упорный наблюдатель не считал себя побежденным.

— Генерал, у вас ли еще седой парик, который нашли сегодня утром в одной из комнат вашей квартиры? — внезапно обратился он к Маку, не отрывая глаз от своей жертвы. — Я был бы вам очень благодарен, если бы вы послали за ним, чтобы примерить его на голове вашего агента.

Глубокое удивление, впрочем вымышленное, выразившееся на лице Шульмейстера, было ничтожно в сравнении с остолбенением, которое вызвали подобные слова у начальника армии. Каким образом, в самом деле, мог один из самых серьезных его офицеров предаваться подобным шуткам?

Что же касается Венда, молча присутствовавшего при этой сцене, он чувствовал себя жертвой совершенно справедливого страха. Если только раскроют обман, его сообщничество будет живо доказано, и что же тогда с ним станет?

Кленау притворился, что не замечает произведенного на всех различного впечатления.

— Пока мы здесь, — продолжал он, — мы можем так же прикинуть на спину этого человека белый мундир, который он оставил в спальне главнокомандующего. Может быть, он будет несколько тесноват для такого здоровяка, но у него, должно быть, есть средства переделывать себя. Иногда его видят с плечами, по-видимому, могучими, которые очень ловко набиты шерстью.

При этих словах старый подозрительный воин схватил верхнюю часть руки Шульмейстера, ожидая, что она обернута толстым слоем материи. Но тотчас же он сделал удивленный жест и подался назад. Его рука ошупала полотняную рубашку, под которой при прикосновении его пальцев чувствовались безо всякой военной хитрости громадные мускулы с их сильной выпуклостью и совершенно живые. Никогда такие мускулы не могли бы войти в узкий мундир старика,

достигшего высших военных градаций, в особенности в интендантстве.

Испытание приняло неожиданный для него оборот. Шульмейстер покорился ему, впрочем, с наивным удивлением, сбившим с толку Кленау... Но когда вестовой принес старый мундир, брошенный накануне беглецом, и приложил всевозможные усилия, чтобы натянуть его на человека, который носил его накануне, то обман Кленау оказался полным. Шульмейстер искусно представил, что силится втиснуть в него свои плечи, округляя свой торс, и так расширял проемы, что мундир разорвался от ворота до талии.

В то время другие генералы, заинтересованные этой игрой, мало-помалу покинули свои места, чтобы поближе рассмотреть личность, возбуждавшую подозрения их коллеги. Самый глупый из них, Иелашиш, не поколебался положить свою руку на плечо шпиона и заставить его вертеться, чтобы проверить его анатомию со всех сторон.

Но за этим испытанием кровь, казалось, совершенно исчезла с лица Шульмейстера, глаза метнули пламя, он сделал быстрый скачок назад и вскрикнул:

— Довольно!..

Иелашиш никак не мог допустить, чтобы это восклицание относилось к нему, и хотел снова приблизиться на шаг, чтобы продолжать свой осмотр.

— Я сказал, довольно, генерал! — повторил шпион, глядя ему прямо в лицо. — Я не ваш солдат, чтобы вы обращались со мной грубо. Я — свободный человек, гость главнокомандующего и запрещаю ко мне прикасаться.

— Вы запрещаете! — пробасил Иелашиш с искаженным от гнева лицом.

— Да, запрещаю. Я охотно подчинился внимательному осмотру, который эти почтенные генералы, не знаю почему, нашли необходимым... Кажется, я перенес его добровольно... Теперь конечно, я не согласен более подчиняться этой церемонии.

Иелашиш после этих слов взбесился до того, что у него показалась пена у рта. Сослуживцы приблизились, чтобы успокоить его. Мак, оскорбленный испытаниями, которым был подвергнут его агент, употребил свой авторитет, чтобы положить конец. Но он не преуспел бы в этом, если бы Шульмейстер не повторил те же слова, произношение которых чуть

что не выдало. Не торопясь, пропуская руки в рукава своего тяжелого кафтана, поднятого с земли, он ясно произнес эту фразу:

— Поистине, я сказал все, что знаю, и ничего не могу прибавить.

Он снова отыскал тот тон, который только что пробудил воспоминания Кленау, но с таким различием тембра, в одно и то же время легким и характерным, ощутительным и вместе с тем размеренным, что самый внимательный и тонкий наблюдатель, услышав его, сказал бы себе: “Вот откуда происходит моя ошибка. Оба органа действительно походят; голос сегодняшнего человека походит на голос вчерашнего, но все-таки между ними есть разница”.

Затем все успокоились. Кленау признал себя побежденным, Йелашип уселся ворча на свое кресло. Шульмейстер с грубыми и неловкими манерами, какие видел у него с утра Мак, попросил позволения генерала уйти.

Он ушел, забыв поклониться присутствующим генералам, так как простой крестьянин не привык к коршим манерам. Нельзя же требовать от него, чтобы он был так же хорошо воспитан, как главный интендант Калькнер.

Х

На этот раз Шульмейстер чувствовал, что он дошел до конца своей удачи, и что было бы неосторожно пробовать вновь счастье. Впрочем, что же он обещал Наполеону? Поддерживать генерала Мака в его ошибке до 8-го октября. Прекрасно, но ведь срок истек.

Опасность, от которой он только что ускользнул, благодаря своему хладнокровию и ловкости, очевидно, указывала границу того, что он должен был предпринять в Ульме. Теперь в немецком военном совете явилось много предупрежденных умов, и прежняя военная хитрость не будет так счастлива, чтобы обмануть их. Да, кроме того, нельзя же всю жизнь прогуливать со щеками, подложенными пробкой, ноздрями, увеличенными ватой и пером, животом, обложенным шерстью, и головой, покрытой париком.

Нечего говорить уже о том, что презренный Венд был способен найти средство предать его, не компро-

метируя себя. Подобных людей удерживают, но никогда не имеют в руках.

— Вы прекрасно маневрировали, поручик! — сказал ему шпион, когда они остались одни на улице после шумного заседания. — Впрочем, я нашел другого союзника, совершенно неожиданно. Посмотрите-ка на этого бедного крестьянина, намеки которого чуть не погубили нас обоих. Наблюдали ли вы за ним, пока меня переворачивали на горячих углях? Его лицо было смешнее всего на свете. Он делал нечеловеческие усилия, желая понять, что происходит вокруг его, но не понял. Он мне оказал важную услугу. Всякий раз, когда я чувствовал, что мной овладевает гнев, я смотрел на него, и он преподавал мне, не желая этого, терпение и покорность. Я говорил себе: “Вот каким ты должен быть, чтобы хорошо играть свою роль. Не горячись! Покорись!” И чтобы казаться невинным, я делал, как он.

Венд с невольным восторгом слушал сопровождаемого им великого комедианта, объясняющего секрет своего искусства. Он забыл на секунду свою ненависть, как зритель забывает свое горе и радости, чтобы аплодировать счастливо и умело выраженному движению актера, изображающего какую-нибудь роль на сцене.

— Я прекрасно отдавал себе отчет, поверьте, — продолжал Шульмейстер, — что ваше положение во все это время было особенно щекотливое. Но у меня нет слов выразить, насколько вы были совершенны. Я с беспокойством ожидал ваших первых слов. Я сказал себе: “Будет ли он отрицать движение войск, о котором знает всякий крестьянин? Какая это была бы ошибка! Обозначит ли их точно? Тогда, значит, он хочет меня предать!” Мне было досадно при мысли, что придется выдать вас, предавая себя. Благодарение Богу, у вас ясный взгляд! Да я и не буду неблагодарным, и с сегодняшнего дня я хочу вручить вам часть денег, которые обещал. Как вы это находите?

— Сегодня же?

— Да, но если вы окажете мне, однако, маленькую услугу. О, это вам будет не трудно сделать, уверяю вас. Вы не отвечаете?.. Вы боитесь, чтобы я не втянул вас опять в какой-нибудь компрометирующий шаг? Как плохо вы меня знаете, бедный поручик! Вопрос идет просто о том, чтобы вы отправились отсюда на

Югенштрассе и купили бы для меня шубу... Вы, конечно, знаете, что такое шуба?.. Купите хорошую старую меховую шубу, порядочно грязненькую и порядочно мерзкую, у одного из этих евреев-маклаков. К этому вы прибавите кожаную шапку, стоптанные сапоги, если таковые есть, но вы увидите, что они там найдутся, и сверх всего коробейный ящик, насколько возможно маленький, лишь бы он вмещал немного лент, двое или трое часов с ключиками и столько же бонбоньерок... Вы видите, что это не чрезмерно трудно! За все это вам, разумеется, придется заплатить сотню австрийских флоринов, что составит около двенадцати золотых наполеондоров. У вас, я полагаю, столько найдется с собой? Я сейчас же вам заплачу и вместе с тем отдам за вашу комиссию сто золотых наполеондоров, то есть две тысячи франков. Недурное дельце, гм!

— Куда же вы хотите, чтобы я принес все это? — спросил Венд сдавленным от гнева и в то же время от жадности голосом.

— А к вам! Нет ничего проще. Вы проводите туда меня сейчас же, и я обожду вас там. Кто же удивится теперь, видя нас вместе идущими и возвращающимися? Разве мы не сотрудники?

Венд замедлил шаг и казался колеблющимся, краснея и бледнея попеременно.

— Что же вас затрудняет? — спросил его Шульмейстер. — Может быть, с вами недостаточно денег? Так это пустяки. У меня всегда есть в моей кошелек один из красивеньких золотых сверточков, которые, вы знаете, требуют только, чтобы их разорвали ногтем и отсчитали кончиками пальцев десять необходимых монет... Вот, готово! Протягивайте руку... Но не так, черт возьми! Спрячьте лучше! Подумают, что я плачу вам!

Легкий металлический звук сопровождал одновременно их жест.

— В особенности ничего не забудьте!.. Шубу, шапку, сапоги, ящик, ленты, часы и маленькие бонбоньерки, или коробочки для мушек, безразлично, лишь бы они были достаточно маленькие, чтобы поместиться в руке. Не смотрите на меня удивленными глазами: у меня привычка, или мания, если хотите, привозить моей жене какое-нибудь воспоминание из всех городов, в которых я бываю.

Час спустя Шульмейстер был неузнаваем, или, вернее, совсем более не было Шульмейстера в неприятной и беспорядочной комнате жилища кутилы и игрока. Венд проводил его туда, прежде чем пойти за покупками, и там он оставил Шульмейстера одного.

Счет их был сведен. Две тысячи франков были переданы, как это было условлено. Теперь Шульмейстер принялся писать на квадратном едва видимом маленьком кусочке бумаги отчет всего, что видел и узнал со дня отъезда из Страсбурга. Эта заметка оканчивалась так:

“...Мне более нечего делать в Ульме. Генералы австрийской армии подозревают что-то, но главнокомандующий совершенно согласен с тем, в чем его величество желал его убедить. Численность наличного состава войска 70.000 человек. Часть его может ускользнуть через Тироль с Иелашисшем или к Богемии с эрцгерцогом, остальные не двинутся. Город укреплен, но если удержат Эльсинген, то он взят“.

Написав записочку, Шульмейстер спрятал ее в двойное дно маленькой серебряной, вызолоченной корбочки, за которую Венд заставил его заплатить как за золотую. Затем он надел все вновь принесенное Вендом и казался очень бедным, гнусным и грязным. Он вскоре превратился в разносчика самого низкого сорта, бандита, ужасного ростовщика, готового на подозрительные услуги и на всевозможные выгодные сделки.

У него осталось за поясом несколько свертков, врученных Савари, — полезный запас, чтобы умерить опасности в путешествии.

После быстрого осмотра своего костюма Шульмейстер отправился в путь. Он не унес, впрочем, с собой никакого оружия, принадлежащего хозяину квартиры, хотя заплатил ему довольно дорого, чтобы иметь право на одно из них.

Но в сущности он хорошо знал, что лучшая защита и самый верный инструмент для борьбы с опасностями в дороге был живой гений и необузданная смелость, которая в данную минуту освещала и пролагала ему путь.

Однако для такого хитрого и тонкого человека он совершил непростительную неосторожность, стоящую ему дорого. Накануне он забылся до того, что пообе-

шал прибавку в 5.000 франков к плате каждому из плутов, сделавшихся его сообщниками. По-настоящему эти деньги он должен был им вручить позднее, когда они заслужили бы их. Но события шли так быстро, что он видел необходимость отдать Венду вновь зачетные деньги, две тысячи франков.

Как бы мало ни знал арифметику поручик, но самая простая мозговая операция могла ему указать, что фальшивый разносчик еврей уносил с собой в поясе восемь тысяч франков, а, может быть, и более.

“Да! — сказал себе Венд, — обезоруженный противник пускается в путь один по местности, где мародеры опустошают страну. Презренный торгаш с виду, не имеющий ни очага, ни крыши, отдающийся приключениям в местности, где нет более ни полиции, ни закона, действительно богат. Этот разносчик, с длинными волосами, с запущенной бородой, в неряшливой одежде, удирает во французскую армию с хорошо наполненными карманами. Если бы ему позволили, он безнаказанно смеялся бы всю дорогу над проделками, произведенными им, так как совершенно убежден, что генералы, обманутые благодаря ему, в своей истинной гибели, даже не спросят его по дороге. И он сохранит мощну, которая представляла цену измены. И никогда, никогда его более не увидят“, — рассуждал Венд.

Как мог Венд, каким мы его знаем, хладнокровно переносить подобную перспективу? Конечно, он многим рисковал бы, выдавая хитрого шпиона французов, пока последний жил в Ульме. Но раз стена перейдена, город покинут, все изменяется. Кто же настолько сообразит, чтобы узнать в бездыханном трупе, найденном на дне оврага, псевдоинтенданта Калькнера и тихого поселянина Шульмейстера в ужасном отрепье маклака еврея.

А если бы он был не совсем убит и заговорил бы? Кто же придаст значение его словам, с той минуты, когда стало бы известно, что он агент неприятеля.

Венд тщательно взвесил все шансы. В продолжение двух дней он допустил своего обаятельного противника победить себя, купить и опутать узами. Теперь снова к нему вернулась его прежняя свобода ума, хитрость и ненависть во всей их полноте.

В то время, как Шульмейстер, прежде чем исчезнуть, наряжался в последний раз, благодаря помощи Венда, он решился исполнить свое намерение отправиться следом за шпионом, чтобы не ускользнули от него ни секреты, ни в особенности золото.

Когда Венд увидел издали, что Шульмейстер пустился в дорогу, то проверил путь, по которому он вынужден был идти. Венд был уверен, что явится гораздо раньше его.

К величайшему его удовольствию ночь предстояла темная. Но прежде чем покинуть город и перейти речку, чтобы поставить свою ловушку, он не удержался от легкого обхода, чтобы увидеть, не происходило ли у Доротеи что-нибудь новое.

Мы уже знаем, почему он нашел ее дом запертым, почему ему никто не откликнулся на стук в дверь и ставни.

Это увеличило еще более его гнев. Когда его лошадь пустилась скорой рысью, то ему казалось, что он едет служить родине и в то же время покончить свой личный спор и округлить свой кошелек.

У Шульмейстера в голове не было ни малейшей черной мысли. Напротив, ему все казалось в розовом свете. Он гордился, что счастливо исполнил самую трудную часть своей задачи. Даже сама опасность, которой он только что избежал, доказывала ему полный успех в его усилиях держать неприятеля в неведении относительно ошибок последнего. Ведь неожиданное появление французов на западе едва не погубило его. Донаувертский крестьянин засвидетельствовал присутствие с 5-го октября разведчиков великой армии на правом берегу Дуная. Но для этого надо, чтобы Наполеон следовал точь-в-точь плану, который он набросал в главных линиях перед шпионом в кабинете страсбургского префекта.

В течение десяти дней, которые Шульмейстер употребил, чтобы достичь Ульма, попасть в совет генералов, скрыться у Доротеи, переодеться крестьянином, после того, как был наряжен офицером, перенести трагический экзамен под кулаком Иелашиша и под присмотром Кленау, 150.000 человек, явившихся со всех концов света на зов гениальной главы, сконцентрировались, чтобы ринуться непреодолимой массой на добычу.

В общем Шульмейстер только что сыграл роль гончей собаки, которая держит дичь неподвижной в ее гнездах до прихода охотника. Только вместо яйца или куропатки он пригвоздил целую армию на одном и том же месте, очаровывая ее своими фокусами.

Теперь он мог себе позволить стойку: животное было схвачено. Схвачено?.. Да, но с условием, чтобы предупредить обо всем своего повелителя, с условием вручить ему свой отчет, если ему невозможно лично проникнуть в главную квартиру французов. Без этого Наполеон считал бы естественным предусмотреть все неожиданности, а следовательно, рассеять свои силы, чтобы отрезать дороги, чего никто из защитников Ульма не думает предпринимать. Может быть, не зная насколько его маневры обманули противника, император не обманулся бы сам и не потерял бы плоды его терпеливых усилий по незнанию.

По этому случаю Шульмейстер шел, усиленно шагая, чтобы скорее отнести хорошую новость своему начальнику. Но как ни был длинен путь, он пустился в него весело. Шульмейстер был уверен, что в конце его он найдет амнистию, о которой грезил, благодарность, поздравления, и кто знает, может быть, эта награда будет завиднее других, и даже в ней будет немного почести.

Таким образом, невидимая сила, которая представляла, может быть, волю Провидения, направляла в один и тот же уголок земли людей любящих и ненавидящих. Они сгорали желанием достичь друг друга и соединиться или сразиться: Шульмейстер и Берта, Венд и Доротей, Ганс, Мюрат, Родек и другие, уже не считая двух враждебных наций, как Франция и Германия, олицетворением которых служили самые лучшие их солдаты и наизнаменительшие полководцы.

Судьба свела их всех в один и тот же час в окрестностях маленькой деревни, до тех пор мало известной. Шпион, убегающий с театра своих опасных деяний, его собственная жена, безрассудно отправившаяся в поиски за ним, чтобы избежать посягательства волокиты, другая женщина, пылкая авантюристка, в поисках какого-нибудь акта преданности, который она исполнила бы, чтобы ему понравиться, бесчестный

предатель в погоне за своей добычей, ребенок, брошенный одиноким среди ночи, чтобы предупредить солдат о приближении неприятеля, ветеран многих вандейских войн, смиренный эмигрант, которого незаслуженное несчастье снова сделало патриотом, — все эти существа молодые и старые, добрые и злые, как бы подталкивались таинственным законом к одной точке света, где они встретятся в огненной буре.

Судьба империи была связана с их драмой. В конце концов она зависела от смелости и ума одиннадцатилетнего мальчика. Благодаря ему, Наполеон мог взять в плен армию или видеть ее ускользнувшей из ловушки, что расстроило бы все его гениальные соображения.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Для одиннадцатилетнего ребенка география ограничивалась кратким и простым объяснением: все то, чего он не знал, уже не было его родиной. Стратегия его имела также один принцип: предупреждать людей, которых любишь, о присутствии людей, которых ненавидишь, для того, чтобы последние были побеждены первыми.

Что же касается до того, которая из двух находящихся в споре наций виновата и которая права, это безразлично для юных душ. Некоторые костюмы солдат производят на них радостное впечатление, другие же при своем приближении наводят на них горестное настроение, вот вся их политика. Напрасно им объяснять; их воодушевляет один инстинкт, а еще не доказано, что он менее прозорлив, чем ум.

У Ганса была уже своя мысль, прежде чем его глаза встретили яростный взгляд Родека. Он сказал себе смутно, что внезапное появление императорских солдат в этой деревне, где его семья и он сам нашли себе приют, должна иметь угрожающую опасность для других солдат. Он знал, что последние расположились лагерем совсем близко оттуда на высотах.

Он слышал перед сном, как старый шуан сообщил его матери о приближении французов. Затем он мысленно снова увидел красивые батальоны в голубых мундирах и черных или белых штиблетах, снующие по улицам Страсбурга. В его памяти представлялись эти тяжелые или легкие эскадроны, грозные или проворные. Говорят, что они уже целые века ходят по свету, увлекая за собой доблесть своих предков.

И вот, при пробуждении, он находится среди войска совершенно противоположного. Их сила кажется печальной, их взгляд без гордости, их слава — удар кулака. Никто из них не улыбается, и ни одна песня не вылетела из их уст.

И он вспомнил также о своем недавнем сне! В ту же самую ночь он с настоящей тоской видел во сне "белые мундиры", приближающиеся к дому. Его детская логика подсказывала ему, что надо было бы предупредить об этом голубые мундиры.

Голубые мундиры были его друзья.

Он не знал, почему они его друзья. Но знает ли кто когда-нибудь, почему любит этих или тех? Почему же дети должны знать это лучше, чем взрослые?

Ах, если бы он мог или смел!.. Как бы он тотчас помчался и закричал тем, которые там спят: "К ружью!".

Как раз в это время Берта, разбитая от усталости, взяла на колени Лизбету. Непреодолимый сон, сомкнувший снова глаза девочке, одолел и мать. Ганс мог уйти из комнаты так, что его уход был бы ею не замечен. В ожидании он смотрел в дверную щель на беспорядок, совершавшийся в коридоре.

Он увидел, как его друг, освобожденный от уз, мало-помалу выпрямляется. Их глаза встретились и поняли друг друга.

Это был быстрый и немой обмен вопросов и ответов.

— Все находящиеся здесь, — говорили серые глаза, — враги твоей и моей родины. Знаешь ли ты это?

— Я это знаю, — отвечали голубые глаза.

— А знаешь ли ты, что недалеко от нас находятся солдаты с нашей родины? Они считают себя в безопасности и пришли, чтобы захватить неприятеля, а будут захвачены сами.

— Я это знаю.

— Однако, с некоторой ловкостью, можно их предупредить. Мне это сделать трудно, так как за мной наблюдают, смотрят. Но кто-нибудь легонький, тоненький может перешагнуть через этих сонных скотов, пройти между караулом и убежать в лес... Знаешь ли ты это?

— Я знаю... Я знаю!..

— Но если тебе удастся ускользнуть отсюда, как сделаешь ты, чтобы найти дорогу до реки?.. Пойми меня хорошенько: выйдя из дома, надо повернуть направо... Знаешь?

— Да, знаю.

— Дорогой малютка!.. Я буду гордиться тобой, и все, кто тебя любит, живые или мертвые, все будут тебя благословлять, если ты это сделаешь. Но я боюсь от тебя этого требовать, так как, увы, очень возможно, что тебя убьют если увидят... Знаешь ли ты это?

— Я это знаю.

— А все-таки ты это сделаешь?

Ответа не последовало. Полуоткрытая дверь закрылась, ребенок исчез.

Ганс достиг двери, не задев ни одной протянутой солдатской ноги, не толкнув ни одного ружья или ранца. Он даже не произвел легкого колебания воздуха, проходя мимо солдат, которое заставило бы их открыть глаза. Таким образом он прошел дорогу, вал, долину. Вскоре старик Родек, дрожащий от страха и энтузиазма, услышал раздавшийся вдали пронзительный свист, пронесшийся среди ночи, чтобы успокоить его. Он выучил Ганса этому свисту, служившему им обычным зовом.

Удивленные часовые повернули головы и стали шарить в темноте. Послышалось бряцанье оружия, затем все стихло. Ганс был уже далеко.

Отважный малютка! Каким уверенным и твердым шагом он шел по дороге. Поистине бывают часы, когда восхитительная самопроизвольность невинности имеет то же вдохновение, какое являет гений. Ни один разведчик армии не заметил бы лучше дороги, прежде чем избрать ее. Ни один ветеран, опытный в ночных экспедициях, не понял бы лучше смысла тысячи ничтожных звуков, которыми, однако, наши уши наполняются, лишь только мы остаемся ночью в деревне. Он тотчас же узнал трение хвороста, бегство животных и падение булыжника. Его ноги прикасались к траве, протянутые руки указывали ему на кустарники, а его глаза, устремленные на бледнеющий свет, безудержно вели его к цели.

Внезапно он остановился.

Вдруг он увидел появившийся огонь между им и рекой, между только что покинутой деревней и прибрежным холмом, к которому он стремился. Там были люди. Откуда они появились? Кто были они?

Сначала ребенок наклонился, чтобы его не увидели, затем совсем лег и поднял голову для наблюдения.

Ганс чувствовал на лице и руках сыроватую свежесть земли. Тогда он заметил перед собой легкое колебание почвы, как бы снизу вверх, по которому он мог быстро следовать, согнувшись вдвое, без необходимости ползти. Он пошел туда и укрылся там, чтобы продолжить свой путь и незаметно приблизиться к подозрительному лагерю.

Вскоре было невозможно сомневаться. Перед его глазами был австрийский аванпост кавалерийского отряда, стоявший караулом перед лагерем. Он был составлен из тех солдат, которых Ганс так хотел избежать. Они прикрывали со стороны реки своих спящих в деревне товарищей, остерегая реку, которую бедный Ганс хотел перейти.

Как быть?

Вокруг шаловливого огня, горящих сучьев, два офицера грелись разговаривая. Караул ходил перед ними взад и вперед. Другой, немного дальше, оставался недвижим на склоне, спускающемся к Дунаю, еще близкому к своему источнику и едва достигающему ста метров ширины.

Ганс видел все это, но ничего не слышал... Однако едва уловимый шепот достигал его ушей с порывом ветра.

Оба офицера разговаривали громко и совершенно свободно.

“О чем они говорят?” — подумал Ганс.

Ребенок прополз осторожно вдоль естественного откоса, разрезающего вкось долину как бы земляными ступенями. Время от времени он останавливался, чтобы послушать и чтобы измерить расстояние, которое он достиг, по ясности слышанных им слов. Его страстное желание знать, о чем говорят, было так сильно, что он не опасался приблизиться самое меньшее на двадцать шагов от неприятеля.

Тогда, встав коленями на траву и спрятав голову позади рыхлой глыбы, которая была, вероятно, взрыта кротом, он видел и слышал все как нельзя лучше.

Вот что он услышал:

— А вот так крепкая голова.

— Скорее пренекрасивое лицо.

— Дело в том, что он ужаснее своей природы. Где его взяли?

— Он пробовал удрать к реке, избегая наш

караул. Однако это необычная уловка подобных людей. Когда они видят войско, расположенное лагерем, они бегут к нему, чтобы покупать или продавать.

— Или одолжить.

— Нет. Во время войны они не занимаются более обыкновенным ростовщичеством; им достаточно обирать мертвых, чтобы существовать. Этот же удалялся так упорно от наших линий, что пришлось окликать и угрожать ему, а затем остановить. Нас предупредили именно о нем разведочная часть главной квартиры, советуя быть осторожными. Кажется, заметили французских кавалеристов на дороге к Аугсбургу, и все торговцы в округе стараются удрать к неприятелю, который платит лучше нас.

— Обыскали ли его хотя отчасти?

— Не думаю. Надо подождать полковника, который делает свой обход...

“О ком это говорили они?” — подумал Ганс. Он попробовал рассмотреть арестованного и тихонько приподнял голову настолько, что его лоб и глаза появились над краем его тайника. Но вдруг огонь неожиданно вспыхнул; собеседники сделали порывистое движение, и он тотчас спрятался в тень, задерживая дыхание.

Однако ему удалось увидеть пленника. Он сидел на земле около караульных. Это был человек с длинными волосами, громадной бородой и смешной шапкой на голове. Он с боязливым видом держал на коленях зажатую в руках четырехугольную коробочку и, казалось, исподтишка рассматривал всех окружающих его.

“Какая странная фигура!” — подумал Ганс.

Будто эхо на его мысль, он услышал, как один из двух молодых людей сказал громко:

— Нет, можно ли быть противнее!..

— Не очень-то приближайтесь к нему, Карл! — возразил другой голос. — Мои люди, захватившие уже многих из этой расы, говорят, будто бы нужно брать ванны на каждом пикете всякий раз, как один из них прикоснется до руки еврея.

— Ну, так я первый с большим удовольствием уйду, прежде чем будут его обыскивать.

— Невозможно, мой друг! Мы прикомандированы. Не беспокойтесь уходить! На войне, как на войне!

Человек, которого они так осмеивали, делал вид, что не слышал их. Теперь Ганс видел его прекрасно, найдя средство наблюдать за ним, не обнаруживая себя. Несчастный казался неподвижным, придавленным неизбежной покорностью Провидению. Лицо его было, как окаменелое, тело не двигалось ни одним мускулом, но его руки, что Ганс скоро заметил, не оставались бездеятельны.

Одна из них медленно поднялась с края коробейного ящика, который он до тех пор оберегал, и углубилась под одежду, как бы шаря в каком-то таинственном кармане на равной высоте с бедрами. С той же осторожностью она снова появилась, скользнула вдоль ноги и опустилась в сапог. Затем Гансу показалось, что она полуоткрыла ящик, поставленный на коленях.

В эту минуту караул, неизменно прохаживающийся взад и вперед, возвратился снова к узнику, и рука более не двигалась. Затем, когда солдат снова отвернулся, она поднялась до воротника шубы и, казалось, что-то спрятала под подкладкой. Затем снова сделалась неподвижна.

Впрочем, узник и не мог бы продолжать маневр без того, чтобы его не заметили. Шум голосов разнесся по долине. Отдаленные тени соединились, затем отделились. Большой фонарь, с которого сняли чехол, на минуту осветил новые лица. Кавалеристы сошли с лошадей. Все разговоры у бивуачного костра прекратились и солдаты, положившие под головы шинели, встали, вытянулись со всех сторон, поднимаясь с черной травы, как воскресшие мертвецы.

— Где же человек? — спросил тотчас же начальник, прибытие которого взволновало всех..

— Вот он, полковник.

— Пусть приблизится!

Толчок ногой заставил разносчика встать; удар ружейного приклада принудил его сделать несколько шагов вперед. Он побагровел, согнулся в талии и направился к огню, который прямо осветил его черты.

Ганс нашел его отвратительным, подлым, достойным самого грубого обращения, потому что он не возмущался против дурного обращения с ним.

— Я не спрашиваю вашего имени, — сказал пол-

ковник, — у подобных вам их сколько угодно, когда дело идет о лжи. Но откуда вы шли и куда, когда вас задержали?

Человек отвечал жалобным и методичным голосом.

— Я шел зарабатывать хлеб, как мог, увя, для себя и моей бедной семьи, продавая безделушки солдатам и господам офицерам.

— Каким солдатам?.. Каким офицерам?.. Почему вы направлялись в сторону, где, говорят, оказался неприятель?

— Как я мог знать, в какой именно стороне неприятель, господин полковник? Я шел вперед, не думая делать что-либо дурное.

— Вы шли из Ульма? Не правда ли?

— Ульм? В самом деле я проходил там... Это очень красивый город, где в данный момент масса солдат... Э-э! Я там устроил несколько делишек!

— Когда вы покинули его?

Человек, казалось, рылся в памяти, чтобы остановиться прежде, чем ответить указанием определенного числа, затерявшегося в его памяти.

Ганс начал понемногу убеждаться, что хорошо сделали бы, поколотив еще еврея и принудив его скорее припомнить.

Но затем послышался другой голос, и как только он достиг ушей узника, то последний, казалось, совершенно переменил манеры.

— Чтобы обязать этого чудака говорить, вам стоит только сорвать с него парик и фальшивую бороду, — произнес этот голос.

По данному начальником знаку два солдата приблизились к разносчику, чтобы исполнить, хотя, по видимому, против сердца, полученный приказ. Но они совсем не прикасались рукой к предмету их обращения.

Арестованный вдруг распрямылся, как будто бы к нему вернулись бодрость и смелость.

— А-а! — сказал он, — я узнал этот голос: г-н Венд здесь! Прекрасно, теперь я все понимаю! Я понимаю, почему мне пресекали возвращение, почему меня задержали и расспрашивают, тогда как оставляют целое население подозрительных торговцев свободно кишеть вокруг ваших солдат, отравлять их и обманывать вас? Не беспокойтесь, полковник,

допрашивать меня. Я скажу все. Я не еврей, не разносчик и не называюсь ни Авраамом, ни Иаковым, ни Симеоном. Я немецкий подданный, христианского вероисповедания и нахожусь здесь в силу приказаний, данных мне начальником императорской армии. Мое имя Карл Шульмейстер, и я служу генералу Маку.

В то же время он сбросил фальшивую бороду; парик с длинными седыми прядями отлетел вместе с меховой шапкой. Ребенок, сидевший на корточках в долине, в нескольких шагах от происходившего, увидел появившееся, освещенное резким огнем, очень бледное, энергичное и мужественное лицо отца, окруженное, как ореолом, рыжими волосами.

По счастью, никто не слышал легкого крика, который его неловкие уста не могли удержать. И слух, и зрение были направлены на загадочного героя разыгрывающейся драмы.

— Этот человек еще врет, полковник, — возразил Венд, решившись, наконец, выйти из тени, где он прятался. — Если вы прикажете его обыскать, то увидите, что с ним находится значительная сумма денег, доходящая до нескольких тысяч флоринов французского серебра. Вы отыщете на нем также бумаги, которые не оставляют никакого сомнения относительно миссии, данной ему Бонапартом.

— Эх! Говорите же откровеннее! — перебил Шульмейстер. — Все-то вы добиваетесь моего пояса, не правда ли, господин Венд? Вы находите, что я недостаточно вас вознаградил за труд и мелкие услуги, оказанные мне? Будь по-вашему! Я не хочу торговаться! Бесплезно приказывать, чтобы меня обыскивали, вот десять тысяч франков, оставшихся у меня.

И из полураспахнувшейся шубы, через жилет и рубашку, гневно расстегнутые, рука шпиона сорвала пояс, который упал от тяжести золотых свертков к ногам полковника.

— Г-н Венд забыл еще о моем разносчищем ящике, — продолжал Шульмейстер. — Однако, он сам мне покупал его и уплачивал. Да! Он мне стоил сто флоринов, более двух свертков, подобных тем, которые там, то есть двух тысяч франков, подаренных г-ну Венду за комиссию. Скажите, господин офицер, разве из этого не видно, что я честный человек,

незаинтересованный, а этот презренный — с продажной совестью.

В тоне узника было столько насмешки, что офицеры, свидетели этой сцены, сделали невольный жест и отодвинулись от Венда. Конечно, они понимали, что перед ними был неприятель, но они также смутно чувствовали, что возле них был изменник.

Однако Венд не рискнул последней партией, чтобы отступить в решительный момент.

— Все это, — возразил он, — слова. Это он втирает очки в глаза. Я исполнял мой долг, притворяясь, что вошел в сделку, иначе нельзя было сорвать маску со шпиона. Держу пари, что в этом коробе разносчика не находится более одной из маленьких золотых бонбоньерок.

— Из серебряных позолоченных, пожалуйста! — воскликнул Шульмейстер. — Вы меня обманули даже качеством проданного товара, сударь. Когда я захочу от него отделаться, то мне дадут пустячную цену.

— У вас нет ее больше?

— Нет.

— Кому же вы отдали эту золоченую коробочку? — внезапно спросил полковник. — Там находились, может быть, полезные для вас показания, если бы вы могли с точностью определить.

— Он не мог никому ее продать, полковник. Он еще раз врет. Он покинул город с наступлением ночи и нигде не останавливался дорогой. Я в этом уверен, так как следовал за ним.

— Ну, хорошо, пусть обыщут меня, если хотите! Пусть обшарят! У меня больше ее нет.

— Мы увидим это.

На этот раз надо было покориться. Шульмейстер попробовал еще раз схитрить. Он поспешно скинул шубу, упавшую на землю, и подставил карманы панталон и куртки для исследования солдат. Но Венд, знавший все хитрости полицейского ремесла, не колеблясь, бросился на одежду, с видимым отвращением снятую Шульмейстером. Он был уверен там найти себе добычу.

— Что я говорил вам? — вскричал он через мгновение. — Смотрите, полковник, бонбоньерка спрятана в воротник. Я ощущаю ее! Где же, черт возьми, он просунул ее! Ах, вот щель...

Пальцы предателя скользнули между подкладкой и материей, как только что проделал Шульмейстер.

— А вот и она! — воскликнул Венд, поднося к глазам полковника скромную маленькую позолоченную коробочку, за которую Шульмейстер охотно отдал бы свою жизнь.

Все пропало! Все кончено для него. Ничтожная безделушка, попавшая в грубые руки, выдаст его секрет. Не только его роль в Ульме обнаружится, но его надежды будут погублены, его грезы о счастье и чести будут разрушены. Кто знает, может быть, исход целого похода и судьба империи переменятся, и все из-за того, что несколько строчек его письма, спря-
танных на дне ничтожной металлической коробочки, попали им в руки.

Как тяжело было сознавать после стольких потра-
ченных, в продолжение двух недель, гения, ловкости и смелости, что так глупо попался в западню, когда партия казалась уже выигранной!

— Но в ней ничего нет! — сказал полковник после того, как открыл бонбоньерку.

Шульмейстер поднял голову, как человек, обремененный несчастьем и почувствовавший внезапно возрождение неожиданной и невероятной надежды.

— А во втором дне? — спокойно спросил Венд.

— А! Есть второе дно? Вы думаете?

— Смотрите полковник!

Венд надавил пружинку. Маленький клочок бумаги, покрытый заметками, упал в руки начальника и Шульмейстер услышал шум разворачиваемой бумаги. Все, что он написал Наполеону для освещения настоящего положения дел относительно мнения начальников австрийской армии, будет тотчас известно одному из тех, которых он одурачил.

Венд торжествовал.

Принесли фонарь. Полковник тихо прочитал документ-обвинитель. Шульмейстер, которого двое сильных солдат держали за плечи и за кисти рук, смотрел прямо в глаза офицерам, стоявшим группой перед ним. На его лице в эту трагическую минуту снова появилось воинственное и улыбающееся выражение, присущее ему. Никакие последовательные гримировки и никакие притворства не могли изгладить их совсем. К чему скрытничать теперь? К чему прятать человека, каким он был бы на самом деле?

Гордость за совершенство произведенного им дела сверкала у него в глазах. Он знал прекрасно, что вскоре с полдюжины свинцовых пуль разорвут ему грудь. Но, благодаря ему, солдаты, которые убьют его, будут затем побеждены французами, стоявшими совсем близко. Может быть, в один прекрасный день узнают и скажут громко, что окончательной победой были обязаны его преданности настолько же, насколько гению его повелителя.

Молодые офицеры, рассматривающие пытливо Шульмейстера, были поражены его спокойствием. Когда полковник, покончив чтение, поднял в свою очередь глаза, то также понял, какой храбрый и страшный противник попал ему в руки.

Но внезапно черты лица Шульмейстера исказились от ужаса, и все подумали, что страх за последнюю минуту, наконец, восторжествовал над силой его души.

Но причина была иная. Он увидел позади всех голов, повернутых в его сторону, позади полковника, Венда и солдат бедную, маленькую, совершенно бледную головку ребенка.

Ганс теперь забыл спрятаться и стоял во весь рост на земле, где так долго скрывался. Он смотрел, слушал и восхищался. Но в то же время он дрожал. Да, его бедное сердце разделялось между страхом и гордостью.

Как, — раздумывал он, — это его покровитель, всегда такой нежный и простой, с которым он жил? Это тот шутливый добряк, который “представлял солдата”, чтобы развеселить их — Лизбету и его. Он никогда не был так счастлив, как гуляя с ними рядом в полях. Ганс в это время открыл, что его приемный отец способен бороться с целой армией один. Правда, что этот герой сделался узником, но он имел вид презирающего победившую силу. Что с ним сделают? Увы, те, которые его держат, удовольствуются ли, после того как узнали, кто он, пинками и ударами прикладов. Вдруг они станут его мучить и убьют? “Бедный папа Карл!”

Ребенок позабыл обо всем остальном: о цели его путешествия, о своей матери, о Родеке и о доме, переполненном солдатами, откуда он исчез. Он видел перед собой только эти багровые черты лица, окруженные пламенем красновато-рыжих волос, и торс

атлета в разорванном платье, которого держали два солдата, как два палача.

Шульмейстер, однако, думал, что он игрушка воображения. Как возможно, чтобы перед ним был его маленький мальчик?

Увы! Его любимцы были далеко от него! Его последний час, вероятно, близок, если он дошел до того, что воображает, будто узнал черты одного из них с такой обманчивой ясностью, среди солдатских силуэтов. Всем известно, что умирающие видят иногда невидимое, так значит, он умер, потому что перед ним явился его отсутствующий сын.

Снова послышался шепот совсем близко от узника. Но его волнение было настолько велико, что он даже не расслышал нового вопроса. Он силился слушать. Полковник повторил вопрос, оставшийся без ответа.

— Вы не хотите мне сказать, сами ли вы написали это вашей рукой?

— Что это, полковник? Что такое я написал?

— Эту записку, спрятанную в коробочке, найденной нами в воротах вашей шубы и которую, как вы утверждали, вы продали.

Шульмейстер сделал неопределенный жест человека, который не знает, на что намекают.

— Эта заметка написана по-французски. Свободно ли вы говорите по-французски? Умеете ли вы писать?

— Да, полковник. Я солгу, если скажу наоборот. Я способен начертать несколько фраз более или менее правильно на этом языке, но...

— Но?

Прежде чем кончить ответ, Шульмейстер снова посмотрел в сторону, где он думал увидеть личико своего сына, искаженное страхом. Оно по-прежнему было там перед ним страдальчески внимательное, и можно было бы сказать, что им руководил сам разум.

“Так это была не иллюзия, не фантом?” — подумал Шульмейстер. Это был настоящий его ребенок, в нескольких шагах от него. Как это могло случиться?... А Берта?.. Лизбета?.. Где были они?

Несчастный человек оставался неподвижен скорее вследствие инстинктивного и присущего его профессии притворства, чем силы воли. В его глазах был какой-то блуждающий свет.

— Полно! Кончим ли мы? — снова заговорил полковник. — Вы уверяете, не правда ли, что вы умеете читать и писать по-французски?

— Да, полковник. Но я так дурно знаю этот язык, что никак не мог успеть в преподавании его моим детям. Так, например, у меня есть сын и дочь, и что же они знают? — только немецкий язык.

Услышав это лживое уверение, Ганс почувствовал, что кровь бросилась ему в щеки. Он сделал легкое движение и готов был закричать свой протест. “Это верно он!” — подумал про себя отец.

И ребенок замолчал, чувствуя на себе нежный взгляд узника.

— Если бы я, по крайней мере, знал, в чем меня обвиняют, — громко возразил Шульмейстер, — я мог бы отвечать с уверенностью, но я не знаю, что написано на бумаге.

— А! Вы не знаете! — отвечал полковник. — Так хорошо, я скажу вам это сейчас.

Честный офицер хорошо понимал, что шпион старался выиграть время, так как не было ни малейшего сомнения в виновности Шульмейстера. Он хотел выяснить точно роль, какую мог играть Венд в этом деле. Так как рапорт, который он только что пробежал глазами, был на непонятном для солдат языке, то он не видел никакой опасности продолжать исследование перед ними.

Он принялся громко разбирать записку. Это было просто объявить обвиняемому смертный приговор.

Когда дошли до последнего параграфа, то Шульмейстер, ссылаясь на то, что он плохо усвоил смысл, попросил прочитать ему документ очень медленно.

Тогда полковник прочитал последние фразы, отделяя каждое слово.

“Численность наличного состава войска 70.000 человек. Часть его может ускользнуть через Тироль с Ислашишем или к Богемии с эрцгерцогом; остальные не сдвинутся. Город укреплен, но, если удержать Эльсинген, он взят“.

До конца чтения Шульмейстер оставался с глазами, устремленными в глаза мальчика, как бы умоляя слушать внимательно слова, читаемые перед ним чуть не по складам, и запечатлеть их в памяти, чтобы повторить, когда понадобится.

“Ты хорошо слышишь, что этот человек читает? —

казалось, говорил он мальчику. — Если ты любишь меня, не забывай ни одного слова“.

Затем, когда все было кончено, он повернул голову и сделал вид, что не смотрит более в ту сторону.

Тогда ребенок медленно сошел с откоса, на котором стоял.

Ганс тотчас же понял, без труда, молчаливый приказ слушаться. Он повиновался. Под ясную диктовку, сделанную для него, его память послушно записала слово за словом.

Что же ему затем приказал отец? Удержать их в памяти? Он удержит их, это было не трудно! — размышлял Ганс.

Чтобы убедиться в этом, есть простое средство, и он принялся чуть слышно повторять этот странный урок.

Кому же он должен позже рассказать его? Он еще ничего не знал, но что ему до этого? Он прервал свою работу и сказал себе: “Мой отец Карл признал, что я не знаю французского языка, и однако то, что я учу на память, на этом именно языке? Это, должно быть, потому, что не надо обнаруживать способность понимать по-французски, если меня захватят здесь. Кому же я могу... и должен пересказать его?“

И инстинктивная логика здравого смысла тотчас ответила:

“Необходимо, чтобы ты попробовал сейчас отправиться в поиски французов. Тебя посылает отец туда, куда тебя послал добрый Родек“.

Затем урок еще раз повторился с начала до конца. Два или три раза произошло колебание, над которым юная память Ганса восторжествовала совершенно. Когда весь текст, заключенный в золотой коробочке, был таким образом отпечатан в самой глубине его памяти, мужественный мальчик снова продолжал путь к реке.

Как только Шульмейстер убедился, бросив тайно взгляд, что бледная головка мальчика исчезла в темноте ночи, новое спокойствие овладело всем его существом. Его совесть была чиста, так как он сделал все, что мог. Своего приемного сына, даже его, он посвятил родине. “Теперь что будет, то будет, — сказал он себе. — Однако мне досадно расстаться с жизнью, не сведя своих счетов“.

— Послушайте, полковник, — сказал он громко, — я устал бороться; я предпочитаю вам сказать все. Да, это я набросал справки, содержащиеся в этом рапорте. Я знаю его. Но подумайте, что одному мне было невозможно их собрать! Это поручик Венд снабдил меня справками и помогал мне достать самые секретные указания. Я обещал ему за это десять тысяч франков; он же получил в счет семь тысяч красивыми золотыми наполеодорами. То, что я говорю, легко проверить. Стоит только выставить на вид бесполезные траты, сделанные этим человеком в продолжение сорока восьми часов за картежным столом в игорном доме или в другом месте...

— Почему вы обвиняете поручика Венда вместо того, чтобы защищаться? — живо спросил полковник. — Вы знаете, что это вас не спасет. Впрочем, весьма очевидно, что вы хотите отомстить человеку, только что снявшему с вас маску.

— Почему я не защищаю себя, а обвиняю его? Это очень просто, — возразил Шульмейстер. — Потому что таким поступком, напротив, надо гордиться, а не защищаться от него. Я не из ваших. Я был свободен вас побить и обмануть. Я знал, что рискую жизнью в случае неудачи, вот и все! Хорошо же, так как я не успел в своем предприятии, убейте меня: мы будем квиты. Но тот, другой, которому я заплатил, чтобы удерживать ваше войско, он продал вас. Слышите ли, полковник: продал, продал, продал. Если он выдал меня сегодня ночью, то потому только, что не надеялся более ничего от меня вытянуть. А, может быть, он хотел опять попробовать все мои деньги присвоить себе, в то время, когда меня стали обыскивать... Затем, кто знает, он думал, без сомнения, сгладить свое преступление, донося на своего сообщника... Так нет же, подобные преступления не заслуживают извинения, и такой сообщник, как я, не пойдет в могилу один. Я потащу г-на Венда за воротник с собой в могилу! Не имейте, полковник, никакого сожаления как к одному, так и к другому. Полноте, вы можете мне поверить. В моем положении не лгут. Раздавите ту гадину в то же время, когда будете расстреливать шпиона!...

Резкая речь Шульмейстера взволновала полковника, и, порывисто обернувшись к Венду, он спросил его:

— Что вы можете на это ответить, поручик?... Но где же он?

Венд исчез.

II

Прежде всего презренный негодяй придумывал средство ловко подтибрить пояс, наполненный золотом и брошенный Шульмейстером перед своими судьями. Но повелительный жест полковника, которого нельзя было не понять, и которому не повиноваться было безумием, остановил его уже начавшееся инстинктивное движение поднять сокровище.

Десять тысяч франков так и остались лежать на земле до нового приказания, и очень возможно, что по окончании допроса эту сумму под хорошим надзором, с коротким докладом о совершении казни над приговоренным отошлют в главный штаб.

С этой минуты Венд, не имея возможности удовлетворить свою алчность, захотел, по крайней мере, упиться местью. Он принялся внимательно наблюдать за Шульмейстером. Его ученая и сложная игра в этом поединке шпионства, в котором он слыл за профессора, возбуждала его невольное восхищение, а также отчасти беспокойство. Встав в полутьму, Венд анализировал малейшие движения узника, чтобы предупредить его маневры и предотвратить их.

Как и все присутствующие, он был поражен внезапным волнением, выразившимся на лице Шульмейстера с тех пор, как его глаза устремились на одну определенную точку. Но этих волнений он не приписал внезапному размышлению, представившемуся в уме его жертвы. Он даже не отнес этого к психическому явлению, однако очень понятного у человека, предчувствующего так близко смерть. Он прозаически искал, какое открытие, самое материальное, могло произвести эту перемену.

Посредством исследования окрестностей, изучения малейшей игры света, для чего он наклонялся, чтобы ориентировать свой взгляд, Венд кончил тем, что увидел новое лицо. Это было личико ребенка, глаза которого оставались упорно направлены также на Шульмейстера.

Его полицейский инстинкт тотчас восстановил пря-

мую связь между причиной и действием, между открытым чтением громким голосом обвинителя-документа, потребованным тем же самым человеком, который его написал, и необыкновенным вниманием мальчика, появление которого в этот час и в этом месте было так странно подозрительно.

“Откуда явился этот мальчик? Кто он такой?” — задавал себе вопрос Венд.

Это очень важно знать!.. Кто бы он ни был, надо воспрепятствовать, чтобы он не увидел того, что не должен видеть ни один посторонний.

Если было слишком поздно, чтобы помешать ему смотреть и слушать, то простая осторожность указывала, что надо наложить руку на этого стеснительного свидетеля.

Венд молча маневрировал, чтобы мало-помалу удалиться из центра сцены. Совершенно новое недоверие, которое он внушал теперь офицерам, своим соседям, делало его объектом ненависти, и молодые люди радовались, что он более не с ними. Они воздержались следовать за ним и указывать на его отсутствие. Он ускользнул незаметно позади солдат, собравшихся вокруг своих начальников, внимание которых было поглощено трогательной драмой, разыгрывающейся в их присутствии; затем, раз выйдя из круга, освещенного бивуачным огнем, он поспешил по направлению к деревне. После длинного обхода Венд занял пост таким образом, что отступление ребенка было отрезано. Он видел теперь, как нежный силуэт мальчика выделился на фоне бивуачного освещения.

Несколько минут спустя, именно в тот момент, когда полковник удивился, не видя перед собой Венда, пронзительный крик, крик ужаса и бессильного гнева, рассек воздух. Черты лица Шульмейстера приняли земляной оттенок. Это был голос Ганса, он был в этом уверен. Все бросились. В недалеком расстоянии был слышен шум борьбы: пинки, жалобы, гневный пронзительный зов, который был прекращен грубым кулаком, приложенным ко рту... Вскоре показался Венд, шествовавший впереди двух солдат, которые держали, несмотря на их возмущение, одиннадцатилетнего пленника.

— Что там такое? — спросил полковник. — Зачем ведут к нам этого мльчишку? Этим-то пре-

следованием вы и занимались, поручик, между тем как я звал вас!

— Простите, полковник, — возразил Венд, — но я думаю, что поймал хорошую добычу. Я уверен, что не обманулся, заметив взгляды и осмысленные знаки между узником и этим ребенком, близкое присутствие которого здесь никем не было заподозрено. Я не сомневался, что эти два существа знают друг друга. В то время, как вы читали тому записку, найденную в его одежде, этот слушал так внимательно, что я решил, не осторожнее ли будет его привести к вам.

— Так мы теперь воюем с детьми? И вы полагаете, что я буду задавать вопросы этому ребенку?

— Конечно, нет, полковник! — возразил Венд улыбаясь. — А что, если этот “ребенок” способен повторить неприятелю содержание захваченного письма, которое вы разобрали в его присутствии? — стоило ли труда ставить другого в невозможность вредить нам?

— Другими словами, я не прав, что громко читал это письмо, не правда ли, так как он мог услышать?

— О, полковник, можете ли вы думать, что я намерен?..

— Я ничего не думаю, сударь! Я подтверждаю, что вы исполняете ваше ремесло добросовестно, вот и все!.. Пусть будет так. Я исполню свое. Приблизься, малютка!

Ганс, еще дрожавший от нервного гнева, который заставил его только что отбиваться от рук солдат, приблизился, однако, без колебания к начальнику. Густой бас полковника зазвучал в его ушах с неожиданной сердечностью. Он даже не взглянул, проходя мимо пламени, на человека, которого двое часовых держали за плечи и кисти рук. А между тем мальчику очень хотелось броситься на шею к узнику!.. Но, нет, его большие глаза были устремлены на полковника, говорившего с ним. Он не видел и не хотел видеть никого, кроме его.

— Что ты делал в поле среди ночи? — спросил полковник.

— Я заблудился. Мои родители в деревне... там, я не знаю ее названия. Мы туда приехали вчера вечером. Когда мы легли спать, то пришли солдаты

и поместились во всех углах. Я хотел посмотреть, как они устраивают лагерь... И затем заблудился.

— Тогда?

— Тогда я увидел вдали огонь, вот там. Я приблизился, чтобы спросить, как мне пройти... Но, когда я был совсем близко, то понял, что меня выгонят, если я останусь, так как в это время дурно поступали с одним человеком. Я снова ушел, и в то время меня остановили.

— Как зовут тебя?

— Меня зовут Ганс.

— У тебя только одно имя?

— Я думаю, что да.

— Как ты думаешь! Как зовут твоего отца?

— Мой отец умер, сударь!

Это было сказано так серьезно и в то же время таким простым тоном, что какое-то уважение проникло в душу солдат.

Что касается до Шульмейстера, он ничего не говорил, ни на что не смотрел и ничего больше не знал. Он жил только для того, чтобы слушать эти детские и умные слова, ударение которых часто заставляло биться его сердце.

Венд не переставал наблюдать за ним. Он пробовал подметить со стороны Шульмейстера какой-нибудь жест и взгляд, который можно было бы принять за условный сигнал или совет, относящийся к ребенку. Но он не мог доказать, что заметил хотя бы одно малейшее, подозрительное движение.

— Послушай, малютка, я очень хотел бы верить, что ты там рассказываешь, но видишь ли, ты должен сказать мне всю правду, как честный мальчик, каким ты мне показался...

— Да, сударь.

— Откуда ты приехал с твоими родителями, когда явился в эту страну?

— Мы приехали из Оффенбурга.

— Это на опушке Черного Леса, в стороне Рейна... следовательно не очень далеко от границы. Вы должны часто видеть там французов?

Ганс чувствовал в этот момент, как легкое розовое облако покрыло ему щеки. Однако его ясные глаза, устремленные на радушное лицо полковника, не опустились. Едва заметное миганье век выдавало его волнение.

— Может быть, и видят, когда их знают, — ответил он.

— Ты не знаешь их?

— Может быть, да, но я этого наверное не знаю.

— Когда говорят в твоём присутствии по-французски, понимаешь ли ты?

— Как это, сударь, когда говорят по-французски?

— Ну, так, вот как! Слушай хорошенько, что я буду говорить...

Все глаза, так сказать, остановились на глазах ребенка, чтобы уловить малейший проблеск понимания. Венд перестал смотреть на Шульмейстера. Шульмейстер сам устремил свой взгляд на маленькую белокурую головку.

Полковник очень медленно произнес по-французски следующие слова:

— Ты мне сказал, что у тебя нет более отца? Твоя мать тоже умерла, не правда ли?

По счастью, Ганс приготовился к вопросу, заданному, чтобы его смутить. Правда, бедный ребенок не ожидал, что он будет столь жестоким; но в его жизни уже было столько разной печали, и у него достаточно отваги, чтобы сдержать свое волнение. Затем он чувствовал около себя своего второго отца, которого он любил, этого покровителя, нуждающегося теперь в покровительстве. Он взглянул в лицо полковника и ответил по-немецки:

— Это очень нежные слова, но я не знаю, что они выражают.

Едва сдерживаемый шепот пробежал по рядам солдат. Полковник, дурно скрывая под грубой манерой свои угрызения за испытания ребенка, пожал плечами, оборачиваясь к своим поручикам:

— Я спрашиваю вас, способен ли ребенок, который в состоянии понимать то, что я сказал, на подобное притворство!

Но Венд не был с этим согласен, потому что он уловил на лице Шульмейстера радушное отражение глубокой, с трудом удерживаемой радости.

Он медленно приблизился к своему начальнику и Шульмейстер понял, что мучение еще не окончилось.

— Позвольте мне сделать еще одно испытание, полковник? — спросил совсем тихо доносчик.

— Как! То, которое мы только что сделали, вам недостаточно, сударь?.. Что же вам нужно более? Да, полно вам! Я не допускаю ни малейшего сомнения, но делайте, что хотите.

Венд, ничего не говоря, вмешался в группу офицеров, между тем как полковник с жестом плохо скрываемого сострадания, казалось, более не интересовался опытом.

Прошло несколько секунд. Затем поручик подошел прямо к ребенку, как будто ему было поручено говорить после общего совещания, и сказал ему самым естественным тоном, но по-французски:

— Хорошо! Иди, малютка, ты можешь отправляться!

Ганс посмотрел на него, подняв ресницы с вопрошительным видом, и не двинулся с места.

— Надо быть бессердечным, чтобы упорствовать! — произнес сквозь зубы полковник.

Но он решил не стеснять своего подчиненного и довольствовался тем, что следил глазами за происходившим.

Венд положил руку на плечо Ганса, который сделал быстрое движение, чтобы отодвинуться от него.

— Ты сердисься на меня? — спросил он нежным голосом и все еще по-французски.

Ответа не последовало.

Тогда по жесту капитана два солдата, державшие Шульмейстера, заставили его отодвинуться на несколько шагов и спрятаться за их товарищей. Ганс стоял, обернувшись спиной, и не заметил этой проделки. Он смотрел на полковника, молча присутствовавшего при этой сцене, и прочитал в разъяренных глазах полковника, что ему готовят еще какую-то горестную неожиданность.

Но вдруг его ум необыкновенно прояснился, и он все понял. Единственный человек на свете, которого он должен защищать, сказал себе мальчик, это его приемный отец, и надо прикинуться, что его не знаешь. Нет другого врага на свете как Венд, и самое важное — не доверять тому, что этот человек говорит или делает. Остального не существовало. Только любящие и отважные души способны на такое самоотвержение. По счастью, Ганс только что выучил хорошо свой урок; он знал его, был отважен и готов на все.

Внезапно его заставили повернуться. Перед его глазами расстилалась темная долина. Справа несколько человек сидели на траве; другие стоя смотрели на него. Часовые стояли неподвижно на карауле. Слева остатки догорающего пламени прыгали на красных головешках.

Место, занимаемое Шульмейстером, было пусто.

Ганс не волнуясь заметил эту новую обстановку и спросил по-немецки:

— Где же человек, который только что был?

— Его убили, — ответил Венд на том же языке, так как он отказался на время раскрыть, правда ли ребенок притворяется, что не знает французского языка.

Ему важнее было знать, что этот одиннадцатилетний мальчик знал шпиона.

У Ганса замерло сердце, но ни одна слеза не показалась в его глазах, ни одно восклицание не соскользнуло с его губ. Это мучительное волнение задержало несколько его невинное замечание, которое, наконец, ему удалось высказать твердым голосом:

— Странно! Я думал, что солдаты убивают только выстрелом из ружья! Я ничего не слышал.

Гнев полковника вспыхнул.

— Довольно! — сказал он тоном, не допускающим возражения. — Я не хочу, чтобы пытали этого мальчика. Поручик, прикажите, пожалуйста, его освободить. И один из вас, господа, пусть укажет надежного человека, знающего хорошо страну, чтобы показать ему дорогу.

— В добрый час, — ответил мальчик, повернув с милой улыбкой голову к начальнику... Я предпочитаю, чтобы со мной говорили так! По крайней мере, я понимаю!..

И, заметив во взгляде полковника смутный влажный луч, в котором Ганс узнал доброту, он осмелился сказать:

— Это неправда, сударь, что убили бедного человека, который был там?

— Нет, нет, малютка! Это неправда, — ответил старейший воин с благосклонным ворчанием. — Иди скорее спать, иди!..

И как эхо, отвечающее на слова полковника, дрожащий голос закричал позади плотно сжатой группы офицеров:

— Какой негодяй этот Венд!

Божественная радость проникла в сердце одиннадцатилетнего героя при этих словах, и если бы его черты в это время не были в тени, то бесчестный палач увидел в глубине глаз выступившие святые слезы.

Венда было труднее уверить, чем его начальника. Он не изменил своего инстинктивного убеждения, хотя не мог окончательно установить, и совершенно доказать, даже в своих собственных глазах, что хитрый мальчик одурачил всех. Все, включая его отважную позу, заставляло призадуматься. Как бы ни был храбр и не по летам развит ребенок, как допустить в самом деле, чтобы среди ночи он мог видеть не боясь грубую, суровую процедуру военного суда, судящего без апелляции при бивуачном огне? Чтобы не взволноваться от такой обстановки, надо быть, так сказать, дрессированным для самых худших приключений и в совершенстве знать роль, которую приходится играть в них. Надо, чтобы он уже видел подобные спектакли и часто был замечан в такие опасности. И Венд вывел заключение, что верит больше, чем когда-либо, в соглашение, импровизированное или заранее устроенное между двумя существами, которых он держал в своих руках.

Но приказ полковника не терпел никаких сопротивлений, ни даже отсрочки, вследствие чего Ганса вручили солдату проводить до ближайшей тропинки, ведущей в Вертинген. Венд видел его уходящим и не мог ничего придумать, чтобы удержать.

В тот момент, когда ребенок и проводник удалялись, тот же голос закричал:

— Прощай, малютка! Я не знаю тебя, но у тебя честное сердце!

В темноте послышался глухой шум, как бы кто-то хотел насильем заставить человека замолчать. Затем было решено отослать Шульмейстера под хорошей стражей в маленькую деревню, соседнюю с Гогенрейхеном, где находилось назначенное для него помещение. Там он должен ожидать военной казни.

— Разве его не расстреляют сейчас? — осмелился спросить Венд, взбешенный тем, что его месть запоздает.

— Это дело вас не касается более, сударь! — резко ответил ему полковник. — Я понимаю, что вы торопитесь присутствовать при смерти человека, который знает кое-что неприятное и в особенности стеснительное, но я один здесь командую. Прежде чем убить этого шпиона, я хотел бы знать, нет ли у него сообщника, постарше мальчугана, который только что был здесь, и поважнее.

Венд сделал притворный жест...

— Впрочем, — окончил речь полковник, не допуская себя обезоружить этой пантомимой, — мне кажется, что вы покончили здесь ваше дело. Удалитесь с пикета, где должны находиться только офицеры, назначенные мной для почетного караула. Добрый вечер, сударь!

Поручик удалился, не удостоившись ни одного поклона со стороны молодых офицеров. Вскоре услышали, как его лошадь спешила рысью к деревне.

Лишь только он уехал, полковник сделал порывистое движение досады, заметив, в какую сторону он удалился.

Выпущенный на свободу, ребенок отправился по той же дороге, только несколькими минутами ранее своего обвинителя и палача.

III

Мы оставили Доротее уезжающею из Вертингена в тележке Родека, после того, как она подверглась оскорбительным любезностям юного офицера, товарища Венда. Ей пришлось ехать недолго. Надорванная длинными переездами, прерываемыми редкими отдыхами, в продолжение целой недели, кобыла начала спотыкаться и фыркать на каждом шагу. Затем она остановилась и отказалась двинуться вперед, защищаясь изо всех сил. Жестокие удары грубой руки солдата заставили ее наконец побежать с безумной быстротой, исчерпывая свои последние силы в последней роковой попытке. Но вдруг она повалилась и осталась лежать недвижима между двумя сломанными оглоблями.

Доротее проворно выскочила из тележки. Она безо всякого сожаления рассталась с импровизированным экипажем и случайным кучером, одним словом, со

тем тем, что ее обязывало ненавистной протекцией людям, врагом которых она чувствовала себя. Что стоило ей снова пуститься одной в привычный путь пешком? Ее спутник силился поднять животное, привести в порядок экипаж и довести свою миссию до конца. Он умолял ее обождать, но она ответила лишь громким истерическим смехом и продолжала свой путь. Она повернула от Вертингена, переполненного немцами, засевшими в засаде. Удаляясь от этих долин, спускающихся мягкими, волнистыми линиями к Дунаю, она оставляла позади себя лесистые холмы, обрисовывающие горизонт с северной стороны. Здесь чужеземные солдаты ожидали день после длинных переходов, чтобы произвести атаку и обнаружить, наконец, план их начальника. Но все это было ей безразлично.

Она спешила в город, где еще находился, как она думала, загадочный сообщник их нападения. Увы, она ошиблась. Этот сообщник прошел совсем близко от нее, о чем она даже не подозревала. Он шел мимо деревни, где собрались любимые им существа. Шулмейстеру удалось избежать расставленных по квартирам отрядов, и, следуя по уклону полей, он приближался к дружеским высотам, где был конец его пути, и оканчивалась его миссия, как бы мало она ни была достигнута. Но позади его и вокруг его другие люди шли тоже по одинаковому направлению. Казалось, что в эту ночь по какому-то секретному предписанию обычно пустынные дороги заселились людьми. Предупрежденные об опасности офицеры спешили присоединиться к своим войскам. Наполовину проснувшиеся отряды солдат направлялись в беспорядке к назначенному месту. Эстафеты сновали во все стороны, что есть силы.

Один из кавалеристов проехал так близко от Доротеи, что она почувствовала, как ветер от его быстрой езды ударил ее по щекам. Молодая женщина остановилась. Ее сердце сначала сжалось от какого-то мучительного предчувствия, затем ее глаза были поражены сходством. Она увидела на серой лошади, цвет шерсти которой выделялся в темноте знакомым светлым пятном, характерный силуэт. Каждая его линия была врезана в ее памяти. Конечно, ни одна черта лица не определилась в молниеносной быстроте его появления. Но разве необходимо видеть лицо, когда

такая-то поза и примеченные при его проезде форма прически, подробности в выправке, в одевании и в сбруе, все указывает на неизгладимую в памяти личность, столько раз виденную.

— Это Венд! — сказала она тотчас себе.

“Венд!.. На дороге!.. В такой час? — рассуждала Доротейя. — Куда он направляется? Что он ищет? Кого преследует? Не в Вертинген ли он направляется так поспешно? Что там делать?”

Доротейя наклонилась к земле, чтобы лучше слышать шум галопа. Ей показалось, вместо того, чтобы повернуть направо в ту сторону, откуда она шла сама, эхо удалялось по прямой линии к откосу речного берега. Как разрешить эту загадку?

Прежде чем ее ум ответил, она уже действовала. Инстинкт, который сильнее рассудка, подталкивал ее следовать за всадником-привидением. Она повернулась и пошла, уже торопясь, сзади его.

Немного далее она снова увидела околешшую лошадь, лежавшую около сломанной тележки. Солдата более не было; он должен был возвратиться на свой пост. Немного далее она вышла на перекресток двух дорог. Одна из них спускалась к Дунаю, тогда как другая врезалась между первыми стенами деревни. Она пошла наудачу в ту сторону, где слышала, что топот лошади Венда раздавался продолжительнее. Вскоре перед ней появился вдаль, наравне с землей мерцающий слабый огонь бивуака.

Она остановилась.

Время от времени проходящие между ней и освещенной точкой силуэты совершенно прикрывали его. Она хорошо понимала, что там находились солдаты, без сомнения, товарищи тех, которых она только что покинула. Но, чтобы убедиться в этом, она не смела приближаться более.

Не к ним ли поехал Венд? Но на него не похоже, чтобы он отправился на аванпост. Это не такой человек; он не поедет ночью сам на разведку, рискуя спокойствием и жизнью для исполнения долга... Он решился бы забыть свою ленность и пороки только, когда ненависть и алчность довели его до этого.

Рассуждая таким образом, Доротейя снова пошла медленно по направлению к перемещающемуся огоньку. Она присела раз, потом другой на большие камни,

на краю дороги, и принялась перебирать в уме все, что она сделала со вчерашнего дня. Она пробовала выпутать ясные идеи и простые чувства из накопившихся руин, произведенных внезапным шквалом, перевернувшим ее жизнь. Трепещущая от искреннего душевного волнения, она чувствовала себя брошенной без проводника, опоры и надежды в опасные приключения. Смущенная и опечаленная, она снова встала, чтобы сделать несколько шагов.

Время шло. Сколько времени? Она не могла этого сказать. Ей показалось только, что огонь бивуака становился менее ярким, хотя она приближалась к нему.

Внезапно она остановилась и стала прислушиваться: кто-то шел. Да, с этой стороны кто-то шел. Она ясно различала шум шагов двух различных людей и слышала минутами два голоса. Вскоре Доротей увидела две неровные тени. Одна принадлежала мужчине, а другая ребенку.

Она тихонько отодвинулась с дороги и спряталась, как можно лучше, в траве, в нескольких шагах от дороги. Тогда она услышала следующий разговор:

— Теперь вы можете уходить, — говорил детский голос. — Я узнал первые дома там, на горе.

— Да, — ответил другой прохожий с грубым солдатским произношением, — но дорога делает поворот, гораздо далее. Знаешь ли ты, в которую сторону повернуть?

— О, полноте, не опасайтесь, я не ошибусь!

— Ну, хорошо! Добрый путь, мальчуган! Ты можешь похвастаться, что не струсил.

Затем разговор прекратился. Только раздавались тяжелые шаги; их шум мало-помалу уменьшался. Ребенок оставался неподвижен. Без сомнения, он смотрел, как исчезал в ночной темноте его проводник.

Доротей снова встала и начала приближаться к мальчику. Она кончила тем, что узнала в нескольких шагах от нее тонкий силуэт сына Шульмейстера. Она осталась неподвижной, прикованной от смущения, увидев одиноким среди полей мальчика, только что оставленного ею около его матери, в комнате, окруженной стражей.

Что же произошло с тех пор, как она уехала? Ей

было недосуг исследовать долго эту проблему. Внезапный шум донесся к ней с берега реки. Сначала она не поняла, что означал глухой продолжительный шум, слышанный ею, но вскоре она стала различать повторяющийся такт поспешной лошадиной рыси. Она направлялась в сторону Доротеи. С каждой минутой шаги лошади становились все слышнее и яснее; при каждом новом ударе по земле они отчетливее отделились один от другого. Вдруг она увидела появившееся среди ночной мглы серое пятно, которое все увеличивалось, определялось и наконец поднялось черной тенью.

Это был всадник, только что проскакавший. Доротея узнала в нем Венда.

Первое ее движение было приблизиться к Гансу. Она остановилась.

Ребенок ограничился тем, что подвинулся на край тропинки, где он сидел, почти исчезнув в окружающей его ночной тьме.

Всадник был только в нескольких шагах. По-видимому, он встретил на дороге солдата, возвращавшегося к своему бивуаку, и узнал от него, на каком расстоянии находился маленький узник, так как, замедляя ход лошади, он исследовал глазами дорогу, чтобы его разыскать.

Наконец он заметил мальчика.

— Что ты там делаешь?— спросил Венд грубо Ганса.

— Я ждал вашего проезда, чтобы продолжать путь.

— Да!.. Если только не затем, чтобы возвратиться назад и продолжить еще шпионить, не правда ли?..

Ответа не последовало.

— Ты ничего не говоришь, — продолжал Венд. — Пойдем! Я не хочу, чтобы ты оставался здесь. Иди передо мной и поживее!..

Презренный Венд дернул резко за одну сторону поводья и направил лошадь прямо на мальчика.

Ганс не шевельнулся.

— Слышал ли ты меня, лукавец?— спросил взбешенный капитан.

— Я слышала!— отвечал голос, раздавшийся с другой стороны дороги.

Венд сделал жест удивления и страха. Ребенок одним прыжком очутился на ногах.

— Да, я слышала! — продолжал таинственный голос, презрительные нотки которого, казалось, служили офицеру пощечинами... Меня не удивляет, подлец, найти тебя здесь пытающим беззащитного ребенка, после того, как я видела тебя тогда, вечером, покушающимся на жизнь его отца!..

— Его отца... — зарычал, как лев, Венд, для которого это слово послужило лучом света, озаряющим тьму.

Последовал момент молчания. Затем раздался торжествующий крик, за которым последовал целый поток радостных слов.

— Ах!.. Я это прекрасно знал; я говорил, что эти два существа согласились нас провести! Полно, ты можешь теперь рассказывать все, что пожелаешь, моя бедняжка Доротея! Можешь показываться или скрываться, сколько тебе угодно! Я прощаю тебе твои ругательства и угрозы в уважение за те справки, которые ты мне сообщала!.. Его отец!.. Шульмейстер — отец этого негодяйки!.. А только что они прикинулись, будто не знают друг друга!.. А маленький хитрец нашел средство обмануть нас всех!.. Благодарю, Доротея! Благодаря тебе, я держу теперь в руках этого человека и его шайку. Наконец-то моя месть будет полная! Благодарю!

— Ну, пойдем же, сын шпиона! Надо же нам возвратиться туда, хитрец!.. Ты еще не кончил смеяться...

Венд живо соскочил с лошади и, не выпуская поводьев, которые он обмотал вокруг кисти руки, потянулся к плечу ребенка.

Но перед ним поднялась черная фигура, и перед его глазами явилось бледное лицо Доротеи, которое, казалось, преобразилось от какого-то неумолимого решения.

— Молчи и уходи! — сказала ему Доротея. — Убейся, убейся сейчас же, презренный предатель! Вспомни, что я говорила тебе... Еще есть время... Убейся!

— Ну, что еще! Что тебя так взволновало? — сказал он, издеваясь. — Ты хочешь, чтобы я удалился?.. Я уеду, чего же тебе больше надо? Я уеду "сейчас же", как ты говоришь... Только я хочу отвезти этого ребенка к его отцу. Это моя идея!.. Почему же ты не сопровождаешь меня? Ты могла бы снова уви-

деть на мгновение твоего гостя сегодняшней ночи, это удовольствие тебе долго не представится!

— Берегись, Венд!

— Беречься? Что? Разве ты имеешь претензию ненароком помешать мне исполнить, что мне нравится?.. Сударыня, взяли ли вы ваши пистолеты сегодня ночью на прогулку по полям?

— Нет, у меня нет с собой оружия. Но я хочу, чтобы ты оставил ребенка.

— А! Ты хочешь?

— Да!

— Положительно мой преемник ловкий человек. Он умеет привязать к себе... Ты даже покровительствуешь его детям!

— Молчи!

— Я замолчу, когда ты меня допустишь взять этого мальчугана!.. У меня тоже семейный вкус; я не хочу, чтобы отделяли отца от сына...

— Молчи!

— Ты все то же говоришь... Я хочу, чтобы Шульмейстер, когда его поставят через несколько часов на колени перед взводом, увидел в лицо этого свидетеля.

— Молчи, говорю тебе.

— И тогда отхлестают сына до крови прежде, чем расстреляют отца, твоего люб...

.. Он не окончил: две руки обвились вокруг его горла.

Он сделал неистовый жест, чтобы их раздвинуть и оторвать от себя. Невозможно! Он хотел ударить в лицо это создание, которое пробовало его задушить; но держащие его вытянутые и заочневшие руки не позволяли достичь лица неприятеля. Он силился вытащить саблю и защищаться ею, как придется, острием или рукояткой. Но напрасно он размахивал по воздуху во все стороны: его блуждающие пальцы не находили более оружия, висевшего на кушаке.

Движения Венда были беспорядочны, а силы парализованы ужасными объятиями... Эта борьба во тьме представлялась отвратительной! Эти дикие объятия, сжимавшие одно с другим два молодых, сильных тела, еще накануне соединенные фантазией или привычкой, а теперь ринувшиеся друг на друга, были ужасны.

Однако, несмотря на гневное возбуждение, Доротея с трудом сопротивлялась безнадежным усилиям, которые делал Венд для избежания ужасного давления ее рук. Вместо того, чтобы дольше разжимать живое

ожерелье, душившие его, уже наполовину задохнувшийся негодяй решил наконец сжать в объятиях бюст молодой женщины.

Со своей стороны Доротея чувствовала, что ее силы наполовину уменьшились. Оцепенение, овладевшее ее плечами, пробежало по всему ее телу, и она поняла, что он скоро захватит ее руки. Все-таки она продолжала с энергией безнадежности давить его горло. Венду казалось, что ее пальцы все глубже и глубже впиваются в него, пересекают доступ воздуху, останавливают движение крови, рискуя прекратить жизнь.

На посиневшем и в пятнах лице Венда открылся перекошенный конвульсиями рот, а красные, распухшие глаза, казалось, были готовы выскочить, как заряженные пули.

Но и Доротея чувствовала, что вся ее нервная сила скоро иссякнет.

Нет... положительно... она не могла долее продолжать это ужасное напряжение мускулов!

Негодяй заметил, что она ослабевала; он удвоил усилия; пальцы, давившие его, разжались, однако, не выпуская совершенно добычи.

Немного воздуха вошло в грудь Венда.

Радость, что он наконец после долгого томления снова нашел надежду вздохнуть всеми легкими и жить, вызвала у Венда хриплый крик радости.

Но его час пришел.

Неожиданно на него поднялся страшный враг.

Лошадь, уже испуганная конвульсивными движениями обоих борющихся, зацепивших за ее ноздри, при звуках радостного рева освобожденного Венда обезумела от страха. Она попятилась, ударяя копытами, и встала на дыбы почти во весь рост. В наступающей заре поднялась ее громадная фигура, представляя собой угрозу.

Привязанные к руке поводья натянулись и повлекли назад негодяя, опрокинув его навзничь.

Доротея, увлеченная также на землю, упала на колени возле него.

Тогда бессознательное животное, притянутое к земле падением борющихся, опустило свои тяжелые, подкованные железом копыта на череп Венда.

Доротея почувствовала, как на ее пальцы потекла горячая кровь. Руки, сжимающие ее, разжались и

тяжело скользнули вдоль его бедер. Теперь она поняла, что могла отнять свои руки от шеи Венда, сделавшейся неподвижной. Последняя дрожь агонии потрясла распростертое перед ней тело.

Как же это случилось? Она убила его, или лошадь, которую она видела распрямившейся во весь рост над ним? Ослепленное страхом животное послужило оружием правосудия.

Доротeya не отдавала себе отчета. Она ничего не понимала и ничего не знала.

Молодая женщина медленно поднялась, оцепенелая от совершившегося ужасного события. Ее глаза не могли оторваться от этого разможенного лица, посинелого и залитого кровью.

Наконец, овладев собой, лишь только порыв борьбы совершенно рассеялся, она сделала безумный жест, и на дороге раздался крик ужаса.

При звуках его лошадь-убийца, как бы со своей стороны охваченная безумием, убежала галопом на равнину, таща на поводьях висящий труп Венда. Он бился у нее по ногам и своей тяжестью рыл в земле бесполезную борозду.

При виде этого ужасного зрелища Доротeya убежала, оглядывая поля и дорогу, освещенные нарождающимся днем.

Никто ее не видел. Она была одна.

И, должно быть, сын Шульмейстера давно убежал, потому что, насколько далеко Доротeya могла видеть, она не замечала его более.

По крайней мере, пусть этот смелый, белокурый, бледный, маленький мальчик никогда не узнает, что она сделала, защищая его.

IV

Соображения гения войны одно за другим осуществлялись. 7 октября шесть корпусов французской армии, прибывших по различным дорогам на назначенное свидание, соединились в знаменитой долине, по ту сторону гор Шварцвальда и их вюртембергских отрогов. Они только что их обогнули, но не перешли.

Наполеон без боя успел завладеть избранной территорией, что делало победу насколько возможно полной.

Ему предшествовала кавалерия Мюрата, который, после того как маскировал свои движения, наконец, мог снова занять свое обычное авангардное место в походе. Он осветил ему страну своей неутомимой деятельностью, и 8-го числа утром ничего более не оставалось, как узнать, в какой степени неприятель был обманут его маневрами, и вследствие этого к какому пункту великая армия должна была направить свои первые усилия.

По правде, эти последние условия успеха были главными условиями.

Если бы Наполеон упустил из вида закрыть выходы, через которые могли скрыться от него австрийские войска, то все пришлось бы начинать сначала.

Если бы он не знал точного, последнего распределения сил, которые он хотел захватить, то это было бы подтверждением напрасно потраченного времени.

Конечно, у него в руках было чем сражаться и чем победить сегодня или завтра, но ум его хотел видеть, что будет после этих двух или трех дней. Начальник отряда имеет право рассматривать предстоящее сражение, глава же армии и народа должен заранее определить движение, которое будет происходить. Война — драма, в которой, прежде чем написать хотя б одну строчку, надо составить полную программу. Автор должен знать, куда он идет и как пойдет.

Событие было подготовлено, но все случайности не могли быть предусмотрены.

Что же делал Мак? Где он был? Которым справкам он поверил? Что это было за войско, по правде, немногочисленное, на присутствие которого на берегу Дуная указывала кавалерия Мюрата? Принадлежало ли оно к определенному корпусу Кинмейера или к Ульмскому гарнизону? Кого караулило оно: баварцев, союзников Франции, или французов, союзников Баварии?

Удалось ли наконец найти в лагере всю армию, которую хотели захватить? Не ускользнула ли она оттуда? Или не готовится ли еще она оттуда бежать?

Единственный человек, который мог бы снабдить Наполеона точными указаниями по всем этим пунктам, был Шульмейстер. Но он не подавал признака жизни, с тех пор, как уехал из Страсбурга. Не за-

хватили ли его? Был ли он убит? Во всяком случае он молчал.

Поэтому император 8-го октября, утром, после того, как принял доклады своих офицеров в Донауверте, где он проводил ночь, выказал прескверное настроение духа. Он мог вывести из противоречивых рассказов, что в общем никто ничего не знал о действительных планах неприятеля.

Ланн, Сульт и Ней находились перед ним по обыкновению в безмолвии, пока он не обращался прямо к ним с вопросом.

— Мы охотимся на барсуков, господа, — сказал Наполеон, прогуливаясь с нетерпением по скромной школьной зале, где он на одно утро устроил свой императорский кабинет. — Мы прорыли один ход в их логовище, но самый тонкий из вас не способен сказать, обойден ли зверь, или у него есть еще выход для спасения. Посмотрим, что ты думаешь об этом, Ланн?

— Я думаю, если твой дьявол зять... Простите, государь... Я думаю, если его королевское высочество, принц Мюрат, не известил нас точно о позиции неприятеля, то никто на свете об этом ничего не знает, потому что Мюрат как тактик — мозгляк, но как разведчик он довольно хорошо знает свое дело.

— Потому не совета Мюрата я спрашиваю у тебя, головорез, а твоего. Думаешь ли ты, что австрийцы действительно остались в Ульме?

— Может быть, да, может быть, нет! Не все ли равно, потому что там или в другом месте мы их все-таки побьем.

— Ты отвечаешь, как нормандец, и доказываешь, как гасконец. А вы, маршал Сульт, что об этом думаете?

Сульт командовал самым многочисленным корпусом великой армии. Это был точный, преданный дисциплине, уважаемый и осторожный воин. Он ответил дипломатично:

— Если ваше величество этого не знает, как же мне знать? Однако, если надо все сказать, то я думаю, что мы имеем успех. Когда целая армия отступает перед другой, то это производит большее движение, чем то, на которое нам указали.

— Очень резонно! — сказал император. — А вы, Ней?

Храбрый маршал, спрошенный в свою очередь, побагровел, что с ним случалось каждый раз, когда он говорил перед Наполеоном.

Он кончил тем, что сказал:

— Я, я нахожу, что принц Мюрат заставляет себя долго ждать! Ему следовало бы уже отвечать на вопросы императора. Какой черт, видят, что видят: Это ему надо смотреть и приехать нам сообщить, в каком мы положении. Я не мастер воображать вещи, и не мое дело говорить, где неприятель. Пусть мне покажут его, а я побью. Вот и все!..

— Не много же я узнал, — сказал Наполеон, который не мог удержаться от улыбки при этой воинственной выходке и ударил Нея по плечу. — По счастью, я слышу, что кто-то приехал. Рустан, посмотри, что там такое!

До тех пор неподвижно стоявший около открытой двери мамелюк едва успел броситься на дорогу, на которой в самом деле был слышен топот лошадей, как показался на пороге элегантный и воинственный силуэт Мюрата.

— Ты очень опоздал, — сказал ему император. — По крайней мере, принес ли ты мне новости?

— Я думаю, — ответил принц, — во всяком случае я... доставляю вашему величеству ребенка, который вам даст их.

— Ребенка?

— Не угодно ли вам, государь, взглянуть на эту картину?

Император, сопровождаемый маршалами, направился к двери.

Он увидел, что один из офицеров эскорта держал перед собой сидящего перед ним на седле маленького спящего мальчика.

— Это что такое?.. Где это ты подобрал его? Не с ума ли ты сошел, Мюрат? Мне требуются не мальчишечьи сновидения, а сведения о неприятельской армии.

— Я знаю этого мальчика, — ответил, не волнуясь, начальник кавалерии, — а его имя скажет вам, государь, почему я привел его к вам.

— Как его зовут?

— Ганс Шульмейстер.

— Шульмейстер? Ты в этом уверен?.. Вели его разбудить, и пусть он придет ко мне.

Ах, если бы кто-нибудь сказал императору французов, прежнему первому консулу республики, настоящее имя этого ребенка!

Он появился, протирая глаза, несколько мгновений спустя после того, как вошел Наполеон в большую совершенно белую залу, где находились генералы.

Если бы гениальный авантюрист, достигший самой вершины почестей, обреченный судьбой жить еще несколько лет в лучах побед, мог угадать, что под этой одеждой крестьянина, явившегося перед ним, скрывается отпрыск знаменитой расы, сирота, отца которого он убил, принц, обаятельное имя которого он уничтожил!

Если бы победитель, гордившийся тем, что он воплощал всю революцию в своей маленькой треуголке, знал, что потомок Конде, имеющий в своих венах кровь Бурбонов, принес ему, Бонапарту, залог успеха!

Но никто из присутствующих офицеров об этом не знал. Рок, который подчеркивает впоследствии уроки истории, пренебрегает предупредить своих героев о контрастах, ожидающих их. В душе убийцы не было никаких угрызений, в сердце его жертвы не было никакого содрогания ненависти.

Ганс смотрел на внушительных личностей, находившихся перед ним, с доверчивой смелостью, присущей его летам. Наконец-то он снова увидел голубые мундиры. Повернув голову в сторону Мюрата, после того, как их рассмотрел, Ганс мило улыбнулся ему, как бы с благодарностью.

Но к нему вернулись тотчас же воспоминания об ужасных событиях, свидетелем которых он был, и на его чертах обрисовалась горестная мрачность.

Когда французский часовой увидел его на заре, изнуренного длинным путем и торопящегося к нему, то мальчик мог ответить на обыкновенные вопросы только одними и теми же словами, постоянно повторяемыми с настойчивостью, в которой замечалась растерянность.

— Я хочу видеть принца Мюрата, чтобы он предупредил императора о моем приходе.

Солдат начал с жалостливой улыбки. Есть же в полях по утрам, думал он, маленькие крестьяне, настолько дерзкие, чтобы иметь желание быть принятыми маршалами и даже “Маленьким Капралом“!.. Но мальчик был так наивно упрям в своей просьбе,

в его произношении была такая трагическая тоска, что честный малый кончил словами:

— Ну, ладно, проходи, крошка! Через четверть часа, приблизительно, придут меня сменить. Начальник поста увидит, что с тобой делать.

Ганс пошел и сел с невинным видом на траву перед часовым. Последний ревностный исполнитель дисциплины взял на руку штык.

— Убирайся вон, мальчуган! Запрещено останавливаться ближе, по крайней мере, длины пяти кларнетов. С подобными ногами, какими располагаешь ты, это, по меньшей мере, двадцать шагов... Постой, сядь вон на этот земляной пригорок, там, направо, и подожди, когда придут.

Мальчуган повиновался. Он пошел к назначенному месту. Его шаги были шатающиеся, как у несчастного создания, выбившегося из последних сил. Он упал на склон холма, думая только, как бы отдохнуть несколько мгновений. Затем его мысли смешались. Ему казалось, что его душа покинула разбитое тело, которое лежало там; его руки и ноги были не его; глаза закрывались, и в свежести сияющей зари сон овладел им целиком.

Там-то и нашли Ганса, несколько времени спустя, когда пришел патруль сменить часовых. Он продолжал спать со сжатыми кулаками. Мальчик не проснулся даже, когда солдат, которого очередь стоять на карауле миновала, взял его на руки, чтобы отнести в лагерь.

— Вот ты и папашей сделался, — говорили ему другие в насмешку. — Мальчуган не очень утрудил тебя воспитанием, гм!

— Смейтесь, сколько хотите, — отвечал пехотинец, — но если бы этот маленький соня посмотрел на вас так, как он смотрел на меня, то вы признали бы безжалостным покинуть его.

И начальник патруля, старый ворчун, прикидывающийся жестоким, но на самом деле добряк, прибавил:

— Все равно мы вернемся на пост многочисленнее, чем отправились. Капитан подумает, что мы дорогой веселились.

Таким образом Ганс окончил ночь при восходе солнца на руках солдат. Проснувшись, лишь только его поставили на ноги перед офицером, он тотчас же сказал своим тоненьким решительным голосом:

— У меня есть поручение к маршалу Мюрату,

который меня знает. Не проведете ли меня, пожалуйста, к нему?

С той минуты, как он увидел французских солдат, по его мнению, его разукрашенный перьями друг не мог находиться далеко от них.

— Как, ты знаешь принца Мюрата? — спросил начальник поста.

— Он приезжал к нам сначала в Страсбург, а затем в Оффенбург.

— Где бумаги, которые ты принес ему?

— У меня нет бумаг. Я выучил слова на память.

— А! От кого же ты пришел?

— От отца. Он там в плену у австрийцев, и его, быть может, расстреляют.

— Кто твой отец?

— Он служит императору один...в ожидании вашей помощи.

Отвечая таким образом, ребенок казался выше на целый локоть. Его глаза бросали пламя. Его голос дрожал. Пламенное убеждение, одушевляющее его, успокоило подозрение допрашивающих.

Тогда один кавалерист, принадлежащий к взводу гусар, возвращаясь на место квартирования, посадил его сзади себя на лошадь. Затем после долгого пути он доверил Ганса одному офицеру главного штаба. Последний, исполнив данное поручение, согласился охотно взять мальчика и отправился разыскивать Мюрата. Наконец Ганс очутился в присутствии того, кого хотел видеть.

— Как, это ты, крошка? — тотчас же закричал принц в порыве расположения, удивившем всех офицеров. — Что ты здесь делаешь?

Ганс принялся, как можно яснее, рассказывать тихим голосом, чтобы никто из окружающих не мог слышать события этой ночи. Он сообщил принцу, как его мать, и “потом” Родек, и “потом” Лизбет, и “потом” он сам приехали накануне после длинного пути в какое-то селение, как деревня, имени которой он не знал, но которую сумел бы разыскать, была наводнена ночью гренадерами. Он с мелочной точностью описал мундиры австрийцев, свое безумное путешествие, с целью предупредить голубых, и встречу с отцом. Он рассказал, что неприятели удержали отца пленником и хотели убить, потому что нашли у него письмо, предназначенное императору. Наконец он пе-

редал о чтении вслух "не слишком злого" полковника всего, что было на этом маленьком клочке бумажки.

Ганс позабыл только одну подробность: он ничего не сказал ни о своем личном аресте, ни о пытках, которыми хотели проверить, понимает ли он французский язык и знает ли обвиняемого.

Настоящие герои, даже будь им одиннадцать лет, не подозревают своего героизма.

— И ты помнишь, что читали в твоём присутствии? — спросил его принц.

— О, да! Я столько раз это повторял мысленно, сколько мог, когда шел сюда. Я расскажу вам, не забыв ни одного слова.

— Хорошо, скажи мне это!..

Инстинктивная и очаровательная вежливость продиктовала ребенку следующий ответ:

— Ведь... письмо было к императору!

После кратковременного неудовольствия Мюрат ответил с благосклонной улыбкой.

— Тогда пойдем к императору.

Ганс был счастлив, что удержал тайну до конца. Его посадили на большую лошадь, на которой сидел самый молодой и самый ловкий адъютант принца. В таком-то виде Наполеон увидел его прибывшим перед своей императорской квартирой. Он снова заснул, убаюкиваемый ездой. Но только что его поставили на землю и ввели в белый зал школьного дома, как его глаза прояснились, и память была к его услугам.

— Ты перед императором Наполеоном, — сказал ему Мюрат. — Говори теперь.

Искренний и умный взгляд ребенка обежал окружающие его лица и узнал тотчас же того, к которому надо было обратиться. Он увидел в нем кое-что иное, чем в других присутствующих.

— Это вы, сударь, император?

— Да, я. Говори без опасения. Где ты оставил твоего отца?

Наполеон сел и наклонился, чтобы лучше его рассмотреть.

Тогда Ганс снова рассказал Наполеону то же, что и Мюрату. Но он тотчас же увидел, что не одно и то же говорить с простым маршалом и с императором. В то время, как он рассказывал о событиях, маленький, бледный, темноволосый человек, расспрашивающий его, поворачивал время от времени

голову к столу, где была разложена карта, и пальцем, казалось, следовал по дороге, где бежал мальчик.

— Не правда ли, ты был в Вертингене, когда немецкие гренадеры явились туда?

Внезапно заданный Наполеоном вопрос, напомнил ему имя, которое говорил полковник, приказывая одному из солдат проводить его.

— Да, да. Вертинген. Именно так его называли.

— Не помнишь ли ты, с какой стороны ты пришел к реке?.. Шел ли ты справа или слева от того места, где твой отец находится пленником, когда достиг наших солдат?

Инстинктивно, прежде чем ответить, Ганс протянул правую руку перед собой, как бы указывая своей памяти дорогу.

— Там, — сказал он.

— Хорошо.

Наполеон обернулся к Мюрату и сказал:

— Помни, что свободен проход на юг от Гогенрейхена.

Затем он снова обратился к Гансу.

— Но почему же ты знаешь, что хотят убить Шульмейстера? Ты, значит, видел его близко и слышал, что говорили вокруг его?

Тогда потребовалось, чтобы ребенок дополнил свой рассказ. Он это сделал так же естественно, как и вначале, и казалось, даже не подозревал о силе души, которую он обнаружил во все время допроса.

— Так ты сделал вид, — сказал улыбаясь Наполеон, — что не умеешь говорить по-французски?

— Да, господин император.

— И тебе удалось обмануть неприятеля. Как же они за это принялись? Какие вопросы тебе задавали?

— Полковник, говоря со мной по-французски, сказал, что умерла моя мать. Он хотел увидеть, как я отвечаю.

— О! — сказал Ланн.

— Ты не выдал себя?

— Нет... И, однако, это правда.

— Черт возьми! — прогремели басом, в один голос, маршалы Ланн и Ней.

— Замолчите, — сказал Наполеон, смотря ласковыми глазами на честных генералов. — Это очень хорошо, мое дитя, — продолжал он, возвращаясь к

маленькому разведчику, — скажи мне теперь остальное.

Ганс собрался с духом, чтобы приступить, наконец, к предмету своей миссии. Он посмотрел в глаза Наполеону с пламенным вниманием и начал рассказ несколько дрожащим голосом.

— Хорошо, господин император. Люди, собравшиеся вокруг огня, нашли маленькую коробочку, в которой лежало письмо к вам. Мой отец сказал, будто не знает, что в нем написано. Тогда ему прочитали вслух для доказательства, что он знает содержание. Во все это время он так забавно смотрел на меня. Он так впился в меня глазами, что мне казалось, будто его глаза упираются в мои... Затем он попросил полковника прочитать медленнее, говоря, что он не понимает. Он все продолжал смотреть на меня!.. Тогда я сказал себе, что и мне так же надо внимательнее слушать письмо, в особенности конец его. Это было, когда еще не раскрыли моего присутствия, и меня видел только отец. Естественно, я внимательно слушал, и когда было окончено чтение, я повторил мысленно, что слышал. Поэтому я и не забыл... Если вы хотите, я вам перескажу.

— Говори, я слушаю.

— В начале письма мой отец Карл говорил, что ему не стоит оставаться более в Ульме, потому что генерал...генерал....Я не помню более его имени...

— Мак?

— Да, Мак... О, вы настоящий император: вы знаете все имена!.. Генерал Мак верил во все, во что вы хотели. Затем было сказано, это-то я на память помню: “Численность наличного состава войска 70.000 человек. Часть его может ускользнуть через Тироль с Иелашишем или к Богемии с эрцгерцогом; остальные не двинутся. Город укреплен, но, если удержать Эльсинген, он взят“. Вот и все!

— Славный ребенок! — не мог удержаться, чтобы не сказать, Ланн.

— Да! — сказал Наполеон, подымая голову. — И ты можешь прибавить к этому, что это достойный сын честного отца, так как мы знаем теперь самое важное.

Ганс, не прерывая, снова начал свой рассказ и, закончив его, прибавил:

— Тогда, господин император, если вы довольны,

вы воспрепятствуете, чтобы расстреляли моего бедного папу Карла?

— Конечно, мы воспрепятствуем!

И, повернув в сторону Мюрата, Наполеон прошептал сурово, даже печально:

— Постарайся!..

V

Долго сдерживаемый волей человека поток, плотина которого в назначенный час открылась, наконец устремляет свои воды. Подобно ему, великая армия, после стольких дней молчаливой ходьбы и терпеливого повиновения, услышала в это утро из уст своего начальника окончательный приказ, который давал широкий простор ее необузданному порыву. Сразу со всех сторон выступила она и принялась разворачивать свои полки по дорогам к Лешу, Иллеру и к Дунаю. Таким образом великая армия отрезала неприятелю отступление на Аугсбург и Мюнхен, вместе с тем пресекла бегство в Мейнинген и Тироль. Она запирала мало-помалу в круге штыков отряды укрепленного Ульмского лагеря, обращенного в бегство прежде поражения.

Все знаменитые начальники, как Бернадот, Мармон, Даву, Ней, Ланн, Сульт, Мюрат, принялись за эволюцию, как фигуры гигантской шахматной доски, управляемые всемогущей рукой. Одни бросились занимать города, где неприятель мог укрепиться, другие овладели мостами, которые открывали им дороги и закрывали их противникам. Упорная иллюзия, которая долго оставляла в бездействии сгруппировавшиеся грозные силы, чтобы победить неприятеля, теперь рассеялась, но поздно. Каждая завеса, спадающая перед глазами генерала Мака, открывала перед ним перерезанную дорогу; каждая верная справка возвещала ему новую опасность.

Тогда начались битвы.

Вертинген, Гюнсбург, Ландбер, Гальсбах, Эльсинген — бессмертные дни, которые перевернули и разрушили одну за другой скороспелые преграды, поставленные, чтобы удержать победные шаги французов! Не романисту о них рассказывать. Они написаны на камне и на меди. Они поют славу французской армии,

под хорошо отражающими звуки триумфальными арками и в лепных завитках императорских колонн.

Приготовленные ловким гением великого полководца эти дни воодушевили и наполнили героизмом солдат. Они приготовили невообразимый успех, который из армии сражающихся сделал толпу пленников, оставив на руках французов двести пушек и девяносто знамен, шестьдесят тысяч человек солдат, двадцать генералов и полторы тысячи офицеров.

Обход длился несколько дней, с 8-го до 11-го октября. Маршалы, командовавшие именем императора, чтобы привести свои приказы в исполнение, нашли таких генералов, как Эксельман, Лаюэ и Дюпон. Каждая встреча была счастлива, каждая битва приносила победу, каждый шаг вперед отличался блестящим успехом.

Однако на мгновение казалось все потерянным.

После того, как Наполеон послал Нея, Ланна и Мюрата к Гюнсбургу, Гогенрейхену и Вертингену, где его стратегия могла оказать прекрасное действие, обеспечив ему успех, так как ей могло удасться спасти Шульмейстера, которому были обязаны успехом, — после того как Сульт был направлен на Аугсбург, куда он нашел необходимым поместить серьезного начальника и многочисленное войско, Наполеон чувствовал необходимость отправиться лично давать объяснения и важные приказания другим генералам. Он пустился в путь, чтобы ускорить передвижение армии и заставить ее сойтись к одной точке.

Покидая главные части своей армии, с этой минуты имеющие соприкосновение с неприятелем, он считал долгом установить для порядка операций иерархию из людей, которых военная градация была одинакова, хотя их талант глубоко различался.

Советуясь только с этикетом своего двора, он предоставил Ланна и Нея под начальство Мюрата... Разве последний не был его зятем, чтобы услуги остальных с этого времени ступеньвались.

Ланн, может быть, из всех его сподвижников отличался наибольшей проникательностью и душой твердой и отважной. Это был начальник в полном смысле слова. С другой стороны, Ней не имел себе равных в сражениях, когда увлекал за собой солдат, и все доблести, все смелости казались скромными в сравнении с его героизмом. Но они оба были отда-

лены от императорского трона; они не были “их высочествами”, не занимали заметного места в императорской семье, а потому должны были ступаться.

Такова жалкая слабость великого ума, извращенного гордостью.

Услышав этот приказ, Ланн побледнел и ничего не ответил. Ней побагровел и что-то прошептал. Однако, так как шли в сражение, то каждый из них подчинился и приготовился исполнить долг.

Что касается Мюрата, то он ликовал. Император доверил ему шестьдесят тысяч человек, чтобы держать неприятеля в почтении. Теперь он имел право сказать обоим маршалам Франции: “Я хочу”.

Он это тотчас же сказал.

Его тщеславие не остановилось, чтобы дать почувствовать свой новый авторитет, и как только император не был более там, он разыграл роль императора.

— Дорогой маршал, — сказал он Ланну, — я рассчитываю следовать по правому берегу Дуная, поднимаясь по течению реки. В то время, как маршал Ней двинется прямо на Гюнсбург, где он овладеет мостами, вы пройдете здесь по левому берегу, с одной из ваших дивизий и обратите в бегство войска, которые увидите перед собой.

— Очень хорошо, принц, — ответил Ланн несколько насмешливым тоном, — но на кого и на что я могу опереться, если встречу силы, превышающие мои?

— Разве я не буду там?

— Да!.. На другой стороне реки и без всякого моста для перехода.

— Чего же вы опасаетесь?..

— О принц! Вы знаете, что Ланн, как мне кажется, ничего не боится.

— Без сомнения! Без сомнения. Я не то хотел сказать.

— Тогда что же?

— Бесполезно оспаривать приказы императора, которые я передаю.

— Тогда это приказ? Это предписание?.. Пусть будет так! Я приведу в исполнение. Только напишите мне, пожалуйста, приказ.

— Согласен. Я сейчас пойду...

— О, поторопитесь! Я пришлю сейчас одного из моих ординарцев, которому вы вручите его.

Ланн вышел, с трудом удерживался, чтобы не пожать плечами.

Пришла очередь Нея.

— Вы слышали, маршал, что я предписал маршалу Ланну? — спросил его Мюрат.

— Вполне.

— Требуете ли и вы, чтобы я дал приказ в настоящей форме?

— Бесплезно, принц! Я нахожу, что эти распоряжения не имеют здравого смысла, и так как их необходимо изменить, то я предпочитаю, чтобы вы дали мне свободу в подробностях.

— Но я вовсе не думаю дать ее вам!

— А! Ваш план непреложен.

— Мой план, мой план!.. Я привык делать его только в присутствии неприятеля. Но я знаю, куда надо идти, и этого вам достаточно.

— Мне этого будет достаточно, принц, с условием, если вы перестанете со мной так говорить. Я не какой-нибудь мальчишка офицер, понимаете ли вы?

— Что я могу на это сказать! — воскликнул Мюрат.

Оба разгневанного человека приблизились один к другому, меряя друг друга взглядом с ног до головы. Еще одно слово, и жест, который Ней с трудом удерживал, был бы приведен в исполнение. Тогда, пожалуй, увидели бы странный, смертельный поединок перед войском между двумя начальниками, которым поручено вести его против врага! Никто из присутствовавших офицеров не смел вмешаться в их ссору. Случаю было угодно, что в этот самый момент у дверей дома раздался детский голос. Это был голос принесшего новость маленького мальчика, приход которого сейчас же переменял решение императора.

Ганс, с нетерпением желавший скорее отправить-ся, ждал, чтобы Мюрат взял его с собой, но, увидав дефилирующих гренадер Удино, он забыл все остальное. Он недавно еще любовался ими, когда они проезжали в тележках в Страсбург. Ганс вспомнил все подробности этого вечера, которые незадолго предшествовали ужасным приключениям в деревне. Он задумался об отце и Лизбете, и в его памяти возникли воспоминания о слышанных им тогда на дороге в Саверн припевах и о телегах, переполненных солдатами. Невольно, несмотря на свою печаль и смертель-

ную грусть, он тихо повторял эти припевы. Вскоре своим чистым, как кристалл, голосом, немного нерешительным, он зацел один из припевов.

Оба удивленных маршала повернули головы и увидели проходящих по дороге солдат. Хладнокровие тотчас же вернулось к ним.

— Я повинуюсь, принц! — сказал Ней еще дрожащим от гнева голосом. — Не здесь и не сегодня надо объясниться.

Мюрат, плохо владевший собой, не мог найти радужное слово, которое, не будучи извинением, походило бы на него; он оставался застывшим в высокомерной позе. Ней вышел с красным лицом, небритый, с глазами, метавшими пламя.

Ганс смотрел с удивлением и ужасом на проходившего Нея и не думал более петь свою песню.

VI

С того момента, как Шульмейстер снова увидел во время допроса грустное и взволнованное лицо своего приемного сына, он почувствовал такое томление, как будто он разрывался от усталости, нравственно бессильный и безнадежный во всех отношениях. В таком настроении его заставили австрийцы покинуть лагерь, чтобы запереть в надежном месте.

Мало того, что его предприятие казалось ему совершенно с этих пор погибшим, благодаря измене Венда, но еще он увлек за собой самые невинные, самые слабые и любимые существа, безумно скомпрометировав их.

Он не мог окончить свою задачу, а этой задачей был маленький одиннадцатилетний мальчик, которого он взялся воспитать. Он не мог лично преодолеть опасности и всю тяжесть их передал этому ребенку. Какой хаос мыслей был у него в голове в то время, как его вели в Гогенрейхен!.. Шульмейстера эскортировали восемь человек, под предводительством унтер-офицера. Двое из них с ружьями на плече держали концы веревки, связывающей ему руки за спиной. Двое других, с заряженными ружьями и готовыми открыть огонь, сопровождали его. Сержант замыкал шествие. Четверо последних солдат, размещенных, как стрелки, с каждой стороны тропинки, служили

как бы передовым постом вокруг движущейся крепости, где он был заключен.

Эти мелочные предосторожности достаточно указывали, какую необыкновенную важность придавали его аресту. Они отстраняли идею о бегстве. Чувствовалось, что эти предосторожности были предприняты для уничтожения плана бегства. Но разве Шульмейстер мечтал ускользнуть? Для людей дела, как он, самые грозные обстоятельства ничего не значат, когда есть надежда, хотя бы очень слабая, их побороть. Но пока не светит ничтожный луч надежды, проникающий иногда через толстые стены, пока случай запаздывает, они безропотно покоряются и ждут.

Почему расположение ума изменилось тотчас, лишь узник был заключен в деревенский чулан. Его узкое окно было защищено двумя железными перекладами, положенными накрест, а дверь, достаточно внушительная и запертая на ключ, кроме того, охранялась снаружи часовыми с отвратительными лицами.

Не правда ли, странное противоречие, возрождающее в душе узника слабую надежду, именно в тот момент, когда дверь чулана запирается за ним!

Однако так бывает. Едва Шульмейстер остался один в этом бедном и тесном помещении, откуда при его появлении вынесли все железные земледельческие орудия, все обрывки веревок, все куски досок и бревен, вообще все, что могло бы ему служить для бегства, он инстинктивно был убежден, что наповину спасен.

Сначала он сел на худую скамью, единственную мебель, оставшуюся в чулане. Он сейчас же принялся высчитывать вероятное время, которым он еще располагает.

Для кавалериста с хорошей лошадейю необходимо около полутора часов, чтобы проехать от Вертингена в Ульм. На совещание главнокомандующего с генералами и доставление его приказа требовалось два часа, итого три часа с половиной; в течение этого времени никакая внезапная опасность не угрожает его жизни.

Судя по цвету неба, должно быть пять часов утра: заря начинает белить отдаленные части свода над холмами горизонта.

— Пять и три будет восемь, — сказал Шульмей-

стер. — Если я не освобожусь в восемь с половиной часов, в девять я буду мертв. Кое-что значит знать определенно свою судьбу. Но отдохнем немного; я слишком устал в данный момент, чтобы иметь определенные идеи... Ляжем-ка поудобнее!

Расстегнув куртку, он снял левый сапог и принялся затем за свою правую ногу.

— Черт возьми! — сказал он, прервав тотчас же свое занятие. — Что это такое?

Под кожаным голенищем, наполовину распоротым и доходившим почти до колена, пальцы Шульмейстера почувствовали твердое, длинное, цилиндрическое тело.

— Ах! Я забыл!.. Я еще богат, у меня там сверток в тысячу франков!.. Что значит экономия и порядок, гм! Я угадал, что мне предстоит “расходовать” много денег, чтобы затмить господина Венда. У меня была мысль, что придется употребить на означенное дело этот маленький резерв, который я к моей радости теперь нашел. Тысячу франков предстоит промотать в три часа... Я уверен, что у самого банкира Уврара нет столько денег... Что же я сделаю с этим сокровищем?.. Я очень голоден, но я никогда столько не съем, чтобы израсходовать их все. У меня страшная жажда, но где же, черт возьми, здесь погребок?..

Слово “погребок”, вероятно, пробудило в его уме новую мысль, так как Шульмейстер моментально исправил равновесие своего туалета и направился к окну. Для ловкого и сильного человека, как он, было бы шуткой проскользнуть через окно, если бы оно не было снабжено железными перекладинами. Но Шульмейстер мечтал не о том. Зная, что не может сделать большего, он ограничился тем, что тихонько просунул голову в один из маленьких квадратов, оставленных свободными между крестом из перекладин. Он остановился лишь, когда его нос коснулся камня, довольный тем, что его глаза обдуло воздухом.

Затем, склоняя голову, то в одну сторону, то в другую, он взглядом исследовал окрестности лачуги, где он помещался. Шульмейстер делал это, как человек, привыкший подвергать свои первые впечатления строгой логической критике.

— Да, конечно, — говорил он, — я не вижу ни одной живой души. Простак мог бы заключить, что он один здесь с патрулем, назначенным его стеречь... Но не будем так поспешны, мы не дети, черт возьми!..

После минутного размышления он отошел от окна к двери. Ему было достаточно для этого путешествия двух шагов, и он принялся стучать кулаком в толстые доски двери.

— Что! Что там такое? — сказал грубый голос снаружи.

— Дело в том, товарищ, что я голоден и чувствую жажду. Не спросите ли вы патрульного офицера, чтобы мне дали есть и пить?..

— Нет офицера.

— А! Возможно ли это?

Ответа нет.

— Полно, товарищ! — возразил Шульмейстер. — Я знаю, что австрийская армия самая прекрасная, и дисциплина в ней лучше, чем во всей Европе. Наверное с той минуты, как отряжен караульный пост, офицер, командующий им, приходит проверять, все ли благополучно, и скорее два раза, чем один.

— Нет офицера, — отвечал грубый голос часового.

— Вот так раз! — сказал себе заключенный. — Это хорошо знать! По-видимому, гарнизон не очень здесь многочислен.

— Если нет офицера, — настаивал он громко, — вы не откажитесь передать мое требование сержанту?

— Он спит.

— Но когда он придет...

— Он не придет.

— Как! Как вы будете меня стеречь все время, и вас никто не сменит?

— Это до вас не касается! Я не должен ни разговаривать с узником, ни позволять ему говорить со мной. Замолчите, или я позову.

— Кого вы позовете?

— Сержанта.

— Хорошо, позовите его; этого именно я и просил у вас.

За дверью послышался грубый смех.

“Положительно, — сказал себе Шульмейстер, — нет никакого сомнения. Я поручен восьми людям, которые привели меня сюда, и деревенский гарнизон, если только он есть, остается безразличен к их действиям“.

После некоторого молчания Шульмейстер пробормотал так, чтобы его услышали, не заметив, что он это делает нарочно:

— Все равно я окоченел! Если бы была возможность достать немного водки, я заплатил бы хорошо!

Часовой не ответил. Шум, произведенный ружейным прикладом, положенным внезапно на землю, позволяя предполагать, что перспектива утреннего возлияния вина бесконечно прельщала часового. Может быть, желание, выраженное узником, соответствовало давно лелеянным тайным надеждам тюремщика? Может быть, он нечаянно в нем пробудил усыпленную жажду? Во всяком случае невозможно обмануться: часовой жаждал выпить.

Шульмейстер представил ему на одно мгновение мечтать, и ничего более не говорил. Когда он нашел, что солдат созрел для новой попытки к подкупу, он принялся снова говорить, как бы сам с собой.

— Какой я дурак! Слишком рано, чтобы достать выпить. Все жители, должно быть, еще спят. Подождем!

Тяжелые шаги приблизились к двери, к которой Шульмейстер приложил ухо. Голос часового внезапно сделался до невозможности нежным, и через щель двери слышались следующие слова, которые Шульмейстер слушал с опьянением.

— Если у вас есть деньги, чтобы заплатить, то, может быть, удастся достать вам бутылку водки. Хозяин дома только что проснулся.

— Благодарю, товарищ! — отвечал украдкой узник, — но я поразмыслил, что могу подождать. Полноте! Я не хочу, чтобы вас наказали.

Это притворное благоразумие раздражило жажду часового.

— Меня не увидят. Бесполезно стесняться.

— Но если придут вас сменить в это время? — возразил хитрый Шульмейстер.

— Ранее, как через час, не придут; у нас есть время.

— Ладно! Вы честный молодец! Я согласен. Будьте внимательны, я пропущу под дверь золотую монету, и вы отправитесь искать нашего хозяина. Возьмите все, что есть лучшего в его погребе, заплатите ему, а мелочь оставите себе за труды.

Если бы стены имели глаза, то они служили бы в особенности для заключенных, которые настороже от малейшего шума. Шульмейстер видел сквозь дверь, как его караульный наклонился к порогу, он видел

этот жест лакомки, с каким солдат искал блаженную монетку, и озадаченное лицо солдата, когда, спустя несколько минут, ничего не показалось из-под двери.

— Ну, что же! — сказал грубый голос. — Торопитесь! Я не нахожу...

— Закраина камня мне препятствует пропустить монету. Постарайтесь повернуть за угол лацуги, чтобы подойти к окну.

— Не могу, на углу забор...

— Черт! — сказал Шульмейстер, который только что заметил этот забор, но маневрировал осторожно, чтобы достичь цели. — Тогда полуоткройте дверь, это проще всего. С вашим ружьем и саблей вы можете быть спокойны. Хотел бы я знать, как можно спастись бегством отсюда.

Молчание. По всей вероятности, в темной совести тюремщика происходила борьба между долгом и страстью. Открыть тюрьму — это было дело важное. Но не выпить немножечко водки было очень печально!.. У этого бедного черта, которого держали под замком, в общем было не очень злое лицо. Затем, если бы он хотел удрать, то встретил бы достаточно внушительный отпор, ноги и руки настолько сильны, что сумели бы ему помешать.

Шульмейстер остерегался вмешиваться, чтобы ускорить поражение добродетеля. Он удовольствовался тем, что громко вздохнул, как бы отказываясь убеждать своего собеседника, и с шумом удалился от двери к своей скамье.

Едва он успел сесть, как ключ еле слышно повернулся в замочной скважине. Кусок железа, служащий замочным языком, скользнул, немного заскрипев.

Быть заключенным, видеть, как открывается дверь, и не броситься к выходу, не двигаться! Повернуть только слегка голову в сторону свободы! У Шульмейстера хватило этой храбрости. Впрочем, как ему было не иметь ее? Колосс, вооруженный с ног до головы, выпрямившийся перед ним, наверное, без труда одержал бы над ним победу, если бы он вздумал смело напасть на него.

— А! Это вы! — сказал он, заметив тюремщика.

Он протянул солдату золотой, который держал в руке приготовленным.

— Вы хорошо сделали, что вверились мне!.. Теперь идите скорее за бутылкой, или, так как

будет необходимо меня запереть снова, вследствие чего мы не можем пить вместе, то возьмите их две. Вот вместо одной две монеты. Это все, что у меня есть, но к чему беречь их?... Не стоит думать о завтрашнем дне.

Солдат грубо захохотал; очевидно, он принял это за шутку. В тот момент, как он выходил, унося деньги, Шульмейстер его окликнул:

— Слушай-ка! Постарайся принести мне и стаканчик, я терпеть не могу пить из горлышка.

— Я возьму их два, — отвечал солдат, — и мы чокнемся... с каждой стороны двери.

Он ушел. Тюрьма заперлась. Грубый кусок железа снова вошел в замочную коробку, заржавленную, как и он. Слышно было, как слегка прозвучало дуло ружья, задев за косяк двери, куда часовой поставил его удаляясь. Затем снова воцарилось молчание.

Шульмейстер поднялся, стал прислушиваться и снял свою меховую шубу, которой он покрылся, как одеялом, и лег на землю. Он оставался неподвижен.

Спустя несколько времени, дверь снова отворилась, и часовой вошел, держа в руках бутылку, прикрытую стаканом. Он не мог удержаться от удивленного жеста и спросил:

— Вы больны?

— Да, немного, но если вы нальете мне водки, то я думаю, что стаканчик мне поможет. Вероятно, это от усталости и холода...

— А затем тоже от волнения, гм?... О! Вы можете сознаться: вам не от чего краснеть. Вот, пейте.

— А вы?

— Не заботьтесь обо мне, я оставил бутылку там спрятанной в углу.

— Я не хочу пить один!..

Солдат не заставил себя упрашивать. Он вышел за стаканом и налил из бутылки узника полный большой стакан, которому тотчас же оказал честь. Шульмейстер, со своей стороны, выплеснул водку на землю и спросил снова полный стакан, что обязывало тюремщика тоже выпить.

Четверть часа спустя солдат был пьян и уходил спотыкаясь, чтобы отведать вторую бутылку. Когда три четверти ее было выпито, он уснул, падая, как

безжизненная масса. Тогда Шульмейстер расстегнул португепю пьяницы и снял с него мундир, "чтобы он его не стеснял". Он уложил его на землю, носом к стене, чтобы он отдохнул, и покрыл его шубой... так как он мог простудиться.

После этого он переоделся гренадером Оффенбургского полка, исключая панталоны, которые он не успел переменить. В таком виде он вышел с заряженным ружьем, с лядункой на боку и шапкой на голове. Заперев дверь на два оборота, он бросил ключ за забор и медленно удалился.

Но через несколько шагов ему пришла мысль. Он вернулся к запертой двери и разбросал по земле, в стороне, противоположной той, по которой он рассчитывал идти, с полдюжины монет, в воспоминание мальчика с пальчика и чтобы сбить с толку патруль.

Затем он поспешно направился к долине.

VII

Родеку удалось в продолжение нескольких часов скрывать от Берты настоящую причину отсутствия сына. Наступил день. Солдаты, овладевши домом ночью, получили новый приказ, такой же таинственный, как первый, и внезапно удалились. Они двинулись на неприятеля, который, как говорили, сам переменил место. Все это время молодая женщина, одолеваемая продолжительной усталостью, еще спала. Только после удаления солдат она открыла глаза и тогда естественно предположила, что любопытство Ганса удерживало его вдали от нее. Родек предоставил ей этому верить.

Со своей стороны Лизбета успела задержать материнское беспокойство своей милой болтовней, не понимая окружающей печали.

Но утро прошло, а Ганс не возвращался. Невозможно было пуститься в путь без него, чтобы добраться до города. Берта сказала об этом Родеку, удивляясь несколько его хладнокровному отношению к отсутствию ребенка. Позавтракав остатками провизии, она уложила Лизбету для послеобеденного отдыха.

Тогда Берта почувствовала внезапно, что ее охватывает смертельный страх. Можно было бы сказать, что юная доверчивость девочки единственно спасала

Берту так долго от несчастья, и эти два закрывшиеся голубые глаза оставили теперь ее без мужества. Кроме того, Родек был, очевидно, смущен. Он не знал, что ему более говорить для успокоения Берты. По мере того, как время бежало, он чувствовал, что его смятение увеличивается, и первый раз в жизни он ощутил ужасное чувство угрызения совести.

Как рассказать, в какое приключение он вверг Ганса? Как признаться, что он, ветеран вандейских войн, не побоялся послать одиннадцатилетнего мальчика на большие дороги, ночью, без сожаления к его слабости и к его незнанию опасности?

Налицо две армии, две гигантские, страшные, грубые силы, бросающиеся друг на друга, и между ними этот маленький мальчик, совсем одинокий, незащищенный, идет слепо к неизвестным друзьям... вот какое совершил он преступное сумасшествие, минутное заблуждение...

После того, как он взял на себя защиту этой матери и ее двух детей против всех, ему надо теперь объяснить, зачем и как он преступил клятву, поставив таким образом на свое место одного из тех, кого ему доверили.

Чтобы извинить себя в своих собственных глазах, Родек сначала рассчитывал на скорое возвращение ребенка после тщетной попытки исполнить свою миссию. Но теперь слишком очевидно, что добровольно или силой Ганс был увлечен далеко от дома, и Бог знает, когда он может возвратиться.

Окружающее спокойствие, глубокое молчание этой покинутой деревни, где он с утра делал напрасные короткие прогулки, произвели в нем какое-то оцепенение. У него не было более смелости успокоить Берту, и он не решался даже говорить более с ней.

Высшим мотивом для ужаса Берты послужило то обстоятельство, что она, наконец, прочитала беспокойство на лице Родека. Насколько она была спокойна и терпелива до тех пор, настолько теперь она позволила отчаянию господствовать над ней.

Она тотчас же предалась наихудшим предположениям: Ганс не возвратился, Ганс, должно быть, убит!

И нежное создание тотчас выказало весь жар своей привязанности. Может быть, раньше, она не знала, до какой степени любила это маленькое, доброе, от-

важное, прямодушное существо, в котором снова жили исчезнувшие души.

Теперь она это знала и чувствовала. Ее сердце разрывалось на части при мысли о возможной потере, как будто все фибры ее собственного тела были даны ей из его существа, как будто она передала ему свою кровь. Где он был? Что он делал? Она хотела все знать, и ее просьба, заглушаемая слезами, взволновала Родека. Видя ее плачущей и молящей, старик задрожал от жалости.

В конце концов он сказал ей все.

Он рассказал ей о насилии солдат, о позоре, нанесенном его седым волосам, о его гневе и задуманном отомщении. Наконец он сознался ей в безумной мысли, слишком легко постигнутой и слишком скоро принятой, отправить к французам этого ребенка, пылкие глаза которого советовались с его глазами.

— Вы знаете, как я люблю вашего миленького Жана! — продолжал он. — Вы знаете, сдержал ли я до сего дня обещание, данное двум бедным умершим, беречь его, пока я жив.. Поэтому вы можете судить о том безумном состоянии, в каком я должен был находиться, когда мне пришла скверная идея толкнуть его на исполнение долга, обязательного не для него. По правде, я еще не знаю, как это случилось. Действительно ли я хотел его ухода? Мне теперь кажется, что другой взял мои глаза, другой радовался, когда Жан, после того, как спасся, невидимый никем, просвистал мне издали о своем освобождении, исчезая в темноте.

Берта больше не плакала. Она смотрела по направлению к деревне, как будто хрупкий силуэт мальчика, бегущего к опасности, мог явиться перед ней. Она протянула руку своему старому другу, который пожал ее.

— Вы правы, добрый Родек, — сказала наконец ему Берта. — Богу угодно, чтобы наш дорогой малютка возвратился! Но не вы сказали ему отправиться. Видите ли, есть минуты, когда существа, которые более не принадлежат к этому миру, находят средство говорить с теми, кого они любили! Этого хотел, должно быть, его отец, который знает, чего мы не знаем, и видит, чего мы не можем видеть... Доказательство, что он говорил вашими глазами; доказательство, увы, что он радовался, видя, как его мальчик выказывает

себя храбрым до безумия, рискуя разбить нам сердца. Это не мешало нам сегодня вечером назвать Жаном того, кого еще вчера мы называли Гансом!...

Суеверный бретонец побледнел, услыша эти великодушные слова. Тонкая мысль Берты подкрепила его; его печаль была та же, но угрызения успокоились. Прежде всего он, может быть, совсем не виноват, так как никто не смеет утверждать, что живущие в наших воспоминаниях освобожденные души, которые нас сопровождают, пока мы живем, во все время пути, не знают средства говорить иногда с нашими пленными душами!...

Берта была в отчаянии от мысли, что у нее теперь вместо одного существа из троих двое подвергнули всю свою жизнь самым ужасным испытаниям. Она медленно приблизилась к Лизбете, еще лежавшей в постели.

Крошка раскрыла глаза. Она прежде всего удивилась новой обстановке, приветствовавшей ее пробуждение. Но вскоре она улыбнулась, как только снова увидела синее небо и услышала через полуоткрытую дверь обыденное пение птиц на деревьях. Она обняла рукой Берту и тотчас же спросила о брате.

— Ты не увидишь его сегодня, моя дорогая, — сказала ей бедная женщина, скрывая свое горе. — Он не возвратился!...

— Где же он?

— Я думаю, что он отправился смотреть солдат.

— О, как он, должно быть, доволен!..

И Лизбета принялась хлопать в ладоши, уже счастливая от предполагаемой радости брата. Затем она села на кровать и серьезно спросила:

— Не правда ли, что мальчики очень любят солдат?

— Но... да, крошка.

— Все мальчики? Все равно?

— Почему ты спрашиваешь меня об этом?

— Я скажу тебе, что Ганс любит их больше, чем все другие мальчики.

— Ты думаешь?

— Еще бы! Он всегда хочет быть с ними. Однако скажи, он слишком мал, чтобы иметь ружье?

— Конечно, он слишком мал.

Лизбета немного поразмыслила, но не долго — она

никогда долго не думала, — и сказала с восхитительной добротой:

— Не надо ему говорить, что он слишком мал! Я уверена, что это его опечалит.

— Будь спокойна, дорогая! — ответила Берта, которая была не в состоянии удержаться, чтобы не залилась слезами. — Увы! Я не скажу ему более никогда.

Лизбета, испуганная этим непонятным горем, сначала побледнела, затем через секунду порозовела.

— Но... да, мама, ты ему скажешь, сейчас же, если хочешь! Посмотри, вот он!

Берта повернула голову и увидела своего маленького мальчика. Он стоял улыбаясь в дверях. Она громко вскрикнула. Ее крик был раздирающим, как крик горя.

— Жан!

И, поспешно бросившись перед ним на колени, она покрывала его поцелуями.

Тогда раздались глухие выстрелы. Все рамы звенели, дом затрясся, и в то время, как Лизбета, вся в слезах, бросилась в объятия Берты, Ганс, с раздувающимися от гордости ноздрями, стоял перед дверью, подперев бока, и созерцал начавшуюся битву.

VIII

Это-то и есть сражение? Это?

Какая разница была между действительностью и тем, о чем мечтало романтическое воображение ребенка. Все, происходившее перед ним, было такое маленькое, смутное, непонятное в необъятности пейзажа, расстилавшегося перед его глазами.

Ганс сидел верхом на седле, позади одного из офицеров главного штаба Мюрата, и военные доспехи казались ему грозными и рыцарскими. Достигнув таким образом близости разбросанных селений, центром и вершиной которых был Вертинген, так как он находился на самой вышине, Ганс попросил, чтобы во время привала его спустили на землю расправить ноги. Тогда у него не было более удержу. Указав издали офицеру свой дом, Ганс пустился через поля. Он теперь убегал от своих друзей, как накануне спасался от палачей.

Во время своего бега мальчик заметил раза два немецких лошадей, привязанных солдатами пикета длинными двойными поводьями. Они смотрели глупо, повесив головы перед остатками фуража. Другие были поставлены позади стены, тогда как их хозяева, тяжелые кирасиры, сидели и ели на земле молчаливыми группами. Далее он видел на покато́й стороне земляного вала, на вершине которого были устроены несколько ведетов, пехотинцев, одетых в белые мундиры и соединившихся большими массами. Они, казалось, ожидали под сенью избранной позиции, куда они взошли в последний момент атаки, еще невидимого неприятеля.

Все это обещало прекрасную атаку, прекрасный штурм, красивое сражение, и ребенок уже представлял себе великолепие близкого зрелища, где столько людей будут играть роль.

Но теперь все, что он заметил с порога дома относительно сражения, была тонкая подвижная линия, возвышавшаяся над беловатым дымком. Она тянулась из внутренней части долины к одному из селений, подле которого Ганс уже проходил. Другой дым, похожий на султаны, быстро рассеявшиеся в воздухе, выходил из ферм и из фруктовых садов, к которым приближались атакующие.

Как мог отгадать Ганс, что каждое из этих тонких облачков, тотчас же исчезающих, скрывало в себе часть смертельного удара?

Как мог он вообразить, что каждое из них было сигналом для нового пустого места в ряду солдат, с которыми мальчик разделял путь?

Вдруг эта темная линия, до сих пор безостановочно двигающаяся вперед, заколебалась, остановилась и затем заметно отодвинулась. Потом она, казалось, раздробилась и разместилась в порядке. Каждый из пунктов, формировавших ее, значительно уменьшился, и она снова двинулась вперед, управляемая более маленькими существами, почти невидимыми от земли. Как можно было предположить, что тот короткий инцидент, едва заметный внимательным и зорким глазом, как глаза Ганса, означал, что великий акт храбрости прославил французскую армию? Начальник эскадрона, Эксельман, тот же самый адъютант Мюрата, который вез ребенка перед собой на седле, только что отдал приказ двумстам драгунам сойти с лошадей и

броситься приступом на деревню вслед за ним. Драгуны тщетно перед тем открывали огонь против засевших в засаду австрийских кавалеристов.

И когда один за другим захваченные дома попали во власть французов, Ганс ничего не видел бы из совершившихся подвигов, если бы не тяжело убегающие из всех еще свободных выходов люди, направляющиеся в его сторону. Лошади без хозяев неслись безумным галопом со всех сторон, запутываясь ногами в висящие поводья и падая. Два эскадрона кирасир герцога Альберта и два эскадрона легкой кавалерии Латура были, однако, разбиты наголову двумя эскадронами кавалерий Мюрата. Но издали этот эпизод представлялся незначительным и, благодаря некоторым деталям, даже довольно комичным.

Так вот что называется войной!.. Гансу это не нравилось. Шум выстрелов достиг ушей, спустя долгое время, как он заметил дым. Это был легкий и тихий треск, менее всего на свете страшный. Отчего все эти солдаты, которых он видел мимоходом очень близко и казавшиеся ему сильными и храбрыми, пустились в бегство из-за такой ничтожности? Почему те, другие, остались лежать на земле, в то время как их товарищи шли вперед?..

Ганс не отдавал себе отчета, что эти, по его мнению, лентяи были мертвы.

Атака инфантерии показалась ему, маленькому зрителю, еще менее достойной производить впечатление. Девять австрийских батальонов, сформировавшихся в одно каре, с одной пушкой в продолжение целого часа подвергались штурму тысячной кавалерии. Они беспрестанно их отталкивали непрерывным батальным огнем. С виду это представлялось безопасной игрой, в которой перед одной линией сдавшихся солдат другие солдаты с поднятыми саблями скакали верхом.

Иногда французские драгуны, предводительствуемые все одним и тем же офицером, которого можно было узнать по его высоким перьям, бросались до штыков, направленных на них. Но далее они не шли. Они в беспорядке отступали, снова выстраивались в некотором расстоянии, однако малочисленнее и снова возвращались. Ганс с удивлением заметил, что их начальник каждый раз появлялся на лошади другой масти, иногда вороной, иногда гнедой, а иногда белой. Как этот ребенок мог знать, что храбрый Эксельман

в последовательных атаках подъезжал так близко к неприятелю, что его лошадь каждый раз была под ним убиваема.

Затем внезапно плотное и сжатое каре, состоявшее из пяти тысяч отборных солдат, казавшихся непоколебимыми на их участке земли, тщетно обстреливаемом волной кавалеристов, рассеялось само собой. Покинув пушки, раненых и мертвых, две тысячи защитников побросали оружие и сдались... Все это случилось потому, что появился маршал Ланн. Ему стоило только пустить позади этой живой крепости колонну гренадер Удино, угрожая неприятелю пресечь всякое отступление, чтобы отбить ее.

Ганс увидел, что эта беспорядочная орда идет в его сторону. В его глазах составлявшие ее люди с минуты на минуту увеличивались. Мальчик теперь мог сказать себе наверно, что скоро они пройдут мимо него. Кто знает, может быть эти остатки полка, приговоренного к гибели, войдут в дом, чтобы защищаться в нем? Теперь только он узнал войну, потому что почувствовал страх.

Он слышал людские голоса и различал лица, искаженные усталостью, гневом и побледневшие от испуга. Несколько беглецов, не имевших более оружия, убегали по различным дорогам, не повинаясь более их начальникам. Другие, многочисленнее, держали еще зажатými в руках ружья, заряжая их по дороге. Если они прямо шли в деревню, то, очевидно, для того, чтобы укрепляться там и сражаться до смерти.

Ганс это не очень хорошо понимал, но около него некто наблюдал тот же спектакль и с той же страстью. Этот некто знал, судил и заботился о мальчике.

Когда кейзерлинги приблизились к Вергингену, непреодолимый кулак старого шуана толкнул его назад. Тотчас же заперлась дверь; тяжелый железный засов был помещен, чтобы ее укрепить. Все ставни уже были затворены, все выходы завалены разными предметами и даже двери, ведущие в противоположную сторону и через которые можно было бы выйти на площадь. Берта и Лизбета были отведены и заперты в низкую комнату, служившую им защитой от пуль...

С той минуты, как Ганс попал в полумрак, под защиту толстой двери, он услышал на дороге шумный

топот неприятеля. Направо, налево, напротив, повсюду происходил дикий концерт. Удары ружейных прикладов, вышибавших окна, заступом копавших бойницы, шумное падение черепиц с сорванных крыш, звон разбитых окон, хриплые голоса, отдающие в топотах приказа, беспорядок и толкотня дополняли эту оргию сражения.

Затем в продолжение нескольких секунд все было тихо!.. Сражающиеся, без сомнения, выбирали свои места, организовывали защиту, заряжали оружие и поджидали французскую колонну.

Она подошла.

Гренадеры "круглые головы" с безжалостной жестокостью озлобленной стихии кинулись в одно и то же время со всех сторон на деревню, как живая пыль, брошенная бурей на дома. Они нападали разом на жилища, унизанные ружейным пламенем, осыпая их непрерывными выстрелами, скользящими по безучастным стенам, увеличивая расщелины в импровизированных валах, проникали в комнаты и убивали всех, кто не сдавался.

Их ловкие руки устраняли препятствия, а сильные плечи вышибали заборы, они взбирались, ударяли, стреляли, кололи пиками, немилосердно убивали и останавливались только тогда, когда неприятель, сложив оружие, признавал за ними победу.

Было разом двадцать штурмов. В соседнем доме с тем, в котором царствовало молчание, двенадцать офенбургских grenадер таким образом сдались маленькому поручику, который один достиг входа в комнату, защищаемую ими до последней возможности. Из четырех человек, сопровождавших офицера, трое упали, пораженные, как громом, последними залпами неприятеля тут же на лестнице. Четвертый и последний, взяв на руку штык, хотел броситься вперед. Поручик остановил его жестом, положив шпагу под мышки, дотронулся до плеча одного из немцев и сделал ему знак сойти. Все двенадцать человек сошли, расстегнув свои портупей и поставив к стене ружья. Оставшийся в живых grenадер взял в руки оружие, когда они дефилировали перед ним. Поручик приказал им подняться по дороге трех раненых солдат, лежавших на ступенях.

Теперь сопротивляться перестали. Победа была полная. Если генерал Мак рассчитывал на прекрасную

дивизию своей армии, побитую французским авангардом, чтобы оправдать на деле достоверность справок, которыми снабдил его Шульмейстер, то его расчет был неверный. Те из австрийцев, которые не были убиты или ранены, попали в плен. Что же касается до селений, находящихся по сию сторону Дуная, то они были захвачены одно за другим, и все их защитники были смяты, а дома обысканы.

Один только дом в Вертингене оставался нетронутым и нейтральным. В то время, как повсюду из окон виднелись огненные фонтаны, его окна были наполовину закрыты. Когда пули сыпались на улицу со всех окружающих фасадов, ни одна пуля не вышла из этих немых стен. Тщетно австрийцы, укрывшиеся в этой деревне, пробовали вышибить его дверь ружейными прикладами, французам не представлялась надобность проникать в него во время борьбы. Другие дома были принуждаемы к молчанию, а этот добровольно молчал.

— Разве там никого не было?

Пока на дороге формировалась колонна пленных, которую направили к Донауверту, а оттуда к границе Франции, офицеры отрядов с удивлением обратили внимание на это безучастное жилище.

Кто-то сказал:

— Надо бы посмотреть, что там такое. Ничто не доказывает невозможности найти там еще кое-какую добычу.

— Это правда, — ответил чей-то голос.

— Для чего? — возразил другой. — Мы не найдем там наверно никого, кроме, пожалуй, нескольких женщин, которые обмерли от страха в глубине погреба.

В это время случайно подошел генерал Эксельман. Ему рассказали, в чем дело.

— Нет никакого сомнения, — заметил он тотчас. — Мы не должны оставлять ни одной лачужки, не обыскав ее. Отправимся.

Он сошел с лошади и постучал рукояткой шпаги в щеколду двери.

Тотчас же послышался сильный шум старого железа внутри дома, как будто живущие в нем только и ожидали этого сигнала. Затем отняли от двери железный затвор, открыли засов и повернули ключ. Дверь медленно открылась в то время, как перед ней

взвод солдат приготавливал оружие, чтобы отвечать на возможное нападение.

Но в дверях появился человек с седыми волосами и предоставил солдатам проход. Около него на пороге стоял мальчик.

— А, а! мальчуган! — сказал Эксельман. — Это ты? ... Наконец-то я нашел тебя! Вежливо ты с нами поступил! Почему ты убежал?

— Меня здесь ждали, — ответил Ганс, растерявшись от стольких устремленных на него взглядов.

— Кто тебя ожидал? Этот человек?

— Без сомнения! — возразил мальчик, желавший, чтобы вежливо отзывались об его старом друге. — Без сомнения, прежде всего он, потому что он послал меня предупредить маршала.

— Как, мой любезный, так вам пришла эта идея?

— Я не мог идти туда сам, командир, — степенно ответил Родек, — я был привязан!..

И он взглядом пробежал по толпе белых мундиров, наполнявших улицу.

— Эти люди привязали мне руки и ноги к железной перекладине лестницы.

— Ну, так простите им теперь, мой друг: вы отомщены!..

— Да, — сказал Родек.

— И затем, — прибавил Ганс, — здесь была также моя мать и маленькая сестра, которые не знали, где я нахожусь.

— Прекрасно! В добрый час! — воскликнул весело офицер. — Я вижу, что в этом доме находится прекрасный французский гарнизон в то время, как мы брали штурмом неприятеля. Позвольте мне, друзья мои, войти к вам. Я хотел бы вас поблагодарить от имени всех, которым ваша храбрость оказала услугу.

Родек и ребенок раздвинулись, чтобы принять Эксельмана. В этот момент раздался при въезде в селенье галоп, и послышались веселые возгласы “ура”, которые произвели целую сумятицу... Пленные, толпящиеся по обе стороны дороги, устроили таким образом против своего желания двойную изгородь на пути прибывших. Появился Мюрат во главе своего штаба. Он был великолепен от радости и гордости и, весь сияя золотым шитьем, гарцевал на коне. За ним следовал озабоченный и серьезный маршал Ланн.

Гренадеры при его проезде кричали: “Да здравст-

вует император!“ Он отвечал на их возгласы радушными поклонами, в которых также можно было очень хорошо понять: “Император вас благодарит!“ и “Император будет доволен!“

Он заметил стоящего перед раскрытыми дверями Эксельмана. Храбрый офицер приветствовал его по-военному. Мюрат направил к нему лошадь.

— Командир, вас видели целый день атакующим, — сказал он громко, обращаясь к Эксельману. — Я приехал только, чтобы присутствовать при атаке каре. Маршал Ланн мне сказал, что с сегодняшнего утра вы рисковали двадцать раз вашей жизнью. Зато вы будете иметь честь уведомить о нашей победе императора, доставив ему завоеванные знамена.

Эксельман побледнел от гордости. В свою очередь Ланн вместо приветственной речи послал ему взгляд, полный расположения, и дружески пожал ему руку.

— Что вы там делаете? — спросил Мюрат. — Каково! Ведь это мой маленький друг сегодняшнего утра ... и мой оффенбургский хозяин с ним. Добрый день, господин Родек! Вы очень скоро уехали из дома, две недели тому назад. Я не знал, что мне придется иметь удовольствие найти вас с императорской армией в день победы!..

— Не всегда делаешь, что хочешь! — проворчал старый шуан.

Но он был прерван появлением Берты, вышедшей неожиданно из своего убежища. Она услышала мирный разговор, последовавший за сумятицей сражения.

— Как! Вы тоже, сударыня!.. — воскликнул, заметив ее, Мюрат.

И, забыв на минуту величие своей роли, он сошел с лошади, не дождавшись, чтобы взяли поводья. Все были поражены, увидав, с какой благосклонной поспешностью направился он к грациозной незнакомке с золотистыми волосами. Она стояла в дверной раме, как святое изображение материнства, так как несколько испуганная Лизбета прижалась к ней.

Все незаметно отодвинулись.

Мюрат увлечен действительной радостью или инстинктивной симпатией, соединившейся с гордостью от мысли, что является победителем перед этой женщиной, выбранной им между всеми за ее красоту, и он вступил на порог, протянув руку.

Но перед ним выпрямился Родек с серьезным ли-

цом и суровыми глазами. Казалось, им овладела упорная решимость. Он сказал очень тихо, смотря на принца:

— Господин маршал, прошу извинения, но здесь место убежища. Прошу не входить.

Удивленный Ганс поднял голову на своего старого друга. Берта побледнела и отодвинулась в глубину коридора. Мюрат скрыл под взрывом смеха нарождающийся гнев и спросил:

— Что вы такое говорите, любезный?

— Я говорю, господин маршал, что однажды я честно принял некоторых гостей, но имел повод жаловаться на них и поклялся перед Богом не оказывать более гостеприимства никому в моем доме, пока мне поручено блюсти души.

— Хорошо ли вы соображаете, что говорите? Знаете ли вы, что я могу вас немедленно задержать, посадить в тюрьму и занять ваше место здесь?

— Я знаю, что вы, маршал, властны меня погубить... Но я думал, что сражение окончено!

— Наконец, отказываете ли вы мне, м н е про- никнуть в этот дом?

— Отказываю.

Эксельман сделал шаг вперед и тихо сказал одно слово своему начальнику, который тотчас произнес, обращаясь к Родеку:

— Вот этот офицер говорит, что в тот самый момент, как я подъезжал к деревне, вы приглашали его войти к себе. Так, значит, вы исключаете специально меня?

Родек, не говоря ни слова, склонил голову.

— Гром и молния! — сказал Мюрат.

В своем негодовании он повернулся, как бы приглашая офицеров быть свидетелями нанесенного ему оскорбления и очевидно позволяя им отомстить. Но он с удивлением заметил, что все удалились. Ланн дал открыто приказания Удино, начальнику гренадер, сформировать и отправить колонны пленных. Адъютанты и ординарцы того и другого маршала не охраняли более двери, где начальник, узнанный отрядом, разговаривал со знакомыми... Даже Эксельман удалился на несколько шагов от него.

С этих пор его тщеславие было спасено, но не была спасена его гордость. Он перевел глаза на Родека и сказал ему с тоном царствующей особы:

— Не правда ли, эта шутка, и вы сейчас же перестанете шутить?...

В ответ вандеец распростер обе руки в ширину двери.

Но его обращение вдруг изменилось, и Мюрат увидел странную вещь. Ганс, до сих пор молча созерцавший обоих противников, внезапно сказал:

— Не с ума ли ты сошел, Франц? Что ты делаешь?..

Его глаза устремились на глаза старика с такой выразительностью и печальным порицанием, что его взгляд стоил длинной речи. Впечатление было поразительно. Как будто приказ с того света достиг его ушей, обе руки упали, и Родек отошел к стене.

Без сомнения, ребенок думал выразить только свое удивление, при виде того, как обращаются с человеком, к которому еще накануне он бегал искать помощи. Но старый слуга его отца совершенно иначе думал. По его мнению, это было верховное решение повелителя, заявленное одним словом, одним жестом. Это было отречение от всех злопамятств, забвение всех обид; это был приказ предложить гостеприимство, хотя бы даже этому человеку! Родек сказал себе: такова воля того, которому он дал обет всегда повиноваться, и который мертвый имел еще глаза, чтобы смотреть на него, и голос, чтобы говорить с ним.

Родек неподвижно стоял у стены, смотря с беспокойным и нежным повиновением на маленькое существо, в котором с этих пор жила душа его предков. Мюрат живо успокоился и насмехаясь приписал недавним волнениям осажденных умственное замешательство, свидетелем которого он был. Мюрат переступил порог. Он прошел мимо хозяина, который даже не видел его.

Наконец, принц очутился в присутствии Берты.

Молодая женщина стояла перед ним с опущенными глазами, держа в своих руках руку Лизбеты.

— Так вы не хотели, сударыня, снова видеть меня? — спросил Мюрат тихо.

— Да, — ответила она с твердостью. — Да, господин маршал, я не хотела вас снова видеть. Честный друг, который находится у двери, не посоветовался со мной, прежде чем отказал впустить вас в этот дом; он не прав, но если бы я знала, что вы должны придти, я не осталась бы здесь.

Она подняла глаза и не волнуясь выдержала его взгляд, которым он обнимал ее, как бы лаская.

— Очевидно, говоря со мной таким образом, вы имеете важные упреки? — сказал ей великий победитель с несокрушимой уверенностью в себе самом.

— Простите меня, принц, — ответила Берта, — но я озабочена единственно судьбой тех, кого люблю: моего мужа и моих детей. Остальное на свете не существует для меня.

— Я знаю... Я знаю... Вы уже говорили мне об этом, и я никогда не позволю себе сомневаться в этом. Поэтому я был печально удивлен, когда, возвратившись вечером в жилище, где я оставил вас накануне, я не нашел вас более. Ваше неожиданное отсутствие дало мне мысль, что ваше сердце немного изменилось.

— Напротив, — воскликнула живо Берта, — оттого я и удалилась, что оно не изменилось!..

Как только она так заговорила, краска покрыла ее щеки; она отвела глаза, но тотчас же снова произнесла с печальной улыбкой:

— И я имела успех, господин маршал! Нескольких дней, проведенных с этими детьми, было достаточно, чтобы рассеять навсегда смятение, от которого мне пришлось бы краснеть, если бы оно продолжалось долее. Но оно не оставило во мне даже угрызения, так как произвела впечатление только неожиданности.

— По крайней мере, вы откровенны, — сказал Мюрат с нарождающейся досадой.

— А вы, принц, разве вы тоже не были откровенны?..

Он увидел в этом вопросе, невинно заданном, причину, может быть, надежды. Но в присутствии маленькой девочки, которую Берта держала за руку, было невозможно сказать какие-нибудь любезности или заговорить о любви... Как красноречиво защищать свое дело в двух шагах от этого мальчика и подозрительного старика, который, не слыша его слов, мог наблюдать за его жестами? Его затруднение было так заметно, что невольная веселость проснулась в уме молодой женщины. Она отразилась на ее лице, и в звуке ее голоса был сдержанный смех, когда она добавила:

— Полноте, не мечтайте более, принц! Не мечтайте более никогда! Уверяю вас, в моих глазах испортилось бы высокое мнение, какое надо иметь о

человеке вашего положения, если бы он сказал мне, что серьезно думает, хотя бы одну минуту, убедить меня в своем уважении, дав доказательство своего презрения. Посмотрите мне прямо в глаза... Не правда ли, вы видите, что очарование нарушено? Клянусь вам, что оно не возродится. Ваша роль — предводительствовать солдатами: берегите ее! Моя — любить мужа и воспитывать этих двоих детей: я ее сохраню!

Она глубоким поклоном приветствовала наместника Наполеона и сделала вид, что удаляется.

— Знаете ли, что император поручил мне спасти жизнь вашего мужа?.. — сказал Мюрат в ту минуту, когда она хотела исчезнуть.

— Вам?.. Ему?.. Где же он?

— Разве вы не знаете?.. Я думал, что ваш маленький мальчик вам сказал!

Все обернулись к ребенку, лицо которого было искажено ужасным волнением. Ганс молча подошел к своей приемной матери, делая видимые усилия удерживать готовые брызнуть слезы.

— Простите меня, мама Берта! — сказал он наконец. — Я не рассказал тебе, что видел папу Карла сегодня ночью, когда бежал. Я боялся огорчить тебя, рассказав о том. Кроме того, не правда ли, это ни к чему не ведет, так как император послал солдат, чтобы его освободить! Он был арестован, когда я видел его там, у реки... Я прикинулся, будто не знаю его, в ту минуту, когда меня привели к нему, так как он дал мне понять, что с ним жестоко поступят, если я узнаю его...

— Так он с тобой говорил? — спросила Берта сдавленным от слез голосом.

— В конце он говорил со мной! Но сначала он на меня смотрел... И если бы ты знала, мама Берта, какие у него были добрые глаза!... Он был совершенно успокоен. У него было очень веселое лицо. О! Он совсем не боялся... Только, когда я видел императора Наполеона после того, — потому что господин принц Мюрат проводил меня в дом, где он был, — тогда я попросил, чтобы все-таки помешали австрийцам удерживать отца. Не правда ли досадно, что с ними он, а не с нами? И император мне обещал, потрепав по плечу.

Берта сдавливала рыдания, чтобы до конца дослушать рассказ Ганса. Когда он окончил, она стра-

стно прижала его к себе и, посмотрев на Мюрата, сказала:

— Так как же? От вас зависит, маршал, вернуть его мне, что же вы сделали для исполнения приказа императора?

— Я исполнил свой долг, сударыня, весь свой долг. Клянусь честью солдата и...

— Так вы знаете, где мой отец?.. — прервал его голос Ганса.

Другой на месте Мюрата был бы в затруднении от такого точного вопроса. Он же нисколько не смутился.

— Подождите! — сказал он.

Повернув к двери, он позвал:

— Командир Эксельман! Войдите, пожалуйста, и скажите, ничего от нас не скрывая, что вы узнали сегодня относительно узника, относительно тайного агента императора по имени Шульмейстер, которого я поручил вам разыскать... Вы знаете? Увы, я опасюсь, что немного вы скажете нам о нем.

— Простите меня, маршал, — ответил Эксельман. — Я узнал, что этот агент был отправлен в Гогенрейхен и заперт в этом селении под хорошим надзором. Между нашими пленными есть люди, которые смотрят на него, как на дьявола во плоти, так как он нашел возможность убежать от них сегодня утром, чуть свет, сняв с одного из них мундир. С этих пор невозможно знать, что случилось с ним.

— Вы уверены в том, о чем докладываете?

— Без всякого сомнения, маршал: я спрашивал сам его караульных, и я поднял — именно, это самое подходящее слово — часового мертвецки пьяного, у которого Шульмейстер, уходя, унес мундир и оружие.

Ганс захлопал в ладоши и с восторгом подпрыгнул от радости.

— Я знал прекрасно, что он уйдет! — воскликнул он.

— Но не было ли ему необходимым, выходя из Гогенрейхена, пройти через страну, где находились большие неприятельские силы, и дороги были заняты ими? — спросил Мюрат, обращаясь к офицеру.

— Конечно, господин маршал. Но ничего не должно быть невозможно на свободе для такого молодца, способного убежать из темницы, которую я видел.

— Так вот, сударыня, мои известия, — сказал

Мюрат, оборачиваясь к Берте. — Находите ли вы теперь, что хорошо исполнили желание императора?

— Да!.. Да!.. — ответила она. — Без сомнения, мой муж свободен... И она прибавила едва слышно:

— Но жив ли он?

— Прекрасно, командир, благодарю вас, — сказал Мюрат Эксельману, не имея возможности сдержать нетерпеливое движение.

Он сказал себе: “Вот требовательная женщина, плохо оценившая наши заслуги”.

Но как бы Мюрат ни был фатоват, он, очевидно, угадал, что двойной престиж его могущества и его особы перестал действовать на эту неутешную супругу, в которой он тщетно старался пробудить немой восторг.

Теперь все было иначе, чем в Оффенбурге. Теперь она являлась, окруженная ребятами. Здесь не стоило более искать победы, так как к ней присоединилась целая семья. Он искал теперь благоприятный и достойный случай, когда обстоятельства, или, скорее, логические последствия событий представят ему возможность прилично удалиться.

На пороге появился Ланн. Прекрасное, энергичное и прямодушное лицо Роланда армии произвело тотчас же привычное впечатление, то есть внушительный рост Мюрата казался вульгарным, и роскошь его перьев становилась смешной. Около высокомерного богатыря стоял простой безукоризненный начальник. Этот истинный герой носил одежду для сражения, а тот фатоватый покоритель сердец — парадный костюм. С одной стороны была война, с другой — представление.

— Я думаю, что мы теряем время, принц, — сказал Ланн, учтиво дотрагиваясь рукой до своей большой треуголки. — Во всяком случае, если вы намерены остановиться здесь, то, кажется, мне необходимо продолжить путь. Мой первый дивизион должен быть уже далеко отсюда, и я не хотел бы допустить его идти без готовой поддержки.

— Без сомнения!.. Без сомнения!.. — ответил Мюрат. — Отправляйтесь, дорогой маршал, я считал вас уже уехавшим.

— Отправиться? Не предупредив вас?

— Это только разговор! Но разве не было решено, что вы будете действовать, не обращая внимания на

меня?.. Впрочем, будьте спокойны, я также отправляюсь.

— Сударыня, приветствую вас! — сказал только Ланн в ответ.

Он потрепал ребенка по щеке, слегка хлопнул его ладонью и вышел, не прибавив ни слова.

Он был взбешен.

IX

В последнюю минуту расставанья с Бертой к Мюрату вернулось настолько его обычное хорошее расположение духа, что он мог вежливо распространиться с простой и гордой, честной женщиной. Очевидно, его счастье победителя изменило ему относительно ее.

— Зачем же нам возвращаться теперь в Ульм, раз там нет более Шульмейстера?

Таким вопросом обменялись Берта с Родеком, лишь только остались одни с детьми.

Но если туда не ехать, то где же поселиться до тех пор, пока события примут положительный оборот? Франц был близок к тому, чтобы посоветовать просто возвратиться в Оффенбург. Молодая женщина склонялась к тому, чтобы не покидать Вертингена, где, по крайней мере, они будут иметь известия. Хотя совета Ганса не спрашивали, но он осмелился высказать свое мнение.

— Почему, мама Берта, не следовать за солдатами, если мы уверены, что отец пойдет в их сторону?

Пока эти три партии колебались решением, слышались стуки в дверь. Их звук был странен и выразителен в безмолвной тишине, последовавшей за недавней сумятицей.

Родек направился к входу. Только он открыл дверь, как раздался его гневный голос:

— Вы! Это вы! Как смеете вы появляться здесь? На кого это он так кричит? Кто там такой?

Ганс быстро пошел по коридору и не успел окинуть глазами личность, с которой разговаривал его старый друг, как выразил ей порыв радости.

— Позволь ей войти, мой добрый Франц, — сказал он. — Если бы ты знал!.. Это она меня спасла... Это она схватила за горло человека, кото-

рый хотел расстрелять отца Карла. Она удерживала этого человека в то время, как я бежал изо всех сил от него. И знаешь ли: у него была сабля, а она руками боролась с ним. О, позволь ей войти!.. Идите, идите, г-жа Доротея, пусть мама Берта вас поблагодарит.

Еще раз Родек повиновался своему молодому господину, но положительно он ничего более не понимает! Теперь она спасла Шульмейстера и Ганса после того, как выдала целую семью, употребив во зло их гостеприимство. Боже мой, что же это все означает?..

Бледная растрепанная Доротея дала себя отвести за руку ребенку в комнату, где она провела несколько часов последней ночи... Она снова увидела вокруг себя предметы, которые так недавно бросились в глаза, и, казалось, была поражена ужасом от того, что они напомнили ей.

Когда она очутилась перед Бертой, смотревшей на нее с удивлением, но без ненависти, то вместо того, чтобы сесть на стул, который Ганс подвинул ей, она упала на колени перед Бертой. Она оставалась в таком положении, измученная, унылая, охваченная ужасом, как трагическая фигура, раскаявшаяся в преступлении.

— Не правда ли, сударыня, вы меня узнали? — сказала она наконец хриплым голосом. — Впрочем, ваш сын узнал меня, а также друг вашего мужа, который не хотел меня впустить... Уверю вас, он не прав! Я не злая женщина, я только бедная девушка. Надо, чтобы я вам сказала, для чего пришла. Сначала я не хотела; но я хорошо подумала: иначе сделать нельзя. Умоляю вас, выслушайте меня, так как мне очень трудно говорить. Я знаю прекрасно, о чем вас должна известить, но я так слаба, так слаба! Это потому, что я много ходила последнюю ночь, а также, я думаю, потому, что ничего не ела.

— Возможно ли! — воскликнула Берта. — Ганс, сейчас же сходи...

— Нет, сударыня, нет, благодарю вас, я не буду в состоянии, я не захочу есть. Выслушайте только меня, умоляю вас! Только этой милости прошу у вас...

— Но, добрый Родек, посмотрите на нее! — возразила Берта. — Уверю вас, несчастная сейчас потеряет сознание от голода.

— Выслушайте! — сказала Доротея, наполовину выпрямляясь, как бы в доказательство, что она еще сильна. — Я не могу терять мгновения. Мне поручено господином Карлом Шульмейстером... Ведь вы его жена, не правда ли?

— Да, да!.. — ответила Берта, забыв на мгновение жалость к несчастной, находившейся перед ней. — Да скажите скорее! Вы видели его!

— Я его видела!.. На нем был мундир немецких гренадер. Ружье он бросил, чтобы скорее бежать, как он мне сказал... Он меня увидел лежащей на земле, на которую я упала, изнемогая от усталости... Он узнал меня, — надо вам сказать, что я его встретила случайно в Ульме. Тогда он сжалился надо мной и помог подняться. Он дал мне выпить немного водки, находящейся в его фляжке... Я сказала ему, где вы были с вашими детьми, и что я видела вас. Вероятно, он уже об этом знал, потому что не был удивлен. Он хотел бы придти сейчас же к вам, но это было невозможно, потому что сзади его находились солдаты... Он раздумал и вот что решил, поручив мне сообщить вам...

На этом Доротея принуждена была прервать рассказ. Кто-то ее дернул слегка за рукав. Она повернула голову и увидела маленькую Лизбету, которая, покрасневшись, протягивала ей кусочек хлеба, в три пальца шириной: остаток тартинки, хранившейся для нее.

На глазах бедной девушки показались слезы. Доротея, ничего не сказав, сделала движение головой, и бледная улыбка обрисовалась на ее губах; она выразила ее благодарность. Но Доротея не съела хлеба, она держала нежный подарок маленького создания в своей ладони с благоговейной жадностью, какая бывает у религиозных женщин, когда они получают кусочек просфоры.

При виде, как этот маленький ребенок смотрит на нее милостиво, к Доротее возвратилось мужество. Ею внезапно овладело бесконечное желание еще более жертвовать собой и навсегда, не только ради человека, оказавшего ей добро, но также для счастья тех, кто был близок к ее герою, и которых она сначала инстинктивно ненавидела.

— Господин Шульмейстер, — снова заговорила она, — объяснил мне, что его миссия обязывает его

как можно скорее отправиться в одну деревню, называемую Эльшинген; она находится недалеко отсюда.

— Эльшинген!.. Да, правда: это название находилось в письме, которое я передал императору...

Вмешательство маленького мальчика вызвало на губах Доротеи еще раз улыбку восторга и нежности. Она продолжала доверчивее, чувствуя, что лучше понята:

— Он мне сказал: “Не успокоите ли вы мою дорогую жену относительно моей судьбы, так как она совершила безумие, следуя за мной, — простите меня, сударыня, но ваш муж сказал эти слова — не уведомите ли ее, что она найдет меня там? Она будет в большей безопасности в этой стороне, чем где мы находимся. Без сомнения, там спокойнее... Тогда я отправилась сюда, и если вы хотите, сударыня, я провожу вас и малюток в Эльшинген.

При этом предложении в ее голосе была слышна мольба. Смиренная и трогательная, она вымаливала, как единственную милость, которой она достойна, позволение быть преданной.

Ее лицо озарилось радостью, когда она увидела, как Берта встала, чтобы подойти к ней, и ее глаза наполнились слезами, когда молодая жена Шультейстера протянула к ней руку, чтобы ее поднять... Она едва не сошла с ума от счастья, когда следующие слова достигли ее ушей, в которых зашумела кровь большими звучными волнами:

— Благодарю за ваше предложение! Я от всего сердца его принимаю, и мы тотчас отправимся.

.

Таким образом со всех сторон спешили развязкой длинной и ученой комбинации, завязавшейся вокруг эпизода войны.

Благодаря содействию подчиненных и случайным событиям, Наполеон мог продолжать, насколько возможно долго, гениальный обман. Теперь обнаружилось с одной стороны нападение, а с другой исчезновение иллюзий австрийских генералов.

Потоки вооруженных людей, идущих одни подле других или друг против друга, распространялись по дорогам. Наконец в Ульме всполошились и, не видя еще совершенно ясно причин движения неприятеля,

поняли, однако, что происходит нечто странное... Когда догадались сравнить события и сведения, рассказы шпиона и события войны, то ничто не согласовывалось между собой. Из предосторожности следовало бы направить несколько дивизий к пунктам прохода, где должно было бы последовать отступление в случае неудачи армии.

Ежедневно отправляли новые полки на эту охранительную линию, ставшую в действительности настоящей боевой линией. Эти полки повсюду сталкивались с силами, превосходящими их количеством, или, по крайней мере, настолько доблестными и счастливыми, что приходилось без остановки отступать перед ними.

Бесповоротно потерянное время не возвратилось; куда ни шли австрийские войска, всюду были опережены. 11-го октября в Гаслахе даже случилась для генерала Мака стычка.

В этот день двадцать пять человек под начальством эрцгерцога Фердинанда очутились в присутствии шести тысяч французов под командой генерала Дюпона из корпуса Нея, одиноко покинутых на левом берегу реки, без возможной помощи товарищей. Малейшая атака, которую австрийцы провели бы посерьезнее, могла опрокинуть их в Дунай. Однако произошло противное. Вместо того, чтобы допустить атаковать себя, Дюпон атаковал сам. Он захватывал по несколько раз деревни и леса, которые у него оспаривали, атаковал, отступал, возвращался. Все это он проделывал так удачно, что к концу дня остался победителем и увел с собой пять тысяч пленных: почти столько же, сколько у него осталось солдат.

Однако храбрый Дюпон утром 12 числа не занимал более той же позиции. Он благоразумно решил, что бесполезно подвергаться вторично неравному сражению. Об этом известили Мака. Последний, наконец, уступил советам своих более прозорливых генералов, принял меры, чтобы воспользоваться ошибкой Мюрата, оставившего одну дорогу открытой.

Он послал генерала Ризе силой занять местечко и монастырь Эльшинген. Там скрывались уже два дня все жители округа, испуганные столькими сражениями, которые происходили на их глазах, и множеством битв, еще предстоящих впереди. Он поставил в оборонительное положение подходы к этим громадным

как можно скорее отправиться в одну деревню, называемую Эльшинген; она находится недалеко отсюда.

— Эльшинген!.. Да, правда: это название находилось в письме, которое я передал императору...

Вмешательство маленького мальчика вызвало на губах Доротеи еще раз улыбку восторга и нежности. Она продолжала доверчивее, чувствуя, что лучше понята:

— Он мне сказал: “Не успокоите ли вы мою дорогую жену относительно моей судьбы, так как она совершила безумие, следуя за мной, — простите меня, сударыня, но ваш муж сказал эти слова — не уведомите ли ее, что она найдет меня там? Она будет в большей безопасности в этой стороне, чем где мы находимся. Без сомнения, там спокойнее... Тогда я отправилась сюда, и если вы хотите, сударыня, я провожу вас и малюток в Эльшинген.

При этом предложении в ее голосе была слышна мольба. Смиренная и трогательная, она вымаливала, как единственную милостыню, которой она достойна, позволение быть преданной.

Ее лицо озарилось радостью, когда она увидела, как Берта встала, чтобы подойти к ней, и ее глаза наполнились слезами, когда молодая жена Шульмейстера протянула к ней руку, чтобы ее поднять... Она едва не сошла с ума от счастья, когда следующие слова достигли ее ушей, в которых зашумела кровь большими звучными волнами:

— Благодарю за ваше предложение! Я от всего сердца его принимаю, и мы тотчас отправимся.

Таким образом со всех сторон спешили развязкой длинной и ученой комбинации, завязавшейся вокруг эпизода войны.

Благодаря содействию подчиненных и случайным событиям, Наполеон мог продолжать, насколько возможно долго, гениальный обман. Теперь обнаружилось с одной стороны нападение, а с другой исчезновение иллюзий австрийских генералов.

Потоки вооруженных людей, идущих одни подле других или друг против друга, распространялись по дорогам. Наконец в Ульме всполошились и, не видя еще совершенно ясно причин движения неприятеля,

поняли, однако, что происходит нечто странное... Когда догадались сравнить события и сведения, рассказы шпиона и события войны, то ничто не согласовывалось между собой. Из предосторожности следовало бы направить несколько дивизий к пунктам прохода, где должно было бы последовать отступление в случае неудачи армии.

Ежедневно отправляли новые полки на эту охранительную линию, ставшую в действительности настоящей боевой линией. Эти полки повсюду сталкивались с силами, превосходящими их количеством, или, по крайней мере, настолько доблестными и счастливыми, что приходилось без остановки отступать перед ними.

Бесповоротно потерянное время не возвратилось; куда ни шли австрийские войска, всюду были опережены. 11-го октября в Гаслахе даже случилась для генерала Мака стычка.

В этот день двадцать пять человек под начальством эрцгерцога Фердинанда очутились в присутствии шести тысяч французов под командой генерала Дюпона из корпуса Нея, одиноко покинутых на левом берегу реки, без возможной помощи товарищей. Малейшая атака, которую австрийцы провели бы посерьезнее, могла опрокинуть их в Дунай. Однако произошло противное. Вместо того, чтобы допустить атаковать себя, Дюпон атаковал сам. Он захватывал по несколько раз деревни и леса, которые у него оспаривали, атаковал, отступал, возвращался. Все это он проделывал так удачно, что к концу дня остался победителем и увел с собой пять тысяч пленных: почти столько же, сколько у него осталось солдат.

Однако храбрый Дюпон утром 12 числа не занимал более той же позиции. Он благоразумно решил, что бесполезно подвергаться вторично неравному сражению. Об этом известили Мака. Последний, наконец, уступил советам своих более прозорливых генералов, принял меры, чтобы воспользоваться ошибкой Мюрата, оставившего одну дорогу открытой.

Он послал генерала Ризе силой занять местечко и монастырь Эльшинген. Там скрывались уже два дня все жители округа, испуганные столькими сражениями, которые происходили на их глазах, и множеством битв, еще предстоящих впереди. Он поставил в оборонительное положение подходы к этим громадным

высотам, откуда можно было легко достигнуть равнины Михельсберга и оттуда повелевать Ульмом. Он разрушил деревянный мост на сваях, перекинутый через Дунай. Этот мост служил французам единственным путем, где они могли обеспечить себе переход. Тщательно сделав эти приготовления, генерал Ризе отдал приказание своим офицерам выбрать лучших стрелков в соответствующих корпусах. Вскоре линия ловких стрелков протянулась по берегу, над которым они господствовали, тогда как орудия служили им подкреплением.

Затем стали выжидать.

Х

Едва возвратившись из Аугсбурга, Наполеон приказал дать себе отчет о положении, созданном маневрами Мюрата. Он тотчас увидел, что по ошибке его зятя порвано было одно звено в цепи, которая окружала неприятеля. Он сказал только два слова:

— Это нелепо!

Затем, не теряя времени на бесполезные выговоры, изобретательный ум Наполеона стал искать средство исправить его испорченный план. Для достижения цели в его распоряжении не было более моста, надо было создать таковой.

— Или переделать мост, государь! — сказал Ней.

— Какой?

— Тот, который находится перед нами и плохо разрушен.

— Вы называете его, маршал, плохо разрушенным?

— А то как же! Ваше величество прекрасно видит, что от него остались сваи.

Император повернулся к Нею, посмотрел ему пристально в глаза и улыбнулся. Ней покраснел.

— Если вы это сделаете, то я скажу, что положительно нет на свете человека, равного вам.

Затем, хлопнув его дружески по плечу, прибавил:

— Говорят, что если возьмем Эльшинген, то Ульм будет наш. Хорошо, идите, мой друг, брать Эльшинген; если вы мне дадите его, то я вам дам несравненное ни с чем герцогство.

Ней гордо выпрямился во весь рост и, сбросив свой

тяжелый походный плащ, предстал перед солдатами в полной парадной форме французского маршала, со всеми орденами.

Он встал во главе войска и отдал необходимый приказ, чтобы переход совершился в порядке, как только будет исправлен мост. Затем он указал на инженеров, которые должны были идти первыми, и так как среди других офицеров раздался ропот, то он весело воскликнул:

— Успокойтесь! Для всех будет работа.

После этого он спокойно приблизился к берегу реки.

Тотчас началась усиленная перестрелка.

Наполеон был несколько удивлен, видя, как его храбрый маршал взял таким образом быка за рога и даже не дал себе труда предпринять какой-нибудь маневр для обмана неприятеля относительно истинных его намерений. Поэтому он высказывал заметное беспокойство.

Ней только что потерял некоторых из своих авангардных пионеров в тот момент, когда они показались вокруг первых свай, на берегу Дуная. Повернувшись, чтобы позвать других, он увидел императора, издали посылавшего к нему своего ординарца.

Неужели ему будут указывать, как поступать? Разве его не могли оставить действовать по своей воле?

Он тотчас же остановил все действия; понтонеры-саперы выстроились, как могли. Он поскакал навстречу императору, взбешенный и ожидая урагана.

По дороге Ней встретил посланного к нему адъютанта.

— Приказ императора? — сказал он, останавливая лошадь.

— Да, господин маршал.

— Хорошо!

И, ничего более не спрашивая, он снова пустился галопом, оставив офицера очень недовольным.

Первого, кого увидел маршал, был Мюрат среди пестрой группы, к которой он направлялся. По мере того, как выделялся среди других этот ненавистный для него силуэт, он чувствовал, как в нем все более и более просыпалось воспоминание о недавнем оскорблении. Его гнев, который не мог ничем выразиться

против фатоватого соперника, рос с каждым шагом лошади. Мюрат, ошибки которого теперь приходилось исправлять, казалось, находил удовольствие смотреть на опасность, созданную его неловкостью.

Когда он достиг подножия пригорка, на котором стоял Наполеон, немного впереди своих маршалов и своего эскорта, он созрел для вспышки гнева. Тот, кто его знал, мог опасаться последствий.

— Почему явились вы, маршал? — закричал ему Наполеон, лишь только его голос мог достичь Нея.

— Так как я видел, что ваше величество находит мои действия неудовлетворительными, — отвечал он. — Но такова моя манера: когда из-за ошибки соседа нет другого средства, чтобы выйти из затруднения, надо себя убить, чтобы двинуть вперед армию.

— Полно! Полно!.. Маршал, я не хотел вас останавливать, а только предупредить. Я не хочу, чтобы вас убивали, вы слишком мне необходимы.

Ней находился теперь в трех шагах от императора. Он неподвижно стоял перед ним, не сходя с лошади и очевидно разгневанный.

— Согласно с линией огня, находящейся перед вами, — сказал Наполеон, — я определяю численность, которая у вас оспаривает проход, по меньшей мере, в восемнадцать тысяч человек, не считая резервов, находящихся на Михельсберге. Они должны достигать сорока тысяч человек.

— Так что же, государь?

— Достаточно ли у вас саперов-понтонеров?

— Думаю, что да; но если мне не хватит их, то я заменю их гренадерами.

— А если убьют ваших гренадер?

— У меня есть драгуны.

— Кавалеристы! В воде? — неострожно перебил его Мюрат.

— Да, принц, — прогремел гневный голос Нея. — Надо бросить в воду солдат, когда их начальники не сумели удержать моста. Я не из тех, которые забавляются, нося перья, чтобы скакать по дорогам! Когда я ношу мои кресты, как сегодня, то для того, чтобы стреляли в них. Все-таки несколькими пулями, посылаемыми моим солдатам, будет меньше!.. Затем довольно уж...

Совершенно бледный он смело устремил глаза на

нахмуренное лицо своего повелителя, слушавшего эту речь:

— Ваше величество приказывает ли мне остановиться и возвратиться назад? — спросил он.

— Нет, маршал! Я приказываю вам делать, как вы найдете лучше.

— Благодарю! — сказал Ней.

Затем он пришпорил лошадь, которая одним скачком очутилась около Мюрата. Он наклонился на своем седле, схватил за руку зятя императора при всех генералах, адъютантах эскорта и воскликнул:

— Придите взглянуть, принц! Придите, если сердце вам подсказывает. Вы увидите, как маршал Ней исполняет свои планы перед лицом неприятеля!..

Он замолчал.

Ужас пронесся над всеми головами.

Как! Подобный вызов в присутствии государя?..

Императорское высочество, схваченное за руку, оскорбленное, угрожаемое, почти получившее удар публично от одного из начальников армии!

Мюрат, в храбрости которого никто не мог сомневаться, побледнел, как смерть. Он повернул машинально глаза к императору. Это движение выражало одинаково требование, чтобы император разрешил вынуть шпагу, и просьбу отомстить за него, жестоко наказать Нея.

Наполеон, со своей стороны, поднял руку, как бы запрещая отвечать, затем он сказал Нею твердым голосом, но не гневным:

— Храбрые люди, как вы, мстят врагам за сделанные им несправедливости. Действуйте, как вам кажется лучше, маршал, и действуйте один. Я смотрю на вас.

Ней низко поклонился императору. С радостной душой, как будто он изведаль что-нибудь невозможное и безумное, он поскакал во весь дух в сопровождении своих офицеров, чтобы настичь своих солдат и врага.

Вот какое героическое, удивительное зрелище могли созерцать тогда император, Ланн, Мюрат и другие.

Разрушенные сваи моста выходили попарно из реки, которая в этом месте едва достигала шестидесяти метров ширины. Надо было перекинуть с одной сваи на другую дубовые балки, довольно длинные и толстые, чтобы устроить временный мост, через который могли бы перейти войска с оружием и пушками.

Материал, необходимый для инженеров, был собран близ реки, позади земляного вала, который защищал их от неприятельского огня.

Прибыв на другой берег, немного впереди свай, Ней закричал:

— Офицера и сержанта, чтобы дать пример!

Множество лиц обоих чинов предстало перед ним.

Он выбрал капитана Куазеля и унтер-офицера, имя которого до нас не дошло.

— Идите, — сказал им Ней.

И он, подталкивая лошадь, вошел в Дунай настолько, что вода смочила его стремяна. Пули сыпались вокруг него. Они продырявливали водную поверхность и обдавали ее странным розоватым цветом. В дело вмешались пушки и посылали ему залпы картечи, резавшей дикий терн и заставлявшей подпрыгивать глыбы земли позади него.

Тогда увидели, как капитан и унтер-офицер направились к берегу и приблизились к первому пролету моста, неся за два конца длинную доску, чтобы перекинуть ее с одной сваи на другую. Среди страшного грохота, который разразился при этом появлении, один из двоих людей, который шел вторым, унтер-офицер, вдруг грохнулся с раздробленным бедром.

Его заменил другой, потом еще другой; наконец доска была положена.

Ней, не переменяя места, отдавал приказания. Он служил для немецких стрелков соблазнительной мишенью, какую представлял в воде его блестящий мундир, вышитый золотом. Так как храбрость заразительна, то число приверженцев увеличивалось вокруг него. Это был целый человеческий муравейник среди груды дерева, лежащего на сваях, приходивший и уходивший, чтобы снова сложить разрушенную настилку моста.

Но пришел момент, когда саперы, вскарабкиваясь на главный пролет, не могли более получать доски, приносимые с реки. Прежде люди, спустившиеся в русло реки, успешно поднимая над головами доски, передавали их в руки товарищей. Теперь глубина реки противилась этому.

Выстрелы, доходящие до безумия, беспрестанно раздавались. Уже было потеряно множество храбрецов.

Как быть?

Ней искал средство, чтобы окончить работу и про-

должить мост до правого берега. Вдруг он с удивлением увидел, как тяжелая доска шла со стороны верховья реки, следуя по ее течению. Она направлялась одна, словно могучая рука подталкивала ее к сваям, которые было трудно достичь. Его люди видели это так же, как и он, и когда она была от них на расстоянии ружейного выстрела, они зацепили багром, подняли и положили в ряду с другими.

Едва они успели ее положить, как новая плывущая балка шла к ним с той же стороны, направляемая с такой же ловкостью. Затем последовала еще одна, третья...

Можно было подумать, что какой-нибудь способный офицер под начальством маршала придумал этот маневр и воспользовался даже течением Дуная, как сотрудником и сообщником. Но нет! Река образовала локоть в своих верховьях и для того, чтобы брошенный в течение реки предмет мог достичь моста, следовало кинуть его с другого берега, занятого австрийской армией...

Кто же был на той стороне союзником?

Вскоре его узнали. Неприятель также заметил неожиданную и решительную помощь, оказываемую французским рабочим неизвестным сотрудником. Часть его стрелков тотчас засыпала пулями ту точку, откуда отправлялись балки. Тогда увидели человека с рыжими как у Нея волосами. Это был ни офицер, ни даже солдат, так как на его плечах виднелась белая рубашка, и на живот были надеты коричневые штаны. Он покинул берег, где скрывался, стоя на трех связанных досках, и отдал себя в распоряжение течения. С одной стороны произошел ураган криков энтузиазма, с другой удвоились ружейные выстрелы, направленные на неизвестного героя.

Последний, со скрещенными на груди руками, обнаженной шеей, развевающимися по ветру волосами, гордо смотрел на покинутый берег, как бы пренебрегая его защитниками.

Вдруг он отступил и упал на колени: пуля ударила его в лоб... Но она лишь глубоко повредила кожу на лбу, и сильный удар ошеломил его на минуту. Он обтер отворотом рукава кровь, ослепившую его, и был в силах зацепиться по дороге за сваю, где ожидали его французские солдаты.

— По правде, — сказал один сапер, указывая

соседям на маршала и незнакомца, — если нам удастся окончить мост, мы можем его окрестить “Мостом двух рыжих“!..

Мост окончили. Как только оба берега Дуная соединились этим временным сооружением, каждая балка которого была окрещена кровью, и каждая рана, сделанная дереву гвоздем, означала рану, сделанную людям, непреодолимая волна пехотинцев кинулась через открытый проход.

Сначала была небольшая суматоха, и неприятель мог думать, что он все-таки овладеет мостом, так как все отряды разом хотели сражаться, все оружие вошло в линию, и французские начальники с трудом выстроили эшелонами самоотверженных и привели в порядок храбрых. Картечь нашла себе хорошую игру, проникая в компактную массу нападающих, где каждая частица свинца дырявила человеческую грудь.

Так что же! Он все-таки остался неприкосновенным. Мало-помалу убавившиеся роты, раскroшившиеся батальоны, остатки полков, хорошие остатки достигли другого берега. Все это весело взбиралось на приступ. И через брешь, наконец открытую в последней защите укрепленного лагеря, великая армия ринулась на врага.

Холмы были взяты, затем деревни и наконец монастырь.

И когда корпус Нея, снова сгруппировавшийся под руководством своего начальника, завладел вершиной, то увидел перед собой плоскогорье долины Михельсберга, а там едва в двух верстах город, к которому в продолжение нескольких дней стремилось столько гениальных усилий.

Шульмейстер, “другой рыжий“, после того, как увидел мост восстановленным до конца благодаря ему, подняв с земли ружье, патронташ и штык, один из первых атаковал. Все восторгались его смелостью и завидовали ловкости. Передовые гренадеры признали Шульмейстера своим, не зная его вовсе, искали его глазами среди дыма, звали его, следовали за ним и стремились опередить его.

Внезапно они перестали его видеть.

На тропинке, изрытой потоками, где он дефилировал, поднимаясь, молодой поручик, который давно досадовал, что не может его опередить, нашел брошенный на землю его патронташ и штык. Что же

касается самого "рыжего", то от него не осталось следа.

Был ли он убит, ранен или взят в плен? Это было невозможно знать.

Сражение окончилось, успех был полный. Ночь спрятала под своей ровной темнотой славу победителей, беспощадную смерть, победу и поражение. Очарованные успехом солдаты, рассказывая друг другу эпизоды сражения, не видали таинственного товарища, доказавшего им свою отвагу и отдавшего им свою кровь даром.

Шульмейстер после того, как спас армию, сказал себе, что имеет право подумать теперь о своих и соединиться с женой и детьми.

Увы! Когда он проник в селение, под покровительством беспорядка, он не нашел более ни Берты, ни Ганса, ни Лизбеты.

XI

Прошли четыре дня. Наполеон предложил неприятелю сдаться, и генерал Мак, признав себя побежденным, потребовал, однако, отсрочки для капитуляции.

Мюрат, бросившийся преследовать австрийских беглецов, с герцогом Фердинандом во главе, которым удалось пробить круг осаждаемых, снял в продолжение двух дней жатву знамен и пушек. Его кавалерийская экспедиция обеляла его ошибочную стратегию.

Ней успокоился. Император уже приготавливал поход на Вену и только ждал жатвы, чтобы повести далее свои легионы жнецов.

Шульмейстер, не очень торопившийся показаться своему повелителю, которому он так хорошо служил, искал по всем сторонам дорогих для него существ. Они находились совсем близко от него, но он не мог еще их обнять. Он боялся, не попали ли они в плен, благодаря ужасным случайностям войны.

Как он проклинал мысль, что доверил их Родеку, ставшему слишком старым и слабым, чтобы удержать их помимо его воли в своем убежище! Зачем они бросились в подобное приключение и усложнили ему задачу? Они отняли у него мужество, разбив его сердце.

Шульмейстер обежал все селения вокруг Эльшингена. Он возвратился через Вертинген, тщательно избегая, чтобы его не узнали французские офицеры, господствовавшие теперь во всей стране.

Он ничего не нашел, что осветило бы ему судьбу его жены и детей. Нигде ничего он не услышал, что дало бы ему возможность предположить повиновение Доротеи в утро его бегства. Отправилась ли она, как он просил ее, чтобы передать Берте его распоряжение? Предложила ли она молодой женщине проводить ее в Эльшинген? Решилась ли она следовать за ней?

Он был охвачен таким безумным страхом, что забыл радоваться грандиозному успеху, достигнутому благодаря ему.

Когда австрийская армия наконец сдалась, этот герой удалился в покинутый шалаш у подножья Михельсберга и принялся плакать, как ребенок.

В это утро Наполеон, заняв место на возвышенном откосе, против города Ульма, смотрел, как дефилировали перед ним сорок тысяч пленных. Он был окружен своим главным штабом. Французская пехота выстроилась полукругом на склоне высот, а кавалерия развернулась прямой линией в долине.

Первым появился Мак и протянул свою шпагу, которую Наполеон ему возвратил. За ним следовали генералы, затем войска. Проходя, они бросали оружие, и его набралось такое количество, что вскоре образовалась большая груда.

Солдаты рассматривали своего победителя, офицеры отворачивали глаза.

Дефилирование подходило к концу, и более не было настоящих покоренных. Теперь стали представляться в свою очередь слуги, родственники, женщины и дети, принадлежащие к сдавшемуся войску, — то, что в военное время называется бесполезными ртами. Наполеон уже хотел удалиться, как вдруг услышал раздавшиеся из печальной толпы крики. Там произошло какое-то смятение. Он думал, что случилось возмущение или ссора, и устремил глаза в ту сторону, где происходила сумятица...

Тогда он увидел, что к нему подходит группа. Сначала он не рассмотрел ни одного лица, находившегося в ней, но внезапно из нее выделился маленький мальчик. Он бегом бросился к Наполеону и на расстоянии двух шагов от лошади закричал:

— Господин император! Там мой отец!

Наполеон узнал ребенка и улыбнулся.

— Как! Опять это ты, малютка! Ты говоришь, что твой отец там?... Так его у меня не убили? Почему он не пришел ко мне?.. Ступай к нему и скажи, что я ожидаю его.

Тогда все увидели, как после побежденной армии перед Наполеоном предстал человек, которого двое детей держали за руки. Ганс тащил его, тогда как Лизбета, чтобы не отстать, должна была бежать. Берта, в одно и то же время смущенная и сияющая, следовала за ними, опираясь на руку Родака. В некотором расстоянии женщина, одетая во все черное, смотрела с испугом, как они от нее удалялись. Бедняжка Доротея привела их сюда, после того как приютила их у себя, пока мир не был заключен. Теперь ее роль исполнена, и пришел конец мечте. Четыре дня эти существа доставляли ей иллюзию семьи, и теперь они исчезали навсегда от ее преданности. Ей приходилось ступать...

— Так вот как! Ты прячешься, вместо того, чтобы явиться ко мне с отчетом о твоей миссии? — сказал Наполеон шпиону резким тоном, которому противоречила, однако, улыбка. — Что с тобой случилось с тех пор, как ты прислал ко мне сына?

— Я был пленником, государь.

— Я это знаю. А затем?

— Я убежал.

— Естественно! Затем?

Ней, находившийся направо от императора, ответил своим грубым голосом на последний вопрос.

— ... Затем этот господин сделал мост.

— Как мост?... Что хотите вы сказать, маршал?

— Я хочу сказать, государь, вот человек, который дал нам возможность окончить мост в Эльшинген, он спустился по течению на последних балках, необходимых нам, он позволил моим войскам пройти по мосту и сам, хотя был ранен, атаковал вместе с ними.

— А, упрямец! — сказал Наполеон Шульмейстеру, ты мне верно сказал в Страсбурге, что хочешь сражаться!.. Ты добился своего.

— Надо же было пройти, государь, мне необходимо было разыскать жену и детей.

— Но разве ты мне не сказал, что это твой приемный сын?

— Да, государь.

— Прекрасно, ты доверишь его мне. Он способный и храбрый: мы сделаем из него хорошего офицера, когда придет время. Я позабочусь о его воспитании. Хочешь ли ты, мальчуган, поступить в военную школу, чтобы в один прекрасный день сделаться полковником, генералом или маршалом?

С раскрасневшимся личиком и блестящими глазами Ганс только что хотел отвечать, как рука Родека опустилась на его плечо.

— Могу ли я сказать слово вашему величеству? — спросил строго старый шуан.

— Кто это такой? — спросил император.

На это ответил Шульмейстер:

— Честный друг, государь, по происхождению француз. Он бретонец и заботился о детях со дня их рождения.

— Приблизьтесь! — сказал Наполеон.

Но он, без сомнения, никак не ожидал, что Родек подойдет к нему совсем близко и в особенности он никак не мог предвидеть, о чем скажет ему старик. При первых словах, сказанных Родеком совсем тихо, его лицо, обыкновенно бледное и матовое, сделалось багровым, а брови нахмурились. Однако он сдержал себя и опустил глаза, как бы взвешивая в своей памяти факты, о которых незнакомец осмелился внезапно напомнить ему.

— Этот ребенок не может быть воспитан императором, — сказал Родек. — Он сын человека, который был вашим врагом, государь, врагом честным, открытым, и его более не существует. Если ребенок не носит имени предков, то потому, что смерть слишком рано сделала его сиротой. Без этого ваше величество увидели бы перед собой Жана Бурбона-Конде, герцога Ангиенского.

— Правду ли вы говорите? — спросил Наполеон задыхающимся голосом.

Родек с благородной печалью опустил голову и молчал.

Тогда в сердце цезаря, казалось, происходила борьба. Через момент его лицо, однако, приняло обычное выражение, а глаза сверкнули счастливой гордостью.

— Шульмейстер, — сказал он, — не знаешь ли ты в окрестностях Страсбурга какого-нибудь красивого имения, где я мог бы иметь удовольствие иногда

останавливаться, когда приеду в Эльзас. Я не хочу большого владения, ни даже, чтобы это был замок, но я желал бы просторное и удобное жилище, окруженное полями и лесом.

— Мейнау, государь.

— Мейнау? Оно продается?

— Да.

— Хорошо, мой друг, я куплю Мейнау. Сегодня я отправлю приказ и отдам имение твоему приемному сыну и его сестре. Я хочу, чтобы они жили там оба мирно и росли бы счастливыми около твоей жены и старого друга, бретонца. Это будет вознаграждением за твои услуги.

Затем император повернулся к Родеку, прибавив:

— Это я могу себе позволить? Как вы об этом думаете?

— Я скажу, — произнес старик, — за то, что ваше величество сделали сегодня, вам простится...

— А я? — спросил резко Шульмейстер, опасавшийся, чтобы благодарность Родека не оказалась недостаточной. — Разве я не буду также жить в Мейнау?

— Ты? Нет еще. Я оставляю тебя при себе.

На другой день Шульмейстер простился со своими, чтобы следовать за императором, прикомандировавшим его к своему главному штабу, в чине адъютанта. Обнимая в последний раз БERTУ, утешенную и счастливую от открывшегося будущего, он увидел Ганса, стоящего против двери и смотревшего сияющими глазами на проходящих солдат.

Затем он принялся разыскивать Лизбету, чтобы распрощаться с ней, как и с ее братом. Долго не могли разыскать крошку. Кончили тем однако, что нашли ее в глубине сарая, находившегося близ дома. Ей пришла мысль, что довольно она насмотрелась на солдат, и они не занимали ее более. Ей нравилось теперь ее открытие, которое состояло из хорошенькой кошечки. Последняя устроилась в одном углу на крыше и одна во время тревожной войны кормила своих детей. В то время, как они своими розовыми неловкими лапочками наносили ей царапины когтями, прижимаясь к ней своими головками с закрытыми глазами, она серьезно лизала себе грудь.

Лизбета восторгалась ею. Но потом ей было недостаточно восхищения. Ей хотелось рассказать о ви-

денном ею хорошенько зрелище. Так как она была одна, то предположила, что к ней пришла подруга, меньше ее, которая еще мало говорила. Она сказала ей, поддельваясь матерински под ее детский говор:

— Кошечка дала кошечек.

— А! Вот как! — сказала воображаемая гостья.

— Да.

— И сколько она дала?

— Четверых.

— Вот как!

— Да.

— А какого они цвета?

— Одна белая, друга серая и две цвета кошечки.

— Вот как!

В этот момент вошел Шульмейстер и пламенно обнял Лизбету. При этом на глазах Берты появились слезы.

СЫН НАПОЛЕОНА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТАЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

I

“ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ”

Двадцать пятого июля 1830 года, в семь часов вечера, маленький магазин французского белья под вывеской “Золотые ножницы” на улице Дель-Орсо, в Милане, кишел блестящими посетительницами и модными франтами. Хозяйка магазина, старая дева, г-жа Лолив, сидела за высокой конторкой и, как-будто не обращая внимания на все окружавшее ее, занималась вышиванием, но быстрым знаком руки она указывала суетившимся продавщицам, что та или другая покупательница нуждалась в их услугах. Ее племянница, Шарлотта, хорошенькая, живая, молоденькая, белокурая девушка, разрывалась на части, чтоб угождать всем клиенткам и отвечать на все вопросы о новых парижских модах.

С некоторых пор светское общество Милана каждый вечер после прогулки на Корсо собиралось в этом магазине, чтоб себя показать и других посмотреть, а также поболтать о новостях. Много романов начиналось, развивалось и увенчивалось счастливой развязкой среди груд батиста, кисеи, кружев, вышивок, лент и перьев, валявшихся на столах и прилавках магазина. Старая тетка очень строго наблюдала за влюбленными парочками, нимало не одобряя превращения своего магазина в место свиданий, но Шарлотта не заботилась о том, что тетка называла честью фирмы, а весело порхала из угла в угол и не умолкая болтала с клиентами. Впрочем, несмотря на эту веселость, которою дышала вся ее фигура, глаза ее ясно обнаруживали, что она была способна думать и любить.

В означенный день общество, собравшееся в магазине “Золотые ножницы”, было особенно избранным и блестящим.

Неожиданно в дверях показался ливрейный лакей и громко произнес:

— Княгиня Сариа приказала сказать, что она завтра отправляется в Вену, а сегодня заедет, чтоб посмотреть, готовы ли ее заказы.

— Хорошо, — ответила Шарлотта. — Все готово и уложено в трех картонках.

Имя княгини Сариа тотчас послужило предметом общего разговора.

— Неужели красавица Полина нас покидает? — произнес чей-то голос, и со всех сторон посыпались замечания, догадки, предположения относительно отъезда одной из звезд миланского света.

Княгиня Полина Сариа была молодая, богатая аристократка. Три года тому назад, после смерти мужа, она поселилась в своем родном городе Милане, благодаря тому, что ее муж, знатный венгерский магнат, скомпрометировал себя участием в заговоре против австрийского правительства, и его крупные поместья были секвестрованы, а следовательно ей нельзя было оставаться в Вене. Несмотря на всю ее очаровательность, грацию и любезность, княгиня отличалась гордостью, и ее упрекали, что, вкусив прелестей венского света, она надменно презирала свое родное миланское общество. Но, в сущности, удаленная из столицы за чужую вину и слишком умная, чтоб на это громко жаловаться, княгиня Сариа решила вести в Милане жизнь по своему желанию. Она посещала и приглашала кого хотела и отворачивалась от глупых, скучных людей, а вместе с тем светские сплетни не могли набросить на нее ни малейшей тени какой-нибудь скандальной истории. Поддерживая постоянную переписку с князем Меттернихом и эрцгерцогиней Софией, она в то же время выражалась об официальных венских сферах так смело и независимо, что ее подозревали в двойной игре. Но она не обращала никакого внимания на все толки, и как только появлялась в светских гостиных, то все прикусывали языки перед ее привлекательной красотой, любезным обращением и остроумной речью. Ее черные глаза так ярко сверкали, что, по словам графа Бальди, безуспешно ухаживающего за нею три года, его уродство стусывалось под ее лучезарными взорами.

Неудивительно, что известие об отъезде княгини Сариа всполошило сливки миланского общества.

— Уверяют, что с нее сняли опалу, — говорила одна из посетительниц магазина “Золотые ножницы”.

— А разве она была в опале? — спрашивала другая.

— Я ничего не понимаю в ее истории, — отвечала третья.

— Говорят, что она выходит замуж, — заметила четвертая.

— И за князя Меттерниха, — воскликнула пятая, — он, к ее счастью, овдовел.

— Я не люблю таких гордячек, — произнесла гнусливым голосом графиня Скатти, — разговаривая с вами, она словно дарит вас милостью.

— Поэтому-то она так часто говорит с графом Бальди, — иронически заметила маркиза Руга.

— Это клевета, — неожиданно раздался мужской голос, и все с удивлением взглянули на говорившего.

Это был молодой, скромный юноша, который до тех пор почти скрывался за пышными юбками пожилой аристократки, вокруг которой он вертелся.

— Асканио! — произнесла она строгим тоном, но, по-видимому, мнение юноши разделялось и другими.

— Княгиня Сариа слишком умная и благородная женщина, чтоб терять время на светские интриги, — сказал Луиджи Порта. — Если она действительно возвращается в Вену, то вы увидите, что весь мир заговорит о ней.

— Как вы восторгаетесь ею! — промолвила маркиза Герарди тоном выговора. — Мне пора ехать, а вы, вероятно, Луиджио, будете ждать княгиню Сариа.

— Нисколько. Я провожу вас, если позволите.

И маркиза удалилась со своим кавалером.

Мало-помалу магазин начал пустеть, и вскоре остались только две или три клиентки. Но зато явился новый посетитель — патер.

II

ПАСПОРТ

Аббат Галотти был типичным патером: здоровый, полный, обходительный, он ничем не напоминал, кроме одежды, своего сана. После окончательного падения

французской империи и возвращения австрийцев в Милан, многие из духовных лиц сделались энергичными агентами австрийского правительства. В числе их находился Галотти. Он не питал глубокой ненависти к тем или другим чужестранцам, но находил, что лучше служить австрийцам и пользоваться их милостями, чем компрометировать себя дружбой с французами. Он добился официальной должности, хотя очень не важной, именно — секретаря провинциального совета, но умел оказывать услуги и в этом скромном звании. Он бывал всюду и знал всех. Ловкий, вкрадчивый, он доставлял необходимые сведения сильным мира сего и производил поборы с слабых; но все это делал мягко, нежно, не возбуждая неприятностей.

Он вошел в магазин “Золотые ножницы“, когда все посетительницы покидали его, и, обратившись к Шарлотте, задал ей целый ряд вопросов:

— Вы просили в канцелярии паспорт? Вы отправляетесь в Австрию по делам торговли или по семейным обстоятельствам? Вы едете одни или вдвоем? Надолго ли вы отправляетесь? Какой вы поедете дорогой? В каких городах вы остановитесь?

Молодая девушка сначала смутилась, но потом воскликнула со смехом:

— Неужели надо отвечать на все ваши вопросы? Еще не известно, когда я поеду. Я заранее попросила паспорт, чтоб он был готов на всякий случай.

Аббат был удивлен, даже опечален этим ответом.

— Я очень сожалею, — произнес он, — но вы, кажется, не знаете, что императорское правительство не может выдавать условных паспортов. Конечно, такие паспорта были бы очень удобны, но в последнее время много паспортов затерялось, и потом они очутились в чужих руках. На этом основании его высочество вице-король приказал не выдавать иначе паспорта, как лицам известным и на известную надобность.

Шарлотта снова смутилась.

— Однако, — ответила она, — я не понимаю, как паспорт, выданный на имя белошвейки, г-жи Лолив, может нарушить общественный порядок.

— Все возможно. Во всяком случае вы получите паспорт только под условием, чтобы вы определили время, когда им воспользуетесь.

Молодая девушка прикусила губу и после минутного размышления сказала:

— Хорошо, я постараюсь выехать в семидневный срок, так как, по-видимому, не паспорта выдаются для путешественников, а путешественники созданы для паспортов.

— Я понимаю, что эти порядки удивляют чужестранцев, — заметил с улыбкой патер. — Вы, кажется, француженка.

— Парижанка.

— Прекрасно. Нам известно, что ваша семья уже давно содействует водворению в Ломбардии вкуса к парижским модам. Но что вы намерены делать в Вене? Основать отделение вашего магазина?

— Может быть. Но прежде постараюсь найти новых заказчиц, а потом увижу.

— Значит, ваше путешествие деловое, а поедете вы одни?

— Нет, я возьму с собой одну из продавщиц.

— А долго ли продлится ваше отсутствие?

— Месяц или шесть недель.

— Хорошо. Теперь не угодно ли вам зайти в канцелярию, указать ваши приметы и уплатить деньги, а затем, вероятно, вам выдадут паспорт. Ах, да я и забыл, вы не берете с собой ни родственника, ни слуги, одним словом никакого мужчины?

— Конечно, нет, но зачем вы это спрашиваете?

— Зачем? Зачем? Это уж касается политики.

— Как политики?

— Да. Проклятые заговорщики постоянно нарушают порядок в наших прекрасных итальянских провинциях. Либералы, бонапартисты, карбонарии, все эти негодяи думают только об устройстве мятежей, и губернатор решил, чтоб помешать их бегству... Впрочем, я заболтался, а время идет. Мне остается только отвесить вам, сударыня, низкий поклон.

Шарлотта поняла, что если ей нужен был паспорт, а в нем была крайняя необходимость и как можно скорее, то ей следовало решиться на смелый шаг. Недолго думая, она громко сказала, обратясь к одной из продавщиц:

— Элиза, заверните и пошлите по адресу патера дюжину отборных воротничков, какие делают для монсеньора Дель-Сонцо.

Говоря это, она не покраснела, но аббат не изме-

нился в лице, и промолвил: “нет, не надо“, но таким тоном, который ясно выражал согласие принять взятку.

— Оставьте, оставьте, — произнесла девушка, — вы увидите, что после нашей работы вы не захотите носить других воротничков, а мне очень приятно доказать вам мою благодарность за вашу любезность.

— Ну, хорошо, — отвечал патер, — а я и забыл, что у меня в кармане есть всегда готовые паспортные бланки. Губернатор мне так доверяет, что позволяет выдавать их лицам, мне хорошо известным. Дайте мне перо, и я впишу необходимые сведения.

Он вынул из кармана паспортный бланк, сел к столу, вписал в бумагу все, что было необходимо, и, подавая Шарлотте, сказал:

— Вот и готово. Пожалуйста три дуката.

Получив деньги, он взял завернутые для него воротнички и сказал:

— Не беспокойтесь, я и сам снесу.

Потом, любезно поклонившись, он вышел из магазина со спокойною совестью. Не даром он был патер и секретарь провинциального совета.

III

ТЕТКА

Не успел исчезнуть за дверью патер, как тетка Шарлотты вышла из-за своей конторки. Это была маленькая, толстенькая, седенькая старушка, в сером шелковом платье и старомодном чепце с длинными завязками. Ее золотые очки, такая же золотая цепочка с ключами и ажурные чулки, обрисовывавшие маленькие ножки в миниатюрных туфлях, доказывали, что она принадлежала к достаточной, буржуазной среде и еще не отказывалась от желания нравиться.

— Что за бумагу принес тебе, Шарлотта, этот негодяй патер? — спросила она.

— Паспорт.

— Для тебя?

— Да.

— Ты уезжаешь? Куда? Отчего ты раньше мне об этом не сказала? — В тоне старухи слышались удив-

ление, недовольство и печаль. Ее оскорбляла мысль, что племянница не доверяет ей.

— Я хочу распространить наше дело и придумала эту поездку совершенно неожиданно. К тому же еще ничего не решено.

— Хорошо. Но знаешь, Шарлотта, я вижу с сожалением, что ты хочешь вмешаться в чужие дела. Иностранцы не должны принимать участие в политических делах той страны, которая оказывает им гостеприимство. Мне очень понравился твой жених; он серьезный и основательный молодой человек. Но меня пугает то, что он развивает опасные идеи. Он просто заговорщик и принимает участие в тайных обществах. Несмотря на всю его доброту и честность, он в состоянии забыть жену и детей для исполнения того, что считает своим долгом. Одним словом, он намерен поднять Милан и всю Италию против Австрии. А ты хочешь ему в этом помочь потому, что ты его любишь и восторгалась им, а этот паспорт ты взяла для него, на случай его бегства.

— Если б такова была моя цель, — отвечала Шарлотта, — то плохо же я достигла ее. Ведь паспорт-то женский.

— Не издевайся, Шарлотта, над своей старой теткой. Разве женский паспорт не может служить мужчине?.. Нет, право, послушай меня. Не подобает француженкам вмешиваться в дела карбонариев и жандармов. Если же Фабио ценит свободу своей родины выше спокойствия жены, то не выходи за него замуж. Вот и все.

— А если дело идет не об Италии, — воскликнула Шарлотта, — если люди, о которых вы такого дурного мнения, хотят спасти француза — несчастного французского принца, и возвратить его...

— О ком же ты говоришь? Не о сыне ли Наполеона? Не о герцоге ли Рейхштадтском?

— Именно о нем.

— Он, должно быть, теперь большой. Ему лет двадцать. Я еще теперь вижу перед собой праздники в Париже по случаю его крещения. А какую ему колыбель подарил город Париж в честь этого события! Так вот о ком идет речь. Но я, право, не понимаю, зачем жертвовать своей жизнью, чтоб вернуть в Париж Римского короля. Да и нам с тобой лучше про-давать шарфы, чем заниматься политикой.

— Да, будем продавать шарфы, — воскликнула Шарлотта, — и отвернемся от молодых людей, которые посвятили свою жизнь героическому делу.

— Бедное дитя мое, — отвечала тетка, смотря пристально на племянницу и теперь неожиданно понимая, какая нравственная перемена произошла в сердце и мыслях молодой девушки, — значит, ты вполне отдалась этому делу. Но что же будет с нами? Ты знаешь австрийскую полицию. Она все знает, а чего не знает, то сочиняет; в конце концов у нее есть Шпильберг, крепость в Моравии. Туда сажают всех недовольных, а там очень, очень худо. Пощади себя и меня, дитя мое. Положим, что благородно посвятить себя освобождению бедного, юного узника. Я уважаю от всего сердца Фабио, но мы не можем ничего сделать. Твои родственники перебрались сюда из Парижа, именно чтобы избавиться от превратностей политики, а ты хочешь вовлечь нас снова в политический водоворот. Одумайся, пока еще не поздно.

В эту минуту извне послышался шум. Он быстро приближался, и с каждой минутой становилось яснее, что невдалеке происходили уличные беспорядки.

Неожиданно наружная дверь магазина с треском отворилась, и вбежала продавщица Элиза с криком.

— Весь город восстал. Улица полна солдатами. Вокруг театра Ла-Скала произведены аресты. Все магазины запираются. Соседи советуют и нам сделать то же.

Не успела она произнести этих слов, как дверь снова отворилась и на этот раз осторожно, тихо прокрался в нее Фабио.

Но он теперь не походил на того серьезного, мирного буржуазного юношу, которого любила Шарлотта. Одежда его была в беспорядке, черные волосы включены, и все в его фигуре свидетельствовало, что он спасся от большой опасности.

— Простите меня, что зашел к вам, — сказал он, обращаясь к испуганным женщинам, — но за мной гнались полицейские агенты.

— Вы хорошо сделали, что избрали своим убежищем наш дом, — ответила тетка, выходя вперед и устраняя Шарлотту, — но мы две беззащитные женщины. Какую же помощь мы можем вам оказать?

— Позвольте мне только пройти через вашу квартиру и спастись в другую дверь, выходящую в переулок.

Старуха побежала вперед, чтоб указать дорогу юноше, но он удержал ее.

— Нет, — воскликнул он, — не показывайтесь вместе со мной, это может вас скомпрометировать. Благодарю вас. Прощайте.

И, поцеловав руку Шарлотты, следовавшей за ним, Фабио исчез за дверью.

— Берегите себя и помните, что у вас здесь остался друг, — крикнула Шарлотта.

— Два друга, — прибавила тетка.

Не успели обе женщины вернуться в магазин, как на улице послышался стук экипажа.

Спустя минуту, в дверь вошла княгиня Сариа, в сопровождении графа Бальди.

— Думала, что никогда не доберусь сюда, — сказала она, — ну, здравствуйте.

IV

КНЯГИНЯ САРИА

Они совершенно забыли об ожидаемом посещении знатной клиентки и теперь принялись ухаживать за нею с тяжелым сердцем. Они должны были говорить о тряпках, а сами думали о той ужасной драме, которая, быть может, разыгрывалась в двух шагах от их дома.

— Благодарю вас, граф, — говорила между тем княгиня совершенно спокойно, — без вас я не проникла бы сюда через всю эту массу полицейских. А мне необходимо посоветоваться с г-жей Лолив насчет кружев и перьев. Ведь я завтра еду в Вену.

— Так это правда, княгиня, вы уезжаете? — спросил печально Бальди.

— Конечно, правда, но, пожалуйста, не вешайте носа. Вы очень милый человек, и я вам много благодарна за то, что вы и еще несколько других кавалеров сделали для меня жизнь в Милане приятной. Но нельзя всегда слушать изящные рассуждения об искусстве или любви и вдова не очень старая, не очень уродливая и не очень глупая, естественно желает себя

показать и людей посмотреть, как только ей дали свободу.

Граф Бальди вместо ответа покачал головой. Он принадлежал к числу светских итальянских франтов, для которых вся жизнь заключалась в том, чтоб ухаживать за женщинами, декламировать знаменитые сонеты и распознавать с первого взгляда картины Леонарди или Бельтрафио. Ему льстило, что княгиня Сариа, самая гордая и недоступная красавица Милана, являлась всюду опираясь на его руку, и ее отъезд так потому его печалил, что нарушал приятно сложившуюся для него жизнь.

— Я должна отдать вам справедливость, — продолжала княгиня, — что вы менее эгоист, чем другие. Вы очень преданно ухаживаете за женщиной, которая вам нравится, обходитесь с нею очень почтительно, чрезвычайно услужливы и мало требовательны. Вот видите, я просто слагаю о вас мадригал. Но довольно, до свидания. Я высоко вас ценю как *cavalier servante*, но вы не годитесь в камеристки, а мне надо здесь примерять туалеты.

Бальди протестовал и заявил, что он не оставит княгиню и проводит ее домой, так как в городе неспокойно.

— Да, скажите, что происходит? — воскликнула княгиня. — Я очень интересуюсь этими миниатюрными революциями, которые время от времени переворачивают вверх дном наш бедный Милан. Зачем делают обыски и аресты?

Пока Бальди вполголоса объяснял княгине, что совершалось в городе — где произвели обыски, кого арестовали, и какие меры принимались, чтобы успокоить взволновавшуюся молодежь — тетка и племянница с ужасом прислушивались к шуму, который теперь раздавался не только на улице, но и в переулке. Спустя несколько минут, Фабио снова появился в магазине.

— Дом окружен со всех сторон, — сказал он, подходя к Шарлотте.

— Значит, нет спасения? — спросила молодая девушка.

— Нет, в конце переулка стоят солдаты, а в домах все двери и окна закрыты. Я не боюсь ареста, но на мне бумаги, которые могут скомпрометировать многих друзей. Пусть меня посадят в Шпильберг, но только

бы эти бумаги не попали в руки полиции. Можете вы спрятать их, Шарлотта?

Молодая девушка еще более побледнела, но она отвечала твердым голосом и с лихорадочно сверкающими глазами.

— Мы не одни.

И она указала незаметным движением головы на княгиню Сариа и графа Бальди, которые продолжали разговаривать вполголоса.

— Я боюсь, что в нашем доме сейчас сделают обыск, как в соседних, — продолжала Шарлотта, — но я вас люблю, Фабио, и согласилась сделаться вашей женой; значит, я вас не покину в опасности. Я открою сейчас картонку, и вы бросите туда ваши бумаги. Я отвечаю за все остальное.

Она подошла к столу, на котором стояли три картонки, приготовленные для княгини, и приподняла крышку одной из них, а Фабио быстро спрятал под кружевной шарф маленький, плоский, четырехугольный конверт, запечатанный сургучом.

Это движение не укрылось от княгини Сариа, которая, не переставая слушать графа Бальди, зорко следила за молодыми людьми с самого появления в магазине Фабио, который поразил ее энергичным выражением своего лица.

— Все это очень интересно, мой друг, — перебила она графа на полуслове, — но неужели наш добрый губернатор придает серьезное значение заговорам? Ведь это просто забава молодежи и больше ничего. Право, напрасно поднимают на ноги столько солдат и полицейских, чтобы схватить полдюжины дураков, которые в конце концов сами прекратят свои комедии. Не правда ли, я говорю разумно? — прибавила она, подходя к Шарлотте и открывая одну из картонок.

На эти слова отвечал Фабио, который хотел отвлечь внимание княгини от картонок и дать время Шарлотте спрятать конверт. К тому же его оскорбило сомнение, выраженное гордой аристократкой в неискренности его друзей, желавших освободить родину.

— Княгиня Сариа, кажется, родилась итальянкой, — сказал он. — Неужели она с улыбкой взглянет на смерть своих соотечественников, пожертвовавших жизнью за освобождение Италии?

— Княгиня Сариа видит и делает, что хочет, —

произнесла она, не покраснев от нанесенного ей оскорбления.

В глубине своего сердца она почувствовала, что юноша был прав. Ей не следовало смеяться над революционерами, к которым принадлежал ее муж, и петь в унисон с официальными дамами вице-королевского двора, выше которых она себя ставила.

— Это мои заказы, — прибавила она, обращаясь к Шарлотте, принимая совершенно иной тон.

Молодая девушка, между тем, успела отодвинуться с драгоценными бумагами, хотя и не закрыла их.

— Да, княгиня, — ответила Шарлотта, до того смущенная, что она не могла сопровождать свои слова улыбкой, обязательной в разговорах с клиентами.

— Бальди, посмотрите, что это шумят на улице, — сказала княгиня. — Право, этот шум становится нестерпимым.

Действительно, волнение на улице усиливалось, и Бальди, выйдя за дверь, вернулся через минуту с неблагоприятными известиями.

— К сожалению, княгиня, — сказал он, — нельзя помешать людям исполнять свою обязанность. Они сделали обыск во всех соседних домах, и теперь наступила очередь этого магазина.

Хозяйка магазина выступила вперед. Кокетливую старую деву нельзя было узнать. Бледное лицо ее поражало выражением твердой решимости, а глаза гневно сверкали.

— В моем магазине нет никого, кто бы не имел права находиться здесь, — сказала она спокойно, и голос ее несколько не дрожал...

— Пусть войдут, — произнесла с улыбкой княгиня, — посмотрим как полиция делает неприятности мирным людям. Вы, граф, поручитесь за нас?

— Будьте спокойны, — отвечал Бальди, принимая на себя важный вид.

По незаметному знаку Шарлотты Фабио отошел в ту сторону магазина, где было темнее. Спустя минуту, в дверь вошло несколько жандармов, которые стали по обе стороны. Затем явился офицер; приложив руку к треугольной шляпе, он подошел к конторке и спросил:

— Сюда вошел кто-нибудь?

— Сюда входило много людей, — начал граф Баль-

ди, но Фабио перебил его и, выступая вперед, произнес:

— Я здесь.

Шарлотта вздрогнула от ужаса, а княгиня побледнела.

— Кто вы такой? — спросил офицер.

— Фабио Гальдони, гражданин Милана, адвокат.

Офицер взглянул на бумагу, которую держал в руках, и промолвил вполголоса:

— Это он. Опасный преступник. Один из вожак движения.

Громко же он прибавил:

— Что вы тут делаете?

— Я шел по улице, — отвечал Фабио, — и, увидев беспорядки, завернул в этот магазин. Я знаю этих дам, хотя очень мало.

И он бросил выразительный взгляд на тетку и племянницу.

— Мы хорошо вас знаем, Фабио, — воскликнула Шарлотта, — и очень любим.

Юноша покраснел; тетка одобрительно кивнула головой, а княгиня Сариа, положив руку на плечо молодой девушки, произнесла шепотом:

— Не поддавайтесь влиянию вашего доброго и благородного сердца, дитя мое. Чем меньше вы будете говорить, тем лучше.

— Это мой жених, — ответила с гордостью Шарлотта.

— Какое до этого дело жандармам!

Однако офицер обратил внимание на слова Шарлотты и подумал: “Если здесь знают Фабио Гальдони, то, может быть, этим дамам известны и его планы. Надо быть осторожным”.

И он громко произнес, обращаясь к Фабио:

— Хорошо. Подождите того, кому поручено вас допросить. А кто же эти дамы? — прибавил он.

— Это княгиня Сариа, — отвечал Бальди, — вы, вероятно, знаете ее по имени, а это хозяйка магазина, г-жа Лолив, и ее племянница, и я за них ручаюсь.

— Прекрасно, а вы кто?

— Разве вы меня не узнаете? Я граф Цезарь Бальди, почетный камергер его высочества, вице-короля.

— Простите, ваше превосходительство, — отвечал офицер, — но я не здешний; я командую отрядом на

дороге в Комо. Нас вызвали сегодня в город по случаю необходимых арестов.

Не зная, как выйти из неприятного положения и как вести себя со столь знатными особами, он стал молча ходить взад и вперед по магазину, очевидно, дожидаясь кого-то.

— Однако Галлони не торопится, — произнес он, подходя к жандармскому унтер-офицеру, стоявшему у дверей.

— Извините, господин офицер, — воскликнул Фабио, подходя к нему, — вы, кажется, упомянули имя Галлони?

— Да. Он будет вас допрашивать. Ему по-видимому, поручено произвести сегодняшние аресты.

Юноша побледнел. Теперь все было для него ясно. Галлони был шпион. Он предал его и других товарищей. Этот гнусный человек поступил в их тайное общество, прикинулся патриотом и, узнав все их планы, донес полиции. По счастью, ему не было известно, что у Фабио находились важные бумаги, хотя он знал, что они касались плана освобождения узника коалиции, герцога Рейхштадтского, который вступив на французскую территорию, должен был подать сигнал к освобождению всех угнетенных народов. Фабио чувствовал, что он погиб. Но он еще более сожалел о неудаче смелого предприятия.

Шарлотта смотрела на него с отчаянием.

— Что с ним? — думала она, — отчего это имя так страшно подействовало на него? —

Неожиданно ее глаза остановились на двери, и она вздрогнула. В магазин кто-то вошел.

— Какая отвратительная фигура! — промолвила невольно молодая девушка.

V

ГАЛЛОНИ

Действительно, Галлони был отвратителен даже по внешности.

Среднего роста, худощавый, костлявый, он отличался бледным лицом, все черты которого выражали зверскую жестокость и низкие инстинкты. Только

большие, живые глаза поражали бы красотой, если бы их взгляд не был хитрый, лицемерный, коварный. Одет он был весь в черном, и такой же черный галстук, сжимавший длинную шею, высоко поддерживал его голову.

— Ну, поручик, — сказал он, — вы поймали птицу. Да, это он. Ну, товарищ, заставил же ты себя искать. Выходи к ответу.

Фабио не удостоил шпиона ни одним словом ответа, а, обратившись к офицеру, произнес:

— С каких пор сообщник допрашивает виновного? Признаюсь, я ненавижу австрийское правительство и часто говорил дурно о нем, но этот человек подбивал нас убивать по одиночке солдат, стоящих на часах. Может быть, мы безумцы, но он подлец.

Офицер, по-видимому, разделял мнение Фабио и презрительно взглянул на Галлони.

— Ваш жених молодец, дитя мое, — сказала княгиня на ухо Шарлотте.

— Ваши слова только доказывают, что я хорошо сыграл свою роль, — отвечал Галлони, нимало не смущенный обвинением в шпионстве, — это мое ремесло, а все вы были по обыкновению дураками и болтунами. Впрочем, я должен сказать, что ваше предприятие было обставлено серьезнее и основательнее, чем обыкновенно подобные истории. Только вы не умели держать язык за зубами. Впрочем, не я один был шпионом. Это тебя удивляет, Фабио? Ну, поломай себе голову и отгадай второго шпиона. Ну, где же его бумаги? — прибавил он, обращаясь к офицеру.

— Какие бумаги?

— Вы еще не обыскали его! Эй, сюда!

Два полицейских агента, вошедшие в магазин, вместе с Галлони приблизились к Фабио и схватили его за плечо.

— Ну, говори, где бумаги, которые ты должен отвезти в Вену, — продолжал сыщик, — ты этим освободишь меня от лишнего труда обыскивать твои карманы. А, ты не хочешь отвечать, хорошо.

Фабио презрительно молчал, а Галлони стал его обыскивать, приговаривая:

— Это не человек, а колодезь всяких драгоценных документов. На нем целая масса писем представителей бонапартовской семьи к Шенбрунскому

юноше и еще другие бумаги, содержание которых я не знаю. Но все это касается бегства Римского короля.

Княгиня Сариа пристально посмотрела на Шарлотту и шепотом произнесла, бросая знаменательный взгляд на картонки:

— А, понимаю.

Между тем Галлони вывернул все карманы у Фабио и ошупал его одежду сверху донизу.

— Черт возьми, — воскликнул он наконец, — куда ты спрятал эти бумаги, ведь их должна быть большая связка? Ну, молодцы, снимайте с него сапоги.

Фабио положили на стол и сняли с него обувь, а потом отпороли подкладку шляпы.

— Все ничего, — промышчал Галлони. — Однако, ты вышел прямо из дома, когда я напустил на тебя полицейских, а сам обыскал твою квартиру. Там ничего не оказалось, а на улицы не выбрасывают таких важных документов, значит они здесь. Связать ему руки, — продолжал Галлони, обращаясь к своим помощникам, — и обыскать весь магазин.

Бальди всячески старался уговорить княгиню удалиться, так как ей неприлично было более оставаться при такой сцене, но она отвечала:

— Оставьте меня, я хочу видеть, до чего это дойдет. Уходите, граф, если желаете.

— Нет, я вас не покину.

Между тем полицейские агенты приступили к обыску: один открывал все ящики, а другой под надзором офицера открыл денежный сундук ключом, который ему добровольно отдала хозяйка магазина.

— Вы допросили этих женщин? — спросил Галлони, обращаясь снова к офицеру.

— Да, за них поручился граф Бальди.

— Я знаю графа Бальди и княгиню Сариа, — произнес Галлони, — а эти две женщины, вероятно, белошвейки. Извините, пожалуйста, — прибавил он с отвратительной улыбкой, — но я должен обыскать ваши карманы, сударыни, так как ваш приятель не хочет сказать, куда он спрятал бумаги.

— Подлец, — воскликнул Фабио, — тебе мало быть низким предателем, ты еще смеешь поднять руку на беззащитных женщин.

И он рванулся с такой силой, что державшие его жандармы едва могли с ним справиться.

— Не подходите, — промолвила Шарлотта побледнев и, схватив большие ножницы, прибавила, — если вы сделаете еще один шаг, то я нанесу себе удар этими ножницами.

Напротив, ее тетка подошла к сыцику и, подняв обе руки, сказала:

— Начинайте с меня, я не уступлю своего права старшинства.

Эти слова доброй старухи поразили княгиню Полину Сариа. До этой минуты она довольно хладнокровно смотрела на все происходящее вокруг нее, и хотя понимала, что Фабио был благородным энтузиастом, беложивейки — добрыми женщинами, а полицейский — низким предателем, но ей не было никакого дела до безумного заговора, составленного какими-то мальчишками в пользу бессмысленного юного претендента, спокойно в это время разгуливавшего в Шенбрунском парке. Но теперь сыщик показался ей столь отвратительным, а его жертвы столь жалкими, что Полина Сариа не могла долее выдерживать такого недостойного зрелища. Ее благородная душа возмутилась, и она громко воскликнула:

— Граф, скажите этому человеку, что синьор Фабио вошел в магазин при нас и за минуту до появления жандармов, так что он не мог никому ничего передать.

— Это правда, — подтвердил Бальди.

— Хорошо, — произнес Галлони, — но в какую дверь он вошел?

— Вон в ту, — отвечал граф, указывая на дверь, выходящую в переулок.

— А мои агенты утверждают, что он не мог войти иначе, как с улицы, — сказал Галлони и после минутного размышления прибавил, — а, понимаю, Фабио вошел, действительно, с улицы, а потом направился в переулок, но там он увидел солдат и снова вернулся в магазин, куда между тем, вошли вы, граф и княгиня.

Он снова задумался и стал молча осматривать магазин.

— Нечего более искать, — сказал он, спустя несколько минут, — бумаги должны быть здесь.

И он указал на картонки, находившиеся близ княгини.

— Простите, ваше сиятельство, — продолжал Галлони, подходя к ней, — но я должен вас обеспокоить и осмотреть эти картонки.

Княгиня медленно положила руку на одну из картонок, вокруг которых разыгрывалась драма.

Она очень хорошо знала, что именно в этой картонке не находился пакет, который Шарлотта сунула в другую картонку, стоявшую незакрытой сзади всех.

— В этих картонках заказанные мною вещи, — сказала она, — и делать в них обыск все равно, что обыскивать мой дом. Имеете ли вы поручение, господин полицейский, сделать обыск в доме княгини Сариа?

— Извините, ваше сиятельство, — отвечал Галлони иронически-почтительным тоном, — все, что здесь находится, закон признает принадлежностью хозяйки магазина. Вот, если у вас есть акт на покупку или аренду этого магазина, то дело другое.

— Повторяю, что эти вещи мои, и я не позволю до них дотронуться. Увидим, посмеете ли вы насильно взять их у меня.

— Если, ваше сиятельство, желаете, чтобы я прибегнул к псевдонасилию, то извольте, я дотронуся пальцем до вашей перчатки.

Граф Бальди хотел вступиться, но княгиня жестом остановила его.

— Не надо, граф; может быть, этот человек действительно исполняет свои обязанности. Мы все верноподданные его величества императора, и я также исполняю свой долг. Я согласна сделать то, что желает полицейский агент; но так как я буду носить эти кружева и перья, то не желаю, чтобы чья-либо рука до них прикасалась. Кажется, я имею право настоять на этом.

Все с безмолвным любопытством устремили глаза на странный поединок между гордой аристократкой и ловким сыщиком.

Она открыла первую из картонок и бросила крышку на другую, именно на ту, в которой находился пакет. Затем она стала вынимать кружевные вещи, находившиеся в картонке, и показывать их издали сыщику, который пожирал их глазами и, наконец, складывать их грудой на той картонке, которую ей необходимо было скрыть.

— Вы уверены, что здесь ничего нет, — сказала она, вынув все вещи из картонки и показав Галлони, что она совершенно пуста, — ну, теперь перейдем к другой.

И она проделала то же самое со всеми предметами, находившимися во второй картонке, но когда груды кружев, кисеи и перьев удвоилась, то она схватила ножницы и гневно воскликнула:

— Ну, а теперь довольно. Прочь отсюда, негодяй. Княгиня Сариа не привыкла так долго разговаривать с подобными тебе личностями. Прочь или я пригвоздую твою предательскую руку к этому столу.

— Хорошо, сударыня, — отвечал Галлони полура-зочарованным, полугрозящим тоном, — я уйду. Вы находитесь под покровительством такого высокопо-ставленного господина, что я на словах объясню гу-бернатору, каким неприятностям подвергаются чинов-ники, исполняющие требования закона.

И он удалился, бормоча про себя:

— Я не досмотрел. Меня обманули.

Фабио не верил своим глазам и не понимал, каким чудом скрытый им в одной из картонок пакет избе-жастребиного взгляда сыщика, а эта светская женщина, которую он только что осуждал, неожиданно превра-тилась в благородную, мужественную героиню.

Что же касается до Шарлотты, то она нагнувшись незаметно поцеловала руку княгини и промолвила шепотом:

— Да благославит вас Господь!

— Твой жених, может быть, поверит, что у меня есть сердце, — отвечала княгиня с улыбкой и, поль-зуясь минутой общего замешательства, быстро выхва-тила из-под груды кружев таинственный пакет и спря-тала его за свой корсаж.

Между тем Галлони и офицер совещались о том, как им следовало поступить. Последний утверждал, что не стоило терять времени в этом магазине, так как следовало арестовать еще других заговорщиков.

— К тому же, — прибавил он, — к чему вам теперь эти бумаги? Вы ведь уверены, что они не попадут по назначению.

— Но если я не достану бумаг, то как я оправдаю арест этого человека? — отвечал Галлони.

— По-моему, вам следует отправить арестованного в тюрьму, а завтра произвести здесь добавочный и более основательный обыск.

— Хорошо. Вы оставьте здесь часовых, а я завтра явлюсь сюда с умелыми рабочими, и мы перевернем все вверх дном.

С этими словами он удалился и приказал знаком, чтобы повели за ним Фабио.

Прежде, чем переступить порог, юноша обернулся и крикнул трем женщинам, не спускавшим с него глаз:

— Благодарю вас от всего сердца. Вы более чем спасли меня. Простите за причиненное вам огорчение. Я буду в тюрьме благославлять вас и молить Бога, чтоб справедливое дело совершилось без меня...

— Довольно болтать, — перебил его Галлони, снова появляясь в дверях.

— Марш! А вы, поручик, прикажите, чтобы здесь ничего не трогали до моего возвращения.

— Эти дамы свободны? — спросил офицер, указывая на белошвейек.

Бросив взгляд, полный ненависти, на княгиню, он ответил:

— Да, временно, — и уже в дверях прибавил про себя, — и третья.

VI

В ДОРОГУ

Пока офицер оставался в магазине, расставляя часовых и отдавая им инструкции, Шарлотта себя сдерживала, но как только он удалился, то она громко зарыдала:

— Бедный Фабио, — говорила она сквозь слезы, — как тебя спасти!

Старая тетка не плакала, но нежно проводила рукой по волосам молодой девушки и тихо говорила:

— Ты видишь, как скоро оправдались мои слова, я тебя не упрекаю. Я тоже виновата, что раньше не догадалась о происходившем вокруг меня. Быть может, вы послушались бы моего совета, и горе не случилось бы. А теперь тебе остается только плакать, бедное дитя мое, плачь, плачь!

Смотря на этих бедных женщин, княгиня Сариа невольно думала: “Эти две женщины жили мирно, и все их уважали. Они работали и были счастливы. Вдруг набежал шквал, и все погибло. Они теперь будут несчастны на всю жизнь. И что же они сделали дурного? Ничего. Одна из них любит доброго молодца,

который отдал себя служению безумной, но благородной идее. Низкий негодяй выдал его, и он в тюрьме. Вот каков стал Милан! То же может случиться завтра во всех семьях, где есть юноша думающий, мечтающий. Но зачем завтра? Ведь для одного Фабио не подняли бы на ноги всю полицию и солдат. Может быть, в это самое время он не один в тюрьме, а многие, и их жены, сестры, невесты обливаются слезами... Но мне какое до этого дело? Я завтра покину беспокойный Милан и поеду в Вену, где увижу могущественного, непогрешимого Меттерниха. Он научит меня, как получить секвестрованные поместья моего мужа... Однако, что я думаю о себе, а эти бедные женщины, что они будут делать? Чем бы им помочь?"

— О чем вы думаете, княгиня? — спросил неожиданно Бальди, о котором она совершенно забыла. — Что с вами? У вас, кажется, расходились нервы?

— Нисколько, друг мой, — отвечала Полина, как бы очнувшись от забытья. — Да и отчего расходиться моим нервам? Было бы безумно обращать внимание на арест какого-то юного заговорщика. Но пора дать отдохнуть этим бедным женщинам. Посмотрите, где мой экипаж, и, если можно, пусть кучер подаст сюда.

Бальди поклонился и вышел из магазина.

— Завтра утром я уезжаю в Вену, — сказала Полина, подойдя к Шарлотте и положив ей руку на плечо. — Если вы желаете, то я выпрошу там помилование вашему жениху.

— Вы слишком добры, — отвечала Шарлотта, — но только я не знаю, захочет ли он этого. Имеем ли мы право без его дозволения просить о помиловании?

— Я уверена, что он будет благославлять все, если выйдет из тюрьмы, благодаря вам, — возразила княгиня, удивленная, что маленькая магазинщица была способна высказывать такие возвышенные мысли.

— Нет, — отвечала Шарлотта, печально качая головой, — я убеждена, что он не захочет свободы ценою отречения от своих идей.

— Но в тюрьме он не может служить им.

— Да, но он не изменяет им.

Полина Сариа неожиданно поняла, что дело шло не о покровительстве несчастного, а о том, чтобы сделаться его сообщницей, и, ни минуты не колеблясь, воскликнула с жаром:

— Послушайте, против Фабио нет никаких улик; они все у меня в руках. Значит, я могу смело утверждать, что его арестовали по ложному доносу. Я могу рассказать, что негодяи нарочно подбивают неопытных юношей сделаться мятежниками, а потом их выдают самым циничным и позорным образом.

— А вы думаете, — произнесла тетка Шарлотты, неожиданно вмешавшись в разговор, — что те, которым вы это скажете, не знают всех делающихся здесь ужасов?

— Может быть, и знают, — отвечала княгиня, — но одно позволять ужасы издали, а другое краснеть за них. Клянусь вам, что я добьюсь помилования Фабио без всяких условий и без всякого стыда для него. Пусть ваша племянница поедет со мной, и мы вдвоем добудем ему свободу.

— Вы слышите, тетя, что мне предлагает княгиня? — промолвила молодая девушка, почувствовав, что не все кончено для нее, а напротив, есть надежда на счастливую жизнь с любимым человеком.

Но не успела старуха еще ответить, как уже снова отуманилось просветлевшее лицо Шарлотты, и она промолвила:

— Что же мы сделаем с бумагами, княгиня?

— С бумагами, — отвечала Полина, — да все, что хотите. Поедемте со мной, Шарлотта, а бумаги вы отдадите вашему другу, когда он будет на свободе.

Дело в том, что хотя княгиня хотела всем сердцем помочь горю бедных женщин, но она не желала участвовать в заговоре в пользу герцога Рейхштадтского, и бумаги, которые поневоле она должна была хранить, несколько ее не интересовали. Она с удовольствием отдала бы их юному карбонарию после его выхода из тюрьмы с благим советом их сжечь.

Между тем Шарлотта о чем-то шепотом говорила с теткой, и та громко произнесла:

— Конечно, тебе, дитя мое, полезно отправиться в Вену с княгиней, чтобы выхлопотать освобождение твоего жениха из тюрьмы. Но я-то что буду делать без тебя? К тому же, вероятно, магазин закроют на несколько дней. Знаете что, не лучше ли и мне поехать с вами. Может быть, старуха на что-нибудь пригодится. Магазин мы оставим на попечение старшей продавщицы Элизы. Ведь в твоём паспорте, Шар-

лотта, упомянута помощница; вот я и буду этой помощницей.

Молодая девушка бросила вопросительный взгляд на княгиню, не зная, как последняя взглянет на подобное злоупотребление ее добротой.

Но в эту минуту в магазин вернулся Бальди и заявил, что экипаж подан.

— Проводите нас, мой друг, — сказала Полина. — Я беру с собою в Вену двух компаньонов.

Обе женщины бросились целовать ей руки.

— Вы хотите взять с собою этих женщин? Да это невозможно! — воскликнул граф, вне себя от удивления.

— Тем лучше, я люблю все невозможное. Как вы меня мало знаете, Бальди! Вы уверяете, что меня любите; ну, докажите свою любовь, и это будет вам стоить так мало. Вот в чем дело, эти дамы возьмут с собою самые необходимые вещи и проведут ночь вне дома, занятого полицией, а вы покажите жандармам эти вещи, чтобы их не обвиняли потом в похищении документов. Затем вы проводите нас до моего дома и удостоите меня чести отужинать с нами. Завтра утром мы будем уже на дороге в Вену, а вы скажете губернатору всю правду, именно, что две белошвейки поехали просить у князя Меттерниха помилование арестованного жениха одной из них.

— Конечно, я могу сделать это. Но вы не боитесь скомпрометировать себя вмешательством в такое дело?

— Нет, друг мой, я ничего не боюсь и всегда действую, как мне подсказывает мое сердце, а, может быть, мой каприз. Поедемте ужинать.

Все совершилось по желанию княгини, и спустя несколько минут жандармы остались охранять пустой магазин под вывеской “Золотые ножницы”.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЛЕННИК

I

ГЕРЦОГ И САДОВНИК

Франц Шуллер стоял, облокотясь на свою лопату, в Шенбрунском парке, и внимательно смотрел на западный фасад замка, залитого блестящими лучами заходящего июльского солнца. Эти лучи одинаково играли на каменной балюстраде лестниц, на мраморных статуях и на полуоткрытых окнах старинной императорской резиденции, напоминавшей древнюю роскошь Версаля. Громадные картины цветов, преимущественно роз, окружали дворец, а высокие ивы, прихотливо подрезанные, как во времена Марии-Терезии, бросали на дорожки свою странную тень.

Но действительно ли Франц Шуллер смотрел на это зрелище? Неужели простой сельский рабочий с загорелым лицом и мозолистыми от труда руками был мечтателем или артистом? Нет! Он обращал внимание не на окружавшее его блестящее зрелище, а на мелькнувшую перед его глазами тень худощавой человеческой фигуры, которая медленно двигалась по одной из террас замка.

Дело в том, что Франц Шуллер был не простой садовник, и когда его приняли на службу в императорский парк после продолжительного пребывания в баденских садах, он заявил, что был зятем покойного садовника, место которого он хотел занять, и это действительно оказалось справедливым. Но он не признался, и никто не знал, что его предшественник в 1810 году, почти в одно время с Наполеоном, женился, но не на австриячке, а на молодой девушке из Эльзаса. Таким образом, Франц, зять верного слуги императора австрийского, был сам верным слугою императора Наполеона. Посетив свою сестру в 1822 году, он поселился в Гитцинге, а когда умерла прежде она,

а потом ее муж, то он взял на свое попечение их дочь и сделался наконец сам садовником в Шенбруне.

Однако, служа австрийскому императору, он оставался французом, и что еще хуже, старым служакой наполеоновской армии, побеждавшей австрийцев. Поэтому неудивительно, что в прекрасный июльский вечер он смотрел не на замок, с его статуями и цветными куртинами, а на фигуру юноши, который был для всех герцогом Рейхштадтским, а для него Римским королем.

В нескольких шагах от Франца виднелась каменная скамья, окружавшая такой же стол под тенью старинных деревьев. Тут некогда разыгралась историческая сцена. Накануне битвы под Еслингом Наполеон случайно упал с лошади, и его замятие принесли и положили на эту скамейку. Шталмейстер, подавший императору необъезженную лошадь, де Каниве, хотел с отчаяния застрелиться. Пока доктор Ларей тщетно старался привести в сознание Наполеона, маршал Ланн и офицеры главного штаба старательно охраняли эту трагическую сцену от всякого постороннего взгляда. В парке было несколько часовых, и им приказали хранить в тайне случившееся, чтобы дать время начальникам армии принять необходимые меры, если бы действительно император скончался. Патриотизм этих людей был так велик, что никто не узнал ни во Франции, ни вне ее, что в продолжение нескольких часов Наполеон находился в Шенбруне между жизнью и смертью. Только спустя много лет, мемуары его маршалов обнаружили этот неведомый факт, который часовые не выболтать простые солдаты. В числе этих часовых в Шенбруне находился Франц.

А теперь на том самом месте, где он видел отца, лежавшего полумертвым, он ждал сына, и в его простом солдатском уме создалась какая-то странная связь между обоими этими событиями.

“Кто знает, — думал он, — может быть, придет день, когда этот бедный юноша отправится из Шенбруна, где я видел его отца замятие, и снова покорит весь мир? Кто знает, быть может, орленок полетит с собора св. Стефана на собор Парижской Богоматери?”

И Франц Шуллер смотрел с восхищением на медленно подходившего к нему юношу. Действительно, Франциск-Наполеон Бонапарт, герцог Рейхштадтский, обладая прекрасными, благородными качествами ума

и сердца, отличался красивой, привлекательной наружностью. Высокого роста, статный, он наследовал от отца матовый цвет лица, тонкий прямой нос с легкой горбинкой, прямой светлый взгляд и большой лоб. Только глаза у него были голубые и волосы русые. Он соединял в себе черты двух рас и не даром был то французским принцем, то австрийским эрцгерцогом.

Но не одному Францу Шуллеру нравился этот юноша, и хотя открыто никто не смел его называть сыном Наполеона, но многие дипломаты готовили ему различные мелкие престолы, как греческий или бельгийский, не зная, что его судьба была заранее predeterminedена Меттернихом. Только простодушный Франц Шуллер думал, что он вернется во Францию и каждый вечер говорил ему втайне об этой Франции.

Их разговоры начались случайно. Франц тогда еще недавно поступил в садовники, и герцог не знал его. Случайно они встретились на дорожке, и Франц, выпрямившись во весь рост, снял шапку, но в то же время знаком дал понять, что хочет говорить с молодым человеком. Герцог остановился с удивлением, но с милостивой улыбкой.

— Я хочу сказать вам, ваше высочество, что я француз, — произнес Франц в большом смущении, — здесь этого никто не знает. Я служил вашему отцу и очень его любил, как все солдаты. Когда вам вздумается узнать, что мы думали о нем, махните пальцем, и Франц Шуллер вам расскажет. Я не заговорщик и был солдатом, а теперь я садовник.

Произнося эту речь, Франц устремил глаза на юношу и ждал ответа, но тот не произнес ни слова и быстро удалился. Старик не знал, что и думать. Неужели герцог принял его за шпиона? Он не спал всю ночь, а на следующий день он явился в то же время на прежнее место и стал ждать.

Герцог Рейхштадтский снова прошел мимо него, и не останавливаясь, сказал:

— Я хочу тебе сказать, мой храбрый друг, что я француз и уважаю тех, которые служили родине при моем отце.

Слезы радости брызнули из глаз старого служаки.

Герцог улыбнулся, приложил палец к губам и прошел далее.

С тех пор при каждом удобном случае он проби-

рался незамеченный своим наставником графом Дитрихштейном или его помощниками к каменной скамье, где его ждал Франц, и они на свободе, хотя недолго и с опаской, беседовали о Франции и Наполеоне. В последние двадцать лет, то есть со времени отъезда его гувернантки, госпожи де Монтескье, он не имел случая говорить о родине и отце; поэтому естественно он теперь с наслаждением разговаривал с Францем, подробно рассказывая ему историю наполеоновских походов, которые представляли до тех пор сыну их героя в совершенно извращенном виде. Только теперь, в июле месяце 1830 года он тайно прочел книгу графа Прокеша-Остена о кампании 1815 года, в которой автор опровергал несправедливые мнения, высказываемые в Германии о военном таланте Наполеона. Это чтение возбудило в сердце юноши такое нежное чувство к Прокешу-Остену, что когда случайно он увидел его у своего дедушки, императора, то бросился к нему на шею. Благодаря этому обстоятельству, Прокеш был записан в черную книгу Меттерниха, и, несмотря на его таланты, посылался в далекие миссии. Только двадцать лет спустя он вошел в милость и достиг высоких должностей.

Что касается Франца, то он не развивал перед юношей ни стратегических, ни дипломатических теорий, а просто рассказывал ему свои воспоминания о былом. В тот вечер, о котором идет рассказ, герцог Рейхштадтский был особенно печален, и Франц, тотчас это заметив, спросил:

— Что с вами?

— Мне скучно, Франц.

— Нет, вам сделали что-нибудь неприятное.

— Нет, ничего, только я узнал во дворце у дедушки, что в Париже произошли великие события.

— В Париже?

— Да, вот уже два дня, как свергнут с престола Карл X.

— Неужели?

— Я узнал это случайно. Один из секретарей канцлера, поклонившись мне, сказал: “Ваше высочество, Бурбонов-то прогнали“. Я отвечал: “Да, говорят“. Но, в сущности, я ничего не знаю. Вот отчего, может быть, я не в духе. Расскажи мне, Франц, конец твоих походов. Ты мне никогда еще не говорил, что было после прибытия моего отца в Фонтенебло.

Старый служака нарочно распространял свои рассказы, чтобы оттянуть печальную минуту, когда придется перейти к истории последних дней империи. Он останавливался на всех мелочах наполеоновских побед, описывал все местности его битв, рисовал портреты его сподвижников и т.д.; но в конце концов все-таки пришлось рассказывать и о неудачах, но и тут он находил светлые стороны. Таким образом он дошел до Фонтенебло, но никак не решался идти далее. Теперь наступила роковая минута.

— Вот видите, ваше высочество, — начал он, — маршалам надоело все воевать, они стали стары и богаты. Большинство их было женато и имело детей, а они никогда не могли быть в семействе, так как лет двадцать безостановочно шагали по Европе. При этом император обходился с ними грубо, даже когда сам был виноват.

— Франц! — воскликнул герцог.

— Нет, вы уже слушайте всю правду. Не легко было служить вашему отцу. Надо его было понимать на лету, никогда не ошибаться и всегда одерживать успех; иначе беда. Притом несчастья его озлобили, и генералы уже не питали к нему прежнего доверия. Только мы, простые солдаты, верили в него по-прежнему.

— Продолжай, верный друг, — промолвил с чувством герцог, смотря с уважением на этого представителя настоящих сподвижников его отца, никогда ему не изменявших.

— Наконец, вам надо все сказать, — продолжал Франц. — Между Парижем и Фонтенебло было 300.000 неприятелей, французов оставалось всего 50.000, и то усталых, дурно вооруженных. Мармон командовал в Эссоне авангардом в десять или двенадцать тысяч человек; в этом числе находилась и моя рота... Он отправился в Париж, занятый врагом, и оставил свои приказания помощникам, которые повели нас между двумя рядами австрийцев. Это походило на капитуляцию, а так как мы — простые солдаты, а не маршалы, то едва не бросились на австрийцев. На беду мы привыкли к субординации и повиновались.

Храбрый солдат со стыдом опустил голову при воспоминании об измене маршала Мармона.

Герцог, сидевший на скамье и внимательно слушавший Франца, который ходил перед ним, зорко

смотря по сторонам, быстро вскочил и схватил его за руку.

— Нет, нет, — воскликнул Франц, — нас могут увидеть, идите на скамейку, а я буду продолжать рассказ из-за кустов.

— Ну, ну.

— Вот видите, в Фонтенебло собрались все начальники: Ней, Макдональд, Коленкур, всех не перечесть. Они уверили императора, что Франции было не под силу бороться, все кончено, и что надо уступить. Он хотел драться, и когда все его покинули, то он даже пытался отравить себя.

— Боже мой! — промолвил герцог.

— На следующий день он отправился на остров Эльба, — все, что ему оставили от великой империи, которую он завоевал с нашей помощью. И все-таки его обманули. Ему обещали, что вы с вашей матерью последуете за ним. Но как только его заперли на остров, то вас конфисковали, так же, как эксплуатировали всю Францию.

— Но моя мать заявила желание следовать за ним?

— Ваша мать? Ее там не было.

— Но она пыталась поехать к нему: так мне говорили.

— Может быть, — сказал Франц, впервые не говоря всей правды.

— А потом, — воскликнул герцог, — ведь это еще не конец?

— Конечно. Спустя десять месяцев разнеслась весть, что император высадился в Жуанском заливе.

— Где это?

— На французском берегу, против острова Эльба.

— Потом?

— Потом вся Франция очнулась. Ах, если бы вы это видели! Все обезумели от радости. Глупый король послал войска, чтобы схватить императора, а они встретили его с триумфом. Ней выступил против него с армией, а увидав императора, бросился к нему на шею. Только такие изменники, как Мармон, остались при короле, а все остальные приветствовали императора. Тогда уж не было речи об усталости и разочаровании. Все хотели империи и императора.

— Ну, и что же, мой отец сделал все, чтобы обеспечить мир своему народу?

— Он, вероятно, это и сделал бы, но было слишком

поздно. Меттерних не хотел более Наполеона, и благодаря ему, ему одному, Европа снова заключила коалицию против нас, а мы взяли вновь за наши старые ружья Арколя, Маренго, Аустерлица, Ваграма и Шампобера.

— Увы! А сколько времени это продолжалось?

— Сто десять дней! Все кончилось под Ватерлоо. Но не заставляйте меня рассказывать это, ваше высочество. Мы одержали сотни побед, а кончили подобным поражением. Целые полки тогда погибли под неприятельскими ядрами, и семнадцатилетние солдаты умирали, не дрогнув, как старые служаки. Кавалерийские отряды разбивались, как о стогну, атакуя красные мундиры. Гренадеры падали под картечью, человек за человеком, защищая свое знамя.словно с неба, валилась туча ядер и пуль, а там высоко на пригорке на белой лошади в сером сюртуке и черной треуголке виднелся...

— Мой отец, — промолвил герцог со слезами на глазах.

— Никогда мы так не сражались, — продолжал Франц, — Ней превзошел себя. Под ним убито было пять лошадей. Наконец, пешком, с разрубленным эполетом, с пронзенной пулею звездой Почетного Легиона и обнаженной головой, он повел последнюю атаку и крикнул проезжавшему мимо Друэ д'Эрлону: "Что же ты сегодня не даешь себя убить?"

— Ну, ну... — промолвил герцог, сдерживая дыхание, чтобы не проронить ни слова.

— Увы! Несчастный умер не там. Его убили не английская и не прусская пули. Спустя некоторое время в Париже двенадцать французских солдат расстреляли, именем короля, храброго из храбрых.

— А этот король был француз?

— Да.

— Неправда!

— Империя была кончена. Ваш отец отдался в руки англичан и просил только, чтобы ему позволили окончить мирно жизнь с женою и сыном. Англичане отвезли его за тысячу миль на пустынный остров, и после шестилетнего пребывания там он умер от горя и истощения. Последняя его мысль была о вас!

— Наконец-то я знаю все, все! — промолвил герцог.

Между тем наступила ночь. В окнах замка показался свет. В аллеях послышались шаги.

Франц исчез за деревьями. Данный им урок истории был окончен, и его ученик, бледный, как никогда, медленно направился в ту самую комнату, где отец спал победителем, и где он всю ночь печально думал о побежденном отце.

II

В КАБИНЕТЕ МЕТТЕРНИХА

— Послушайте, г-н Зибер, когда я отлучаюсь из этой канцелярии и уезжаю куда-нибудь, разве вы садитесь за мой письменный стол, открываете частные письма, адресованные на мое имя, или называете себя моим титулом? Не правда ли, нет? Точно также и Людовик-Филипп не имел права овладеть престолом Карла X под предлогом, что король отлучился.

— Но, г-н Генц, я скромный секретарь, а вы тайный советник и правая рука князя Меттерниха.

— Но и я не король. Хотя я правая рука, но заменить головы не могу. Герцог Орлеанский даже не правая, а левая рука законного короля. Французская корона принадлежит герцогу Ангулемскому, а после него графу Шамбору.

— Но французы, по-видимому, не согласны с вами.

— Это не важно. Они каждое лето затевают революцию. Другие люди в июле месяце выезжают на дачу, а они берут Бастилию. Это наконец становится скучным.

Так говорили между собой 6-го августа 1830 года главный помощник Меттерниха и его секретарь в одной из двух комнат, составлявших кабинет канцлера Австрийской империи. Из этого кабинета в течение тридцати трех лет, от 1815 до 1848 года, европейская политика брала свой лозунг. Под общим названием канцелярского кабинета известны были две комнаты: рабочий кабинет, меблированный в строгом стиле, где князь среди груды деловых бумаг писал свои дипломатические депеши, и приемный кабинет, где он давал аудиенции, и постоянно находился один из его секретарей.

Это последняя комната, где теперь Фридрих фон

Генц, друг и ближайший помощник Меттерниха в продолжение тридцати лет, разговаривал с секретарем Зибером, представляла большую роскошно меблированную гостиную с тремя дверями. Одна из них выходила в рабочий кабинет канцлера, другая — во внутренние покои императорского дворца, а третья на парадную лестницу. В четвертой стене были два больших окна, открывавшиеся в сад. В центре комнаты стоял громадный стол, за которым могли поместиться все члены европейского конгресса; теперь на нем временно лежали только что вскрытые секретарем депеши. По стенам стояли роскошные кресла, а между двумя окнами красовался бюст Кауница, который как будто говорил посетителям: “Теперешний канцлер настолько уверен в своем превосходстве над своим предшественником, что не боялся оставить его образ в своем кабинете“. Наконец, на главной стене против входа с лестницы висел большой портрет во весь рост императора Франца.

Вообще эта официальная гостиница, где обдывались политические дела всей Европы, походила своим убранством и царившей в ней атмосферой на светский салон.

Успокоившись несколько от своего раздражения против французов, которых он ненавидел, Фон Генц спросил у секретаря:

— Сегодня у нас аудиенция чрезвычайного посла господина Луи-Филиппа. Кто он такой?

— Генерал Бельяр, один из старых наполеоновских генералов.

— Вот вы увидите, что новый король окружит себя остатками империи и великой армии.

— Он мог бы сделать хуже выбор. Во всяком случае одного наполеоновского маршала ему не иметь.

— Кого?

— Мармона. Он здесь.

— Как здесь?

— Да. Он командовал королевскими войсками против мятежников в июльские дни. Потерпев поражение, он покинул Францию после отъезда короля и сегодня представляется канцлеру.

— Мармон, герцог Рагузский! — произнес фон Генц с горечью. — Ну, он по крайней мере, лучше кончил, чем начал. Назначены еще аудиенции?

— Эрцгерцог Карл и послы английский и прусский

заявили желание посетить канцлера, — сказал Зибер, взглянувши в лежавший на столе список. — Несколько дам просили аудиенции, и еще явится парижский журналист. Пьер Лефран, сотрудник “journal des Debats”.

— Еще революционер! — произнес Генц с гневным неудовольствием, — это радикал в духе Молэ. Что ему нужно в Вене?

— Вы на все смотрите сквозь красные очки сегодня, господин тайный советник, — отвечал Зибер. — По счастью, вот княжна. Благодаря ей, вам все покажется в розовом свете.

Действительно, в комнату вошла Гермина Меттерних — дочь канцлера. Ей было четырнадцать лет, и трудно себе представить более прелестное и грациозное создание. Высокого роста, статная, с живыми, умными, голубыми глазами и роскошными русыми кудрями, в светлом кисейном платье и соломенной шляпе с широкими полями, она казалась еще ребенком.

— Здравствуйте, добрый Генц, — воскликнула она, подбегая к тайному советнику, — я для вас приехала сегодня во дворец. Отец сказал, что вы здесь. Хорошо вы покатались по Италии? А, здравствуйте, господин Зибер.

— Вы всегда слишком любезны со мною, княжна, — отвечал Генц, — я привез для вас хорошие итальянские материи.

— Какой вы добрый! А где вы были?

— Везде понемногу: в Неаполе, Флоренции, Лукке, Венеции...

— Как бы я желала видеть вашу Венецию. Говорят, это такой прелестный город.

— Да, город прелестный, хотя я не люблю воду; но мне всего более там нравятся не дворцы, площади и церкви, которые в сущности все одинаковые, а маленькие, узенькие улицы с прекрасными магазинами.

Гермина едва удержалась от смеха при мысли, что все художники ошибались на счет истинной красоты Венеции, а ее понял лишь тайный советник фон Генц.

— А что, у отца много сегодня утром дела? — спросила она, обращаясь к Зиберу.

— Не мало, — отвечал секретарь, — он теперь

работает с начальником полиции, Зедельницким. Потом ему придется прочесть с полдюжины депеш, и его ждет столько же аудиенций.

— Уф, сколько дела! — воскликнула молодая девушка. — А получены важные известия?

— Кому как, — отвечал Генц с улыбкой, — я думаю, что вы вовсе не интересуетесь политикой, и вам все равно, что делается в Дрездене, Флоренции и Париже.

— Вы очень ошибаетесь. В вашем отсутствии я читала отцу депеши, получаемые им каждое утро. Это давало отдых его глазам, а для меня служило уроком истории и географии. По крайней мере, я так его уверила. Ах, да, кстати, вы знаете, что герцог Рейхштадтский вскоре покинет Вену?

Оба собеседника княжны с удивлением переглянулись.

— Зачем ему покидать Вену? — спросил Генц.

— По той простой причине, что французский король снова уехал из Парижа, и туда обратно вызовут императора, а ведь теперь он император.

Пока она говорила, дверь из внутреннего кабинета канцлера отворилась, и Меттерних показался на пороге.

— О ком ты говоришь, Гермина? — спросил он, входя в комнату в сопровождении графа Зедельницкого.

Князь Клементий Меттерних был одним из самых блестящих франтов своего времени. Прежде чем на него ниспали высшие почести, и когда он был простым министром или послом, например, в Париже, Меттерних поражал всех изяществом и достоинством своей внешности, громадным умом, серьезными знаниями и любезным светским обращением. В каком бы положении ни находилась Австрия: в счастливом или несчастном, он всегда оставался спокойным, невозмутимым, и быть может, был еще любезнее в черные дни неудачи, чем в светлые минуты торжества.

Высокого роста, хорошо сложенный, он отличался благородной осанкой, не имевшей, однако, ничего гордого, надменного. Чисто выбритое лицо его сохраняло следы молодости, хотя он уже давно перешел границы того возраста, когда люди обыкновенные блекнут и стареют. Глаза его блестели замечательным пылом; нос, немного сгорбленный и слишком длинный, при-

давал выражению его лица смелый характер, которого недоставало другим его чертам, выразившим добродушие; рот, подвижный и хорошо очерченный, свидетельствовал о красноречии, утонченности и любезности его обладателя.

С годами, а князю было пятьдесят семь лет, его коротко остриженные и завитые волосы едва поседелли. Талия его сохранилась тонкой, эластичной. Согласно старой моде, он всегда носил фрак со стоячим воротником, короткие панталоны и шелковые чулки. Вообще он казался еще таким бодрым и свежим, что никого не удивляло его желание жениться в третий раз.

Гермина была дочерью его первой жены, отец которой, Кауниц, состоял его предшественником по канцлерству. От второй жены, урожденной баронессы Лейкам, он имел восемнадцатимесячного сына. Хороший отец и семьянин, Меттерних пользовался всеобщим уважением, и не только все восторгались его дипломатическими талантами, политической ловкостью, победившей гений Наполеона, но и его частными добродетелями. Одно только дурное качество всеми признавалось в могущественном канцлере. Он слишком восхищался собою и не допускал ни малейшей критики своих действий, считая ее личным для себя оскорблением. Любить жертв его политики значило сомневаться в его непогрешимости. Все, что он сделал, было хорошо, и все, что он создал, было совершенно. Ни малейшего сомнения нельзя было допустить в творении его ума и рук. Успех доказывал, что он был во всем прав. Он подчинил себе Европу и неограниченно повелевал всеми, даже своим государством. Никто не должен жаловаться на его силу и власть. Он был и будет еще долго повелителем Европы. Его воля была законом; о суде же истории он не заботился.

Вот каков был человек, вошедший в приемный кабинет канцлера и спросивший у своей дочери:

— О ком ты говоришь, Гермина?

— Княжна спрашивает меня, — отвечал Генц, — отчего герцог Рейхштадтский не наследует престол?

— Вот видите, граф, что я вам говорил, — произнес Меттерних, обращаясь к начальнику полиции. — Даже в моем доме говорят об этом. В настоящую минуту много молодежи в Европе мечтает о нем. Долг госу-

дарственного человека — положить конец распространению подобной заразы.

— Вы хотите посадить меня в тюрьму, отец? — воскликнула с улыбкой молодая девушка.

— Нет, глупая девочка, хотя ты, по-видимому, сочувствуешь моим врагам.

— Вашим врагам? Неужели вы, такой могущественный министр, считаете своими врагами несчастных принцев?

— Ты мне льстишь, дитя мое. Но не надо называть несчастным принцем, человека, с которым обращаются, как с внуком нашего императора.

— Грустно иметь только деда, когда есть еще мать, — заметила Гермина тоном искреннего сожаления.

— Не говори о том, чего ты не понимаешь, — резко произнес канцлер. — Поезжай домой и жди меня к обеду.

Гермина любезно поклонилась всем, поцеловала отца и вышла из комнаты.

III

ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕВРОПЫ

У Меттерниха были секретари, прекрасно сформированные им самим. Как все способные министры, он ограничивал свой личный труд только важными делами, а остальная работа производилась его помощниками, среди которых первое место занимал Фридрих фон Генц. Он не имел себе равных для резюмирования в нескольких словах самой сложной и длинной дипломатической бумаги.

— Подождите, граф, — сказал канцлер, обращаясь к начальнику полиции, едва только удалилась молодая девушка, — может быть, мы найдем какие-либо полезные указания в депешах, которые сейчас доложит господин тайный советник. Пожалуйста, Генц, покороче, как можно короче, потому что меня ждет посланный французского короля.

Генц взял со стола груды депеш, и, пробегая их глазами, стал громко докладывать:

— Из Константинополя сообщают, что султан мирится с мыслью о водворении французов в Алжире. Из Петербурга...

— Пропустите! — произнес Меттерних. — Я видел неделю тому назад в Карлсбаде Нессельроде. Ваши депеши, конечно, не передадут мне ничего нового.

— В Саксонии отголосок парижской революции, — продолжал Генц. — Беспорядки произошли в Лейпциге и Дрездене. Граф Коллорадо описывает положение дел в самых черных красках. Король, по-видимому, потерял голову.

— Что? — переспросил Меттерних.

— Его величество, — поправился Генц, — очень взволнован и колеблется, принять ли строгие меры против мятежников.

— Напишите депешу в том духе, что саксонский кабинет должен понимать всю ответственность, которую он несет на себе. Саксония прикрывает нас с запада, и если там начнется движение, то мы должны будем принять энергичные меры. Скажите Коллорадо, чтобы он действовал заодно с прусским посланником Иорданом. Продолжайте, Генц.

Зибер на лету схватил высказанные канцлером мысли и быстро записал, а Генц продолжал коротко излагать содержание депеш.

— В Италии тайные общества действуют энергично. Сыновья Людовика Наполеона, по-видимому, содействуют движению. Один из них, Луи Наполеон, собирается в Вену в надежде добиться от вас освобождения его двоюродного брата, герцога Рейхштадтского, с целью возратить ему французский престол.

— Освободить можно только узника, — заметил Меттерних, — а его высочество, герцог Рейхштадтский, не узник.

— Я повторил собственные слова Луи Наполеона.

— Но все-таки это выражение нелепое.

— Из Италии Коловат сообщает довольно странное известие. Из Милана отправились две женщины, чтобы вручить герцогу Рейхштадтскому важные бумаги, имеющие целью способствовать его бегству. Эти политические эмиссары нового рода проехали через Швейцарию, чтобы избежать полицейских агентов, посланных в погоню за ними.

— Вы знаете об этом? — спросил Меттерних, обращаясь к графу Зедельницкому.

— Давно. Это для меня не новость. В последние годы постоянно являются какой-нибудь сумасшедший

или сумасшедшая, предлагающие устроить бегство герцога. Но все это пустяки.

— Однако, теперь дело, кажется, серьезно, — заметил Меттерних.

— Будьте спокойны, князь, — отвечал начальник полиции, — я приму все нужные меры. Впрочем, герцог Рейхштадтский не обращает никакого внимания на подобные предложения, и если бы он получил какую-нибудь секретную бумагу, то немедленно принес бы ее императору или вам.

— Вы правы, до сих пор герцог был очень покорным и послушным юношей, но с некоторых пор мне кажется, что в нем происходит перемена.

— Увидим, — произнес начальник полиции и прибавил: — я могу удалиться?

— Конечно, любезный граф, — отвечал канцлер, но подумал, — мало видеть, надо предвидеть.

Когда начальник полиции удалился, то канцлер спросил:

— Генерал Бельяр приехал?

Получив утвердительный ответ от Зибера, он прибавил:

— Пусть войдет, но имейте в виду, что мы еще не признали нового короля, и я принимаю посланного Луи-Филиппа, а не французского короля. Сделайте соотвествующее распоряжение. Генерал один?

— Его сопровождает Швобель, — отвечал Зибер.

— В таком случае, останьтесь и запишите те официальные слова, которые могут быть произнесены.

Спустя несколько минут дверь с лестницы широко отворилась, и канцлеру доложили:

— Его превосходительство генерал-лейтенант граф Бельяр.

Генерал был в парадном мундире и при всех орденах. Несмотря на свои седые волосы, шестьдесят лет и тридцать ран, он казался очень бодрым.

— Вы, генерал, имеете передать поручение канцлеру австрийского двора и империи, — произнес Меттерних, встречая генерала посреди комнаты. — Я вас слушаю.

— Князь, — отвечал Бельяр таким же холодным официальным тоном, — его величество король Луи-Филипп I прислал меня к его величеству императору и королю с письмом и поручил мне объявить об его

восшествии на престол. Король приказал мне прибавить к его письму на словах, что он питает самые дружеские чувства к императору Францу и желает сохранить с его страной самые лучшие отношения, — произнося эти слова, генерал обернулся и, взяв из рук Швебеля бумагу, передал ее канцлеру. — Это копия с письма его величества короля, — произнес он.

Меттерних не принял бумаги и холодно произнес:

— Я должен прежде предупредить императора о вашем посещении и спросить его приказаний. Теперь же я могу только сказать, что мой августейший повелитель в этом неприятном и, могу сказать, плачевном случае, не будет руководствоваться своими личными чувствами. Его величество не вмешается в ваши внутренние дела, а только ограничится принятием мер для обеспечения тех трактатов, которые служили в продолжение 15 лет основой государственного права в Европе.

Этот холодный прием и ссылка на трактаты 1815 года сильно подействовали на Бельяра, не привыкшего к дипломатическим тонкостям. Но хитрый канцлер тотчас изменил свой тон и прибавил самым любезным, радушным образом:

— Наши официальные объяснения этим кончаются, генерал, но князь Меттерних очень рад позвать руку старому знакомому и поговорить с ним по душе.

Со светской улыбкой он предложил удивленному генералу кресло и, усевшись рядом с ним, начал частную беседу, во время которой секретари отошли на приличное расстояние.

— Так вы искренне думаете, генерал, — произнес Меттерних, — что у нового короля хватит сил, чтобы сдержать недовольных и положить конец внешней пропаганде?

— В этом ему все помогут, — отвечал Бельяр.

— Вы так думаете? Я же, напротив, полагаю, что французы, как всегда, увлекаются, а явись какой-нибудь счастливый генерал, красноречивый оратор или ловкий журналист, и вся Франция пойдет за ним. Я не хочу говорить что-либо дурное о вашей стране, но с тех пор, как я канцлер, то есть 18 лет, ни одно государство не давало мне столько забот, как ваша Франция.

— Может быть, это происходит от того, что Европа не позволяет ей сделать того, что она желает.

— Вы думаете? А никто у вас не ценит, как мы корректно держим себя относительно Наполеона II.

— Что вы хотите этим сказать?

— Уверяю вас, что французы обязаны питать к нам благодарность. Что было бы с Орлеанским домом, если бы позволили герцогу Рейхштадтскому явиться во Францию? Уже давно его прочат в короли бельгийские или греческие, а теперь вся его семья уверена, что стоит только ему показаться во Франции, и будет восстановлена империя. В пользу того ведут интриги Иосиф и Иероним Бонапарты, Ашиль Мюрат и королева Гортензия со своими беспокойными сыновьями. Дело доходит до того, что, право, для спокойствия Европы нам бы следовало напустить на Францию эту семью, которая не может сидеть спокойно.

— Ваши слова, князь, — заметил с достоинством Бельяр, — звучат угрозой, и вы не должны забывать, что я представитель короля.

— Нет, извините, — отвечал Меттерних с любезною улыбкой, — вы не представитель французского короля, и я не канцлер. Мы старые приятели и разговариваем по душам. Ну, успокойтесь насчет герцога Рейхштадтского: он не только не будет государем Франции, но никогда не покинет нашей страны. Это безусловно решено императором. Трагический наследник человека, подвергшего опасности все, что нам дорого, он одиноко окончит свою жизнь в созданном нами для него убежище. Его семья напрасно ждет его... Но что с вами?

Бельяр встал бледный и расстроенный; глаза его устремились в пространство, словно он видел какой-то призрак.

— Простите меня, князь, — промолвил он спустя несколько минут, — я ведь простой солдат, хотя мне и навязали дипломатическое поручение. Юноша, о котором вы говорите, сын моего императора. Отец обожал его, и мы все его любили. Вот перед моими глазами и возник столь знакомый образ его отца. А теперь он узник своего деда, навеки разлученный со своей родиной. Мысль об этом болезненно сжало мое сердце. Простите меня.

Меттерних очень любезно старался успокоить старика, уверяя его, что овладевшее им волнение только делает ему честь, и обещал как можно скорее сообщить ему удовлетворительный ответ императора.

— Приготовьте портфель, Зибер, — сказал канцлер после ухода генерала Бельяра, — я сейчас пойду к императору. Но меня ждет сотрудник “journal des Debats”, Пьер Лефран. Попросите его.

И он стал просматривать бумаги, которые должен был представить императору для подписи.

Между тем в комнату вошел Пьер Лефран. Это был молодой человек, приличный на взгляд и очень просто одетый; но, судя по его манерам, он не впервые встретился с сильными мира сего.

— Очень рад вас видеть, любезный коллега, — сказал князь с предупредительной улыбкой.

— Ваше сиятельство ошибается, — отвечал Лефран с удивлением, — я скромный журналист.

— Нет, я серьезно говорю, что мы — коллеги и даже сотрудники, — продолжал весело Меттерних, — до последнего времени я почти каждую неделю посылал статьи вашему редактору, он почти всегда их печатал. Впрочем, может быть, он и не знал настоящего автора статей. В таком случае не выдавайте меня. Ну, что нового в Париже? Поспокойнее там?

— Вероятно, генерал Бельяр сообщил вам об этом?

— Генерал объяснил мне о том, что думают в Тюльери и в Ратуше. А что говорят в газетном мире?

— Одержав победу, мы отдыхаем и ждем, — отвечал Лефран гордым тоном.

— Правда, — произнес серьезно Меттерних, — печать играла большую роль в том, что вы называете вашей победой. Вы большие изобретатели, господа французы. Вы создали новую силу, с которой нашим сыновьям надо будет считаться. Печать сильное оружие против правительства и обоюдоострое в его руках.

— Настоящая уважающая себя печать, — возразил Лефран, — не враг и не друг правительства во что бы то ни стало. Она собирает сведения и судит, но не питает безусловной ненависти и не холопничает.

— Во всяком случае, я постараюсь доказать вам во время вашего пребывания в Вене, как я уважаю эту новую силу. Будьте так любезны, пожалуйста ко мне, и я запросто приму вас в моей семье, увы, очень немногочисленной. Мы поговорим, как сила с силой.

— Я очень тронут оказанной мне честью, — отвечал Лефран, — и конечно, воспользуюсь этим любезным приглашением.

— И прекрасно, — произнес Меттерних, — вот Генц, которого позвольте вам представить, сообщит, когда можно меня застать дома. А пока он будет к вашим услугам и покажет вам все, что стоит посмотреть в Вене. Он также ваш коллега, хотя не признается в этом. Не правда ли, Генц, вы поможете г-ну Лефрану познакомиться с нашими венскими нравами?

— Ваша светлость, знаете, что я всегда готов исполнить все ваши желания, — отвечал хитрый представитель реакции, нимало не довольный тем, что ему придется вести дружбу с либеральным французским журналистом.

— Так до свидания, — сказал канцлер, — извините, что вас покину, но его величество меня ждет.

И он удалился во внутренние покои императора Франца.

“Какой либеральный человек, — подумал Лефран, — но если я составлю из его слов корреспонденцию, то буду молодцом из молодцов“.

V

ДВА МАРШАЛА

Генц обещал прислать новому приятелю карточки для обозрения художественных коллекций в различных дворцах, и они уже расставались, когда в комнату вошли два новых посетителя. Хотя они были в штатской одежде, но легко было узнать в них военных по выправке и манерам. Они были почти одинакового роста и возраста.

— Не беспокойтесь, господа, — сказал один из них, — мы подождем с маршалом Мармоном возвращения князя.

Лефран видел еще недавно Мармона в маршальском мундире и в шляпе с плюмажем среди свиты Карла X и с трудом узнал его в длинном синем сюртуке со стоячим воротником. Горе, поражение, изгнание оставили неизгладимые следы на его бледном исхудалом лице.

Но кто вошел с ним под руку и так бесцеремонно

проник в кабинет канцлера? Нельзя было смотреть без уважения на открытое, мужественное лицо этого человека. Оно дышало не только храбростью, но благородством и добротой. Голос его звучал, как боевая труба; но вместе с тем в нем слышались мягкие, нежные ноты, трогавшие сердце. На нем был длинный сюртук коричневого цвета.

— Брат императора, — шепнул Генц Лефрану, — фельдмаршал эрцгерцог Карл.

— Знаменитый воин, — отвечал француз, и прибавил мысленно: “А главное — честный человек”.

Эрцгерцог посмотрел ему вслед и, обращаясь к Мармону, сказал:

— Пари держу, любезный товарищ, что это ваш соотечественник. Но о чем он, черт возьми, говорил с Генцем, который ненавидит французов? Не правда ли, г-н тайный советник, что вы ненавидите Францию?

— Во всяком случае я принес ей менее вреда, чем вы, ваше высочество, — отвечал Генц, приводя в порядок депеши.

— Это еще вопрос. Чернила оставляют после себя более следов, чем кровь.

— Разве могут сравниться удары, нанесенные победителем при Асперне, с уколами дипломатических депеш?

И, отпустив эту эпиграмму либеральному принцу, который теперь питал открытое сочувствие к французам, Генц удалился во внутренний кабинет канцлера.

— Вот он каков! — воскликнул эрцгерцог, — победитель под Асперном! Он говорит об Эсслинге, но разве этот успех долго длился, разве за ним не следовал Ваграм? Я тогда осудил себя и вложил в ножны свою шпагу, которую уже более никогда не обнажал против Франции, когда вся Европа набросилась на нее. Я не люблю походов, которые начинаются беспорядочной толпой, а кончаются кровавой резней. Ну, да это все прошло. Мы исполнили свой долг, не правда ли? Я надеюсь, что меня уважают во Франции.

— Французская армия чтит ваше имя, ваше высочество.

— Ну, это уж слишком. Пусть бы меня только не забывали. Ну, а долго вы намерены, маршал, погостить в Вене?

Мармон отвечал, что он хотел посетить вновь все местности, где он когда-то сражался, и собрать материалы для мемуаров.

— А, вы собираетесь, как я, писать мемуары?

— Да. Наши рассказы, может быть, помогут истории произнести свой справедливый приговор и исправить много ошибок.

— Только бы они не заменили старые ошибочные взгляды новыми. Впрочем, как бы то ни было, писанье мемуаров услаждает нашу старость, и это хорошо.

Поощряемый добротой и любезностью эрцгерцога, Мармон сознался ему, что он хотел остаться в Вене подольше с целью рассказать сыну Наполеона историю войн его отца.

— Как бы не так! — отвечал эрцгерцог. — И вы думаете, что вам это дозволят? Вы не знаете, как воспитывают моего внучка. Правда, его провели через все чины и постепенно пожаловали в капралы, сержанты, офицеры и т.д. Он, вероятно, теперь эскадронный командир, не менее. Но он маршировал один в аллеях Шенбруна, у него нет и не было никогда товарищей, с которыми он мог бы отвести душу. Его учили истории, но так, что он ничего не знает о событиях последних тридцати лет, кроме того, что Меттерних спас всю Европу своей политикой. С каким счастьем от него скрыли бы, если б это было возможно, что были на свете Наполеон, который имел дерзость сделаться его отцом, и эрцгерцогиня, оплакивающая в Парми до сих пор, что она родила его в Париже. Но он, как нарочно, прекрасно помнит свое детство. Десять лет тому назад ему сказали, что отец его умер, и он целый год носил по нему траур на руке и шпаге. Теперь он продолжал носить этот траур, но вот где.

Эрцгерцог ударил себя рукой по сердцу.

— А его мать? — спросил Мармон.

— Он, может быть, знает, что она вышла вторично замуж, и что у нее есть другие дети. В продолжение последних семнадцати лет он видел ее три раза. Моя племянница женщина добрая, но слабохарактерная и забывчивая. За ним же зорко следят и не отпускают никуда одного. По временам я встречаю его в опере, но с ним всегда его наставник, Маврикий Дитрихштейн или Абенаус, и ему не дозволяют даже говорить со мною. Англичане посеяли семена Гудсона Ло в

Вене, и они дали плод. Если вы увидите римского короля, то заплачете, так жалко смотреть на него.

Мармон не раз слышал рассказы о заточении в Шенбруне узника Меттерниха, но подтверждение их таким правдивым свидетелем неприятно поразили его.

— Да, очень жаль его, — продолжал эрцгерцог, — у него есть сердце и в жилах течет геройская кровь. Ах, если б его даже теперь посадить на лошадь и послать в свободную степь во главе эскадрона наших улан, то он еще показал бы себя!

— Не лучше ли ему дать эскадрон наших драгун? — заметил Мармон с прежней гордостью.

— Вы правы, — отвечал эрцгерцог, — это было бы лучше для него и для нас.

VI

ЖЕНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Дальнейшим откровенностям двух маршалов положило конец появление канцлера. Он извинился перед эрцгерцогом, что заставил его ждать, и свалил всю вину на императора, который его задержал. С маршалом Мармоном он поздоровался как со старым приятелем. Действительно, много раз он посещал его в Париже и принимал его в своем венском доме. Он очень любил с ним разговаривать и постоянно восторгался его блестящим умом, который, однако, несколько изменился событиями последних лет, наложившими мрачное пятно на бывшего друга Наполеона.

Эрцгерцог по доброте душевной взял на себя высказать Меттерниху желание Мармона.

— Маршал желал бы, прежде чем совершенно сойти с политической сцены, повидать сына его старого друга.

Меттерних, несмотря на все свое дипломатическое искусство, не мог скрыть, что слова эрцгерцога не были ему приятны.

— Я думаю, — прибавил Мармон, — что излишне обязываться не восстанавливать молодого герцога против его деда? Я знаю, что он принадлежит всецело вашей стране, и если я желаю повидаться с ним, то лишь по чувству нравственного долга, обязывающего меня помириться с тенью императора в лице его сына.

— Вы совершенно правы, и должны это сделать, — произнес эрцгерцог с чувством.

— По счастью, маршал, — отвечал Меттерних, — мне не придется докладывать о вашем желании императору, который мог бы вам отказать. Его величество потребовал сегодня к себе герцога Рейхштадтского и потом пришлет его сюда, так как мне поручено ему сообщить кое-что. Таким образом, вы можете видеть его здесь в моем присутствии без всякого разрешения императора.

— Примите мою сердечную благодарность, — произнес Мармон.

— И я, — прибавил эрцгерцог, — воспользуюсь этим случаем, чтобы поцеловать моего внука.

В эту минуту в комнату вошел Зибер, подал канцлеру записку, которую он прочел с улыбкой.

В записке княгиня Сариа уведомляла его о своем возвращении в Вену и просила принять ее немедленно.

— Сейчас, сейчас, — сказал он и, обращаясь к эрцгерцогу, прибавил, — позвольте мне, ваше высочество, принять княгиню Сариа, которая находится в родстве с семьею Зичи. Это прелестная женщина, и я хлопочу, чтобы снять секвестр с поместий ее мужа, который был запутан в последней венгерской истории, а затем умер.

— Сделайте одолжение, — отвечал любезно эрцгерцог.

Спустя минуту в дверях показалась княгиня Сариа, сияющая красотой и, в изящном, модном костюме.

— Здравствуйте, милая путешественница, — сказал Меттерних, встречая ее и целуя ей руку. — Его высочество и маршал Мармон сжалились над моим нетерпением вас увидеть и дозволили мне приветствовать вас при них.

Полина грациозно поклонилась маршалу и церемонно присела к эрцгерцогу.

— Я очень благодарна его высочеству, — сказала она и, усевшись в кресло, прибавила, пока оба маршала отошли в сторону. — Прежде всего, князь, скажите, правда, что вы женитесь на Мелании Зичи?

— Правда.

— Я очень рада и за нее и за вас. Значит, я недаром приехала и перенесла столько неприятностей.

— А разве ваше путешествие было неприятное?

— И не говорите. Мне вздумалось проехать через

Швейцарию, и я насмотрелась столько ужасов. Мой экипаж едва не опрокинулся раз двадцать, и потом швейцарские трактирщики хуже разбойников.

— Во всяком случае вы благополучно доехали, и за это надо благодарить небо. А где вы остановились?

— Пока еще в гостинице. Успеется найти помещение, когда я решу совсем перебраться в Вену.

— А разве этого еще не решили?

— Это будет зависеть от того, как поступит со мною правительство, и признает ли оно себя виновным.

— В чем? Ведь ваш муж был заговорщиком.

— Нет.

— По крайней мере, его считали заговорщиком.

— И ошибались так же, как ошибались, удерживая меня три года в Милане. Вы знаете, что полиция не только следила за мною там, но по выезде из Милана за мной устроили погоню, и если бы я не поехала через Швейцарию, то до сих пор находилась бы под надзором полиции.

Полина нарочно упомянула о полиции, чтобы узнать, предупрежден ли был Меттерних об ее приезде с двумя белошвейками, и по незаметному движению в его лице убедилась, что он кое-что знал. Действительно, как только она упомянула о своей поездке через Швейцарию, он тотчас вспомнил о полицейских донесениях и дипломатической депеше, извещавших о том, что две женщины взяли на себя смелость отвезти важные бумаги герцогу Рейхштадтскому, выбрав дорогу через Швейцарию, чтобы избежать полицейских преследований.

— Во всяком случае, — произнес громко канцлер, — ваше дело, княгиня, благополучно окончилось. Я говорил с императором, и он согласен забыть прошедшее. Даю вам слово, что секвестр с поместий вашего мужа будет снят.

— В таком случае мне остается только вас благодарить, — отвечала Полина.

— Мне этого мало, — произнес канцлер, — я и прошу у вас совета.

— Полноте, какой я могу вам дать совет.

— Нет, уверяю вас, княгиня, я нахожусь в большом затруднении, и только такая умная женщина, как вы, может помочь мне найти выход.

Полина внимательно посмотрела на старого дипломата, чувствуя, что он расставляет ей сети.

— Видите ли, княгиня, в чем дело: надо найти средство, чтобы узнать, о чем думает молодой человек, живший до сих пор в одиночестве, не тяготится ли он своим положением и не мечтает ли выйти из него.

— Кто же этот молодой человек? — спросила княгиня.

— Вы сейчас это узнаете, но прежде скажите мне, как изгнать из головы двадцатилетнего юноши желанные приключения и славы.

— Очень просто. Откройте птице клетку, она полетает, полетает, попробует свои силы и вернется назад, так как она слишком привыкла к золоченой неволе, чтобы расстаться с нею.

— Это средство слишком опасно. Нет ли другого?

— Есть и другое. Впустить в клетку другую птицу. Очувтившись вдвоем, узник забудет свою неволю и бросит всякую мысль о свободе.

Меттерних пристально смотрел на свою собеседницу и не заметил в ней ни следа смущения. Он решительно ошибся и не имел никакого основания принимать прелестную княгиню Сариа за искательницу приключений.

— А как же найти подобающую птицу? — спросил он, продолжая начатый разговор.

— Вы находите послов, найдите и посланниц.

— Это легко сказать, а сделать трудно.

— В таком случае положитесь на случайность. Иногда случай бывает умнее самого Меттерниха.

— А пока не явится такой случай, я не буду знать, что происходит в белокурой голове.

— А он белокурый?

— Вот я и проговорился. Впрочем, все равно, вот и он сам.

Как по-вашему, он изменился в три года?

В эту минуту в комнату вошел юноша, и княгиня Сариа промолвила:

— Герцог Рейхштадтский! Да, он очень изменился.

Она невольно встала и так пристально, так внимательно осмотрела вошедшего с головы до ног, что ей самой показалось странным подобное внимание со стороны обыкновенно равнодушной, скептической светской красавицы.

VII

ЕГО СЫН

Герцог Рейхштадтский вошел в сопровождении своего наставника, графа Маврикия Дитрихштейна, и прямо подошел к канцлеру, словно никого другого не было в комнате.

— Я только что был у дедушки, — сказал он дрожащим голосом, — и он мне сказал, что вы имеете передать мне его приказания. Хотя я и пришел к вам, но не лучше ли вам передать эти приказания графу Маврикию. Он распоряжается в Шенбруне за отсутствием императора, и ему, я полагаю, следует принимать приказания.

В эту минуту он заметил эрцгерцога, стоявшего у окна с Мармоном и, подойдя к нему, произнес:

— Простите, дедушка, я вас не заметил.

Пока старик его обнимал, юноша шепотом прибавил:

— Я очень несчастен.

— Что с тобой, Франц? Кто тебя обидел?

— Молодой герцог слишком увлекается, — сказал Меттерних, также приближаясь к эрцгерцогу и юноше. — Дело идет не о распоряжениях по Шенбрунскому замку, а его величество приказал мне напомнить вам, герцог, о том, что такой принц, как вы, обязаны подчиняться этикету.

— Разве я нарушил обязанность, налагаемую на меня моим положением, господин канцлер?

— Нет, Боже избави, ваше высочество. Очень естественно любить кататься верхом и принимать ваших друзей, но дедушка желает, чтобы вы впредь ничего не делали без его разрешения.

— Прошу вас, князь, выразиться определенно.

— Например, вы любите разговаривать с графом Прокеш-Остеном, и вы с ним катались верхом, а вашему дедушке угодно, чтобы вы впредь не беседовали с графом иначе, как в присутствии третьего лица.

— Я слышал, — отвечал с горечью герцог, — что моему другу Прокешу дано поручение ехать в Италию надолго. Значит, я его более не увижу.

— Никто не говорит о том, чтобы ваше высочество его не видели, но...

— Я очень хорошо понимаю, чего хотят от меня, но не люблю наушников. В моих словах нет ничего обидного, и если дедушка не желает, чтобы я свободно говорил с моими друзьями, то я не буду с ними видиться.

— Император еще боится, — продолжал Меттерних, как бы ни в чем не бывало, — что вы слишком свободно ходите по Вене, герцог, и ваша свита не знает, куда вы направляетесь.

— Хорошо, понимаю. Выходя из дома, я буду всегда говорить, куда иду, чтобы можно было следить за мной.

— Не следить, ваше высочество, а охранять вас.

— Хорошо, хорошо, я все понимаю... Не правда ли, я должен как можно больше оставаться в том парке, который служит мне тюрьмой? Мне следует не думать ни о чем, не надеяться ни на что и даже не удивляться, что мне переменяли имя. Хорошо, господин канцлер, я все понимаю.

Эрцгерцог насупил брови, а Полина подумала: “Бедный юноша!”

Меттерних оставался холодным, непреклонным, однако и он после минутного молчания изменил свой тон и произнес очень любезно:

— Теперь я кончил неприятное поручение, данное мне его величеством, и могу сообщить вам приятную новость.

Герцог молча посмотрел на канцлера, и его голубые глаза ясно говорили: “Мне нечего ждать от вас приятного известия”.

— Его величество, — продолжал Меттерних, — желая доказать свою постоянную любовь к вам, назначил вас губернатором Граца, командиром гренадерского полка и шефом драгунского полка, который будет называться Рейхштадтским.

— А когда мне ехать в Грац? — спросил недоверчиво юноша.

— Это только почетное назначение, и вам не надо покидать Шенбрун.

— Хорошо, и драгунским полком мне не позволят командовать, а заменят его оловянными солдатиками?

— Нет, вероятно, вы будете командовать вашим полком на парадах.

— А если будет война, то я поведу своих солдат на врагов?

— Не волнуйтесь, ваше высочество, мы живем в мире со всеми народами, и вам, вероятно, никогда не придется обнажить вашей сабли.

— В таком случае, — произнес герцог, — зачем меня назначают губернатором в такой город, куда я не могу ехать, и дают мне такой полк, которого я не могу вести на неприятеля?

Эрцгерцог Карл не мог более выдержать и, взяв за плечо внука, сказал вполголоса:

— Успокойся, Франц, я все устрою.

Потом он громко произнес:

— А ты знаешь, Франц, какой тебе дают полк? Эти драгуны прежде назывались драгуны Латура, и под Ваграмом они дрогнули от атаки французской кавалерии, но я бросился вперед и крикнул им: “Разве вы не драгуны Латура?” Они отвечали: “Да, да”, и бросились с таким пылом на гренадеров Удино, что они должны были отступить. Не правда ли, маршал Мармон?

Это имя Мармона, неожиданно произнесенное перед сыном Наполеона, произвело потрясающее впечатление на узника Меттерниха.

— Мармон здесь! — воскликнул он. — Вы маршал Мармон! — воскликнул юноша, сверкая глазами. — Правда ли, что вы покинули моего отца?

— Что ты говоришь? — произнес эрцгерцог.

— Откуда он это знает? — промолвил Меттерних.

— Bravo, настоящий сын Наполеона! — произнесла громко Полина.

Тяжелое молчание водворилось в комнате. Мармон бледный, с налившимися кровью глазами, хотел сказать, как всегда, в свою защиту, что он любил Францию более императора, но не мог выговорить ни слова.

Сам герцог Рейхштадтский поспешил на его выручку.

— Может быть, я ошибаюсь, маршал, — сказал он, — меня очень плохо учили истории, но я все-таки знаю, что вы до тех пор храбро сражались в Италии, Испании, Австрии и даже во Франции. Я знаю, что вы долго были верным товарищем отца, и поэтому все-таки с удовольствием пожму вам руку, до которой, вероятно, не раз прикасался мой отец.

Мармон едва удержался от душивших его слез, и

пока он дрожащими руками схватил протянутую ему руку, герцог прибавил вполголоса:

— Однако вы должны были очень страдать, покидая вашего старого товарища.

Между тем Меттерних сделал выговор Дитрихштейну за недостаточный надзор и приказал навести справку о том, кто мог сообщить недозволенные сведения Шенбрунскому юноше.

Покончив с Мармоном, герцог спокойно сказал, обращаясь к Меттерниху:

— Прошу вас, передайте мою благодарность императору. Я с удовольствием надену мундир храброго драгунского полка, о котором так лестно отозвался мой дед, знающий в этом толк, но я надеюсь, что это новое назначение не заставит меня никогда воевать с Францией.

— Император будет очень доволен узнать, ваше высочество, — отвечал канцлер, — что вы готовы исполнять все его приказания, и что он может всегда рассчитывать на вас, как на принца, преданного своему дому и своей стране.

— Еще бы! — произнес герцог, гордо поднимая голову, — он сам мне объяснил несколько лет тому назад, в чем состоит мой долг. Я был тогда ребенком и играл в его кабинете в Шенбруне. Неожиданно он положил мне руку на голову и сказал: “Жаль, что ты не постарше, тогда тебе было бы достаточно появиться на Страсбургском мосту, чтобы в Париже прекратилось царство Бурбонов“. Дедушка никогда бы мне этого не сказал, если бы не был убежден так же, как вы, что я предан своему долгу и своей стране.

— Хорошо сказано, — промолвил эрцгерцог.

Меттерних узнал то, что ему было необходимо, и подумал:

— Мое предчувствие меня не обмануло, надо действовать энергично.

Мармон трогательно распростился с герцогом, высказывал ему всю преданность и выразил надежду, что еще увидится с ним. Меттерних проводил маршала до дверей, а герцог, смотря ему вслед, промолвил:

— Он был на войне с отцом.

Неожиданно глаза его остановились на красивой, блестящей женщине, присутствие которой он до сих пор не замечал.

— Кто эта дама, бабушка? — спросил он вполголоса. — Она была здесь все время?

— Да, это княгиня Сариа.

Юноша подошел к Полине и произнес с почтительным поклоном:

— Я должен просить у вас извинения, княгиня, что в вашем присутствии позволил себе непростительную выходку.

— Ваше высочество, бывают прекрасные увлечения, в которых нечего извиняться, — отвечала Полина.

Голос ее показался юноше звучным, сладким, а взгляд ее добрым, сочувственным.

— Вы находитесь в дружеском отношении с канцлером? — спросил герцог, не понимая, как она очутилась в кабинете Меттерниха.

— Я возвратившаяся изгнанница, — отвечала с улыбкой Полина, — и мой пример доказывает, что можно возвратиться из изгнания.

— Но для этого необходимо подчиниться.

— Нет, ваше высочество, надо только терпеливо ждать. Минута справедливости рано или поздно настанет.

Герцог бросил на нее взгляд, полный восхищения и благодарности.

— Ну, Франц, пойдем со мною, — сказал эрцгерцог Карл, — я провожу тебя до лестницы и там отдам на попечение Дитрихштейну.

Молодой человек последовал за своим дедом, но не слышал его слов, и ему все мерещился симпатичный образ красавицы.

Оставшись наедине с Меттернихом, Полина сказала, искусно маскируя свое неожиданное смущение:

— Мы с вами и забыли третье средство узнать, о чем мечтает ваш узник, именно спросить его об этом.

— Так что же, вы полагаете, княгиня, мне предпринять? — спросил канцлер.

— Ничего. Дайте ему свободу и окажите доверие, это благородная душа.

— А я все-таки думаю, что второе средство лучше, — хитро заметил канцлер и пристально посмотрел на молодую женщину.

— А я думаю, что оно теперь ни к чему не приведет, — отвечала Полина, — но мне пора, князь,

навестить эрцгерцогиню Софию, которая так же, как вы, сохранила обо мне добрую память.

— Эрцгерцогиня совершенно оправилась, — произнес Меттерних, провожая княгиню до дверей, — и послезавтра в Шенбруне назначены крестины ее маленького сына. Вы там будете, княгиня?

— Постараюсь.

— Так до свидания в Шенбруне.

— А как назовут нового внука императора?

— Францем-Иосифом.

И Меттерних с любезностью поцеловал на прощание руку у княгини Сариа.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СМЕЛАЯ ПОПЫТКА

I

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО АГЕНТА

Посадив Фабио в Миланскую тюрьму вечером 26 июня, Галлони стал обсуждать со всех сторон, как окончить блестящим образом начатое им дело, чтобы заслужить повышение. Ему невыносимо было прозябать в мелкой должности, когда он чувствовал способность разыграть первую роль, хотя бы в полиции.

“Во что бы то ни стало, мне нужно достать эти бумаги, — думал он, — а то снова прощай все надежды, да еще, может быть, я получу выговор за беспричинный арест Фабио. Но разве можно сделать яичницу, не разбив яиц? Но как ловко провела меня эта княгиня! Куда она дела бумаги? Нет, я глупо сделал, что послушал офицера и не продолжал обыска. Лучше я вернусь снова в магазин, посмотрю, что там делается, а потом отправлюсь в дом княгини и устрою там полицейский надзор за всеми действиями”.

Спустя несколько минут он снова подошел к магазину со своими сбирами, и только что поставленные на часы жандармы, которые сменили прежних, удостоверили, что никто при них не входил в дом и не выходил из него, а видневшийся свет в окне над магазином только что погас.

Галлони успокоился, так как он не знал, что в доме никого не было, кроме продавщицы Элизы, и поспешно направился в родовой дом княгини Сариа, Casa Sorati, на улице Санто-Андреа. Там также все было благополучно. Свет мерцал в некоторых окнах верхнего этажа, где, очевидно, жили слуги. Наконец, и там он исчез, когда на городских часах пробило полночь.

Прежде, чем идти спать, Галлони принял последние две меры предосторожности. Он поставил двух часовых у дома княгини Сариа и, зайдя в почтамт,

предупредил дежурного чиновника, чтобы перехвачены были все письма, адресованные на имя этой аристократки и посылаемые ею.

Каково же было его разочарование, когда на следующее утро он увидел, что белошвейки покинули свое жилище, и узнал, что княгиня Сариа вместе с ними выехала рано утром на почтовых по дороге в Комо: хотя один из его сбиров поскакал за ними, чтобы не выпустить из вида, но этого было недостаточно, и Галлони отправился в дом губернатора, так как он был вполне убежден, что беглянки увезли с собою драгоценные бумаги.

Было восемь часов утра, и лакей губернатора отказался разбудить его.

Галлони рассердился и предъявил свой бланк агента тайной полиции.

— Ступайте к начальнику полиции, это дело его, а не губернатора.

— Я желаю видеть губернатора по важному государственному делу, и никто, кроме него, не может принять необходимых мер в этом случае.

После долгих переговоров лакей смиловился и доложил губернатору о приходе Галлони, но только в 9 часов он добился аудиенции, — так долго вставал и одевался губернатор.

Когда сыщик подробно рассказал о всем случившемся накануне и в это утро, то губернатор промолвил с улыбкой:

— Не может быть, чтобы такая блестящая аристократка, как княгиня Сариа, имеющая важные связи в Вене, приняла участие в заговоре с двумя белошвейками и мелким адвокатом.

— Если, ваше превосходительство, мне не верите, то не угодно ли вам допросить графа Бальди, который присутствовал при обыске магазина “Золотые ножницы”.

Вместе с тем сыщик настоятельно требовал, чтобы ему был выдан тотчас приказ о принятии необходимых мер против княгини Сариа и ее двух сообщниц, обвиняемых в укрывательстве важных государственных бумаг, и чтобы его лично тотчас отправили в погоню за ними. Губернатор тем скорее на это согласился, что ему необходимо было переслать в Вену секретные письма не по государственному делу, а по любовной интрижке, и они достигли бы вернее своего назначе-

ния в кармане Галлони, чем по почте. К приказу о преследовании и аресте подозрительных дам губернатор прибавил рекомендательное письмо к начальнику венской полиции Зедельницкому.

— Ваше превосходительство, конечно, уведомите об этом министра, — сказал Галлони, выходя из кабинета, так как ваше донесение очистит мне почву для действий в Вене.

Вернувшись к своему туалету, губернатор промолвил вполголоса:

— Конечно, княгиня докажет всю глупость взведенного на нее обвинения, и тем дело кончится.

Между тем Галлони не терял времени, но он не бросился в погоню за экипажем княгини Сариа, который спокойно катился по дороге в Комо, а отправился прямо в Вену по более прямой почтовой дороге через Бресчию, Верону и Удине.

“Я прибуду в Вену раньше ее, — думал он, — и если мне там окажут содействие, то я легко накрою княгиню, которая будет считаться вполне безопасной и не примет мер, чтобы скрыть драгоценные документы“.

Все случилось, как предвидел ловкий сыщик. Жандарм догнал княгиню Сариа на швейцарской границе, и хотя там подвергли строгому рассмотрению паспорта трех женщин, но они оказались в порядке, и пришлось их пропустить, а, однажды очутившись в Швейцарии, они уже были вне когтей австрийской полиции.

Что касается Галлони, то он не спеша достиг Вены иной дорогой и явился туда ровно вовремя.

II

ОТЕЛЬ “ЛЕБЕДЬ“

Первым делом Галлони по прибытии в Вену было доставить секретные письма миланского губернатора, а затем он отправился к начальнику полиции и выправил себе разрешение содействовать столичной полиции в розыскании заговорщиков, по делу вручения герцога Рейхштадтскому важных документов. Наконец он поместился в маленькой гостинице у городских ворот, выходящих на дорогу, которая вела из Тироля и Швейцарии.

На третий день он с удовольствием увидел дорожный экипаж, в котором спокойно сидели его беглянки. Он последовал за ними и убедился, что они поселились на некоторое время в отеле "Лебедь" на Карентинской улице.

Вечером в тот же день граф Зедельницкий в сопровождении Галлони, который доложил ему подробно обо всем, посетил отель "Лебедь" и даже номер, занятый княгиней Сариа, пока ее не было дома. Испуганный хозяин отеля подробно отвечал на все вопросы графа.

— Давно ли живет здесь княгиня?

— С сегодняшнего утра. Может быть, ваше превосходительство, мне не следовало принимать ее? Если вы прикажете, то я тотчас ей откажу.

— Нет, — отвечал граф, пожимая плечами, — княгиня почтенная дама и имеет большие связи при дворе.

— Я так и думал; это очень приличная особа. Ее сопровождают две женщины, которые значатся по паспорту белошвейками. Они заняли скромную комнату под номером княгини.

— Вы их знаете, они когда-нибудь останавливались в отеле?

— Нет. Прикажете их удалить?

— Ни их и никого другого.

— Есть еще у вас новые путешественники?

— Только один журналист из Парижа, которому тайный советник Фридрих Генц только что прислал кучу карточек для осмотра венских музеев.

— Что же, княгиня целый день не была дома?

— Она уезжала во дворец, как мне сказал кучер, затем она вернулась и обедала одна в час. В три часа она поехала к эрцгерцогине Софии, как мне сообщил швейцар; теперь ее ждут с минуты на минуту, а вечером она собирается опять выехать.

— Поздравляю, вы все знаете о своих жильцах, значит ваш отель прекрасно организован. Прошу вас передавать моему уполномоченному все письма и пакеты, которые будут получаться или отправляться вашими жильцами. Вы поняли меня?

— Понял, ваше превосходительство, ваше приказание относится и до княгини Сариа?

— Да, лучше не делать исключения ни для кого. Если же княгиня узнает, что мы были в ее комнатах,

то скажите, что мы путешественники и желаем занять ее номер, когда она его очистит.

С этими словами граф отпустил трактирщика и, оставшись наедине с Галлони, спросил его:

— Вы осмотрели местность?

— Конечно. Вот здесь рядом спальня; она выходит в гардеробную, которая соединяется дверью с задней лестницей, а в гостиную прямо входят с парадной лестницы. Вот и все.

— Так не угодно ли вам покуда только следить за всеми шагами этих лиц. Хотя ваши первые действия в этом деле были неудачными, но вы потом доказали свою ловкость, отыскав здесь ваших беглянок, но помните, что Вена не Милан, и венцы не миланцы. Хотя вы не принадлежите к здешней полиции, но я дозволю вам окончить это дело. Только смотрите, оправдайте рекомендацию миланского губернатора, главное, будьте осторожны и не торопитесь.

— Да мне теперь и делать нечего, ваше превосходительство, документы должны еще находиться в кармане княгини, и я подожду, пока она опорожнит свои карманы.

— Но пока я вам не разрешаю действовать, — прибавил граф.

Галлони кивнул головой, но этот безмолвный знак мог означать одинаково и “слушаюсь” и “как бы не так”.

— Княгиня Сариа вернулась, и если ваше превосходительство желаете, то можете с ней познакомиться, — произнес хозяин отеля, приотворяя дверь.

— Я несколько этого не желаю, — отвечал граф Зедельницкий.

— А я тем более, так как она меня знает, — прибавил Галлони.

— Идите навстречу вашей жиличке, а мы удалимся задним ходом. Вот глупая история! Но, Галлони, воспользуйтесь этим, чтобы осмотреть все входы и выходы.

В ту самую минуту, как они исчезли по задней лестнице, парадная дверь отворилась, и Полина вошла в номер в сопровождении горничной.

— Извините, ваше сиятельство, что я позволил себе войти в ваши апартаменты, — сказал хозяин отеля, низко кланяясь, — но я хотел убедиться, все ли в порядке, и к тому же я должен был показать

их двум путешественникам, которые хотят снять их, когда вы покинете отель, что я, надеюсь, будет не скоро.

Слушая его, Полина поправляла себе прическу у зеркала, но случайно она взглянула в окно и вздрогнула. По улице быстро шли два человека, и один из них украдкой смотрел на ее окно. В его бледном, решительном и вселяющем отвращение лице она узнала миланского сыщика.

— Это ваши новые жильцы, — сказала она, указывая на быстро удаляющиеся фигуры. — Нечего сказать, хорошие у вас клиенты.

— Я, право, не вижу так далеко, — сказал хозяин отеля в большом смущении.

— Я надеюсь, что вы дали им обо мне все сведения, какие они желали. Я нимало не хочу ссорить вас с полицией.

— Что же делать, несчастные хозяева отелей подвергнуты постоянному полицейскому надзору.

— Пожалуйста, не делайте исключения для меня. Докладывайте полиции о всех лицах, которые будут меня посещать, даже показывайте мои письма.

— Как, ваше сиятельство, вы позволяете? — воскликнул с удивлением хозяин.

— Да, конечно, в наше время надо подчиняться подобным неприятностям, в особенности, когда нечего бояться. Ну, до свидания. Прошу вас, прикажите сказать, чтобы девицы Лолив зашли ко мне, когда окончат свою работу.

Оставшись одна, Полина стала серьезно обдумывать свое положение. Очевидно, Галлони не считал себя побежденным; проследил их до Вены, уведомил полицию об их прибытии и окружил хитрой сетью бедных женщин, которые надеялись, что избегли его когтей. Но неужели Меттерних вел двойную игру и с одной стороны принимал ее любезно, а с другой подвергал унижительному полицейскому надзору. Что ей делать? Она хотела повести снова веселую светскую жизнь, а обстоятельства наталкивали ее на участие в политическом заговоре. Конечно, в пользу такого интересного и симпатичного юноши, каким ей показался неожиданно герцог Рейхштадтский, можно было действовать с удовольствием. Но что она могла сделать? Она была вполне беспомощна, и потому решила остаться в стороне, не обращая внимания на

полицейские неприятности, тем более, что ей никто не поручал исправлять ошибок истории.

“А жаль“, — промолвила она мысленно, вспомнив о красивой фигуре молодого человека, об его благородной выходке относительно Мармона и в особенности о нежном, сочувственном взгляде, брошенном на нее.

III

ПЛАН ДЕЙСТВИЯ

— Княгиня, должно быть, получила дурные известия, — сказала Шарлотта своей тетке, входя в гостиную, — посмотрите, как она грустна.

— Не бойтесь, не случилось никакого несчастья, — отвечала Полина, услышав слова молодой девушки, хотя они и были сказаны вполголоса, — напротив, я нашла старых и новых друзей, так что стоит нам только сказать слово, и наше дело в шляпе.

— Неужели? — воскликнула Шарлотта, просяив.

— Но я еще не упомянула о нашем деле никому. Оказывается, что наши миланские друзья прекрасно выбрали минуту для действия, хотя сами этого не подозревали. Парижская революция дает все шансы на успех сыну Наполеона.

— Бедный юноша!

— Я видела его, — воскликнула Полина, обрадовавшись случаю поговорить о молодом человеке, который произвел на нее глубокое впечатление, — как он переменялся! Три года тому назад он был бледным, грустным ребенком, сгорбленным под бременем несчастья, а теперь он стал прекрасным, благородным, смелым, мыслящим юношей. А глаза у него светлые, открытые, добрые.

— Помните, тетя, и Фабио говорил то же.

— Люди, окружающие его, начинают понимать принца, — продолжала Полина, — они боятся его. Я пристально смотрела на Меттерниха, пока герцог Рейхштадтский говорил, и ясно было, что он в молодом австрийском офицере видел неожиданно воскресший образ его великого отца. Хитрый дипломат словно слышал голос умершего колосса, и как будто перед ним воскресали кровавые годы его борьбы с

императором. Эта была поразительная, чудная сцена.

— Я понимаю, почему вы не могли еще сказать ни слова о Миланском деле, — заметила Шарлотта.

— Я не говорила о нем, но оно известно Меттерниху. Он знает, что мы приехали втроем, и, быть может, подозревает, что в наших руках драгоценные документы. Но не беспокойтесь, все уладится.

— Простите, княгиня, — произнесла тетка молодой девушки, — не лучше ли нам уничтожить эти бумаги?

Шарлотта всплеснула руками от удивления и гнева.

— Зачем их уничтожать? — спросила Полина.

— Мы хотим просить помилования человека, который должен был привезти сюда эти бумаги, а сами хотим обмануть лиц, у которых просим милости. Это нехорошо.

— Нет, тетя. Мы не имеем права уничтожить бумаги, которые нам поручил Фабио. Он слишком дорого платит за их сохранение.

— Вы правы, дитя мое, — заметила Полина.

— Однако надо выбирать одно из двух: или освободить из тюрьмы твоего жениха и сжечь бумаги, или сохранить бумаги и не просить о помиловании Фабио.

— Вы хотите, чтобы ваша племянница обесчестила своего жениха и добилась его освобождения ценой предательства.

— Нет, но я боюсь, что мы поступим неблагородно, если не уничтожим бумаг. Простите, княгиня, я знаю, с каким мужеством и с какой добротой вы оказали нам помощь в этом несчастном деле. Я вам за это очень благодарна, тем более, что вы компрометировали себя без всякой причины. Но я не хочу, чтобы вы ради нас совершили неблагородный поступок.

— Подумаем хорошенько и решим, что мы должны сделать по совести, — отвечала с улыбкой Полина и протянула руку доброй старухе.

— Я полагаю, — воскликнула Шарлотта, — что прежде, чем решать судьбу пакета с бумагами, надо посмотреть, что в них находится.

— Вы совершенно правы, Шарлотта, и если эти бумаги окажутся пустыми, то мы их тотчас уничтожим, не правда ли, наша ходячая совесть? — прибавила княгиня, обращаясь к тетке молодой девушки.

— Я не вижу, к чему поведет это пустое любопытство, — отвечала старуха. — А если бумаги окажутся важными, то что мы сделаем?

— Увидим, а что я не любопытна, то сейчас вам докажу, тетя. Вы обе откроете пакет, а я выйду в соседнюю комнату и буду караулить, чтобы нас никто не подсмотрел.

— Хорошо, Шарлотта.

Молодая девушка быстро выбежала из комнаты и старательно затворила за собой дверь.

— Я распечатаю конверт, — сказала Полина, вынимая его из своего кармана и показывая, что сургуч остался неприкосновенным, — мы прочитаем бумаги, а затем вы сами, г-жа Лоллив, решите, что с ними делать.

В пакете оказалось восемь свернутых бумаг. Полина прежде всего развернула четыре письма.

— Все они адресованы, — сказала Полина, — “его императорскому высочеству принцу Наполеону-Франциску-Бонапарту, герцогу Рейхштадтскому“, а подписано одно “Иосифом“, другое “Иеронимом“, третье “Ашилем Мюратом“, а четвертое “Луи-Наполеоном Бонапартом“.

— Ватага нищих, — промолвила старуха с инстинктивной ненавистью парижской буржуазии к семье императора.

— Вы правы, за исключением первого, который очень богат.

— Пятый и шестой лист подлинники и копии списка подстав, устроенных на дороге из Вены в Страсбург. Это самый далекий путь во Францию, а потому наименее подозрительный. В этой бумаге встречаются имена почтовых смотрителей, помещиков и даже простых поселян, которые обязались приготовить лошадей. И как основательно, с какой любовью составлен этот список. В нем помечены не только все повороты дорог и тропинки, но даже указаны города, которых надо избегать. Сколько преданности и терпения заключается в этой сухой номенклатуре. Просто удивительно.

— Это правда, — печально промолвила старая дева.

— Вот еще список лиц, живущих в Вене и ее окрестностях, на помощь которых можно рассчитывать: Жозеф Муец, управляющий барона Абенауса в Гит-

цинге, близ Шенбруна, Карло Грепи, стекольщик, близ Бельведера, ботаник Велэ... и еще десять других. Вот и последняя бумага, прочтите ее сами.

Г-жа Лолив взяла бумагу из рук княгини и прочла инструкцию, данную Фабио тайным обществом, к которому он принадлежал:

“Брат, выбранный для совершения этого подвига, передаст означенные бумаги Францу Шулеру, садовнику Шенбрунского парка. Он поступит так, чтобы никто не видел его свидания с этим человеком. Франц Шулер, если и знает об этом предприятии, то не поощряет его. Он любит сына своего старого вождя, но никогда не составлял заговора для его освобождения. Однако мы знаем, что он охотно пожертвует своей жизнью для спасения герцога Рейхштадтского из рук его палачей, чему посвятила все свои усилия группа преданных молодых людей. О, вы, в чьих руках находятся эти документы, помните, что вы клялись их сохранить какой бы то ни было ценой. Ваша жизнь, свобода, безопасность — ничто. Жертвуйте всем для святого дела освобождения народов. Повинуйтесь“.

Наступило молчание, которое было нарушено спустя несколько минут Полиной.

— Значит, — произнесла она, — месяцами и годами многие люди посвящали свою жизнь на то, чтобы вырвать из когтей злой судьбы благородного юношу, которого держат во имя государственных видов в тюрьме, физической и нравственной. Им удалось составить необыкновенную нить самопожертвований, а мы, эгоистки, хотим для своего спокойствия уничтожить плод очень долгого, энергичного труда.

Старая дева еще не успела ответить, как в комнату вбежала Шарлотта.

— Все в доме тихо. Скажите, что вы нашли в пакете такого страшного? Вы обе совершенно изменились.

— Ваша тетка огорчена тем, что мы не можем уничтожить этих бумаг, — заметила Полина.

— Я очень рада, — воскликнула Шарлотта.

— Как рада? — произнесла старая дева. — Да ведь если эти бумаги могучее орудие, то мы не можем хлопотать о помиловании Фабио.

— Я это подозревала. Я долго думала и пришла к заключению, что мы должны думать прежде всего об его долге. И какая ему радость будет даже в тюрьме

— узнать, что цель, к которой он стремился, достигнута его невестой!

— Как? Ты хочешь?

— Я ничего не могу сделать. Но мы найдем добрую фею и благородную душу, которая нам поможет.

И она с мольбой устремила свои глаза на Полину.

— Шарлотта, ты бредишь, — воскликнула ее тетка.

— Нет, — продолжала молодая девушка чарующим тоном сирены, — я не могу разбудить спящего принца в заколдованном замке, но есть возвышенные сердца, которых привлекает опасность. Если такая душа, оставшись доброй среди злых, жестоких чудовищ и пожертвовала светской, веселой жизнью, чтоб оказать помощь двум несчастным существам, то она не может остановиться на полпути.

— Подумай, что ты говоришь? — перебила ее тетка. — Ты хочешь, чтобы княгиня погубила себя ради нас! Ты...

Полина подняла руку, безмолвно прося тетку не прерывать вдохновенной речи молодой девушки.

— Освободить несчастного узника из рук тюремщиков, — продолжала Шарлотта, — это святое дело, и оно должно совершиться. Если бумаги, могущие содействовать бегству славного, симпатичного юноши, попали в руки княгини Сариа, то неужели она ими не воспользуется?

— Полно, полно, Шарлотта, — начала ее тетка, но Полина ее перебила:

— Я горжусь тем, что Шарлотта поняла меня. Но, дитя мое, поговорим серьезно. Ты советуешь мне обмануть людей, которые меня вызволили из изгнания и предлагают возвратить все, что у меня отнято. Положим, это не беда; я слишком долго ждала их милости и даже теперь не очень верю им. Ты советуешь мне принять участие в политической революции?

— Конечно, — подтвердила старая дева.

— Ты советуешь мне отдать герцогу Рейхштадтскому эти бумаги и устроить его бегство, с целью возвратить ему императорский престол, но ведь ты мне предлагаешь государственное преступление?

— Конечно, — повторила тетка.

— А если я потерплю поражение в моем смелом предприятии, то я подвергнусь новому изгнанию и лишусь навсегда отнятых у меня поместий. — Она

вдруг покраснела и после минутного молчания продолжала: — Нет, я этого не сказала. Я не равняла доброе дело с презренным металлом. Княгиня Сариа на это не способна.

— Но, княгиня, надо знать, стоит ли герцог Рейхштадтский такого самопожертвования, — промолвила Шарлотта.

— Он стоит ли?.. Нет, я более колебаться не могу. В сущности колебалась ли я? Я готова была с первой минуты совершить преступление, которое ты мне советовала, Шарлотта! Что же касается до венгерских поместий, то пусть ими пользуется, кто хочет! Я видела горе в глазах двадцатилетнего юноши и решила, чтоб эти глаза засветились радостью.

— О, княгиня, княгиня! — воскликнула молодая девушка, бросаясь перед ней на колени.

— Ну, видно безумье прилипчиво, — произнесла старая дева, и когда мои миланские соседи спросят, куда девалась хозяйка закрытого магазина “Золотые ножницы”, то им ответят: “сумасшедшая старуха отправилась в Вену, чтобы принять участие в государственном заговоре”.

— Не беспокойтесь, — отвечала Полина, подходя к старухе и крепко пожимая ей руку, — вы обе вернетесь в ваш магазин, и Шарлотта выйдет замуж за своего жениха. Моей первой заботой будет обеспечить безопасность вас обеих и Фабио, а если я погибну в своей смелой попытке, то никто от этого не пострадает.

Шарлотта хотела протестовать, но княгиня зажала ей рукой рот.

— Нет, нет, — продолжала она, — это единственное условие, которое я ставлю. Никто не должен участвовать в заговоре, кроме меня. В сущности, тут нет и заговора. Просто надо передать кому следует важные бумаги. Это было поручено сделать Фабио, но он не может исполнить данного ему поручения; вот и все. Но довольно болтать, пора и действовать. Прежде всего возьмите, Шарлотта, вон в этом столе два конверта. В один я положу письма членов бонапартской семьи, а в другой маршрут бегства и список лиц, могущих ему содействовать. Что же касается инструкции Фабио, то я еще раз прочитаю ее и уничтожу.

Исполнив свое намерение и разложив документы

по конвертам, княгиня их запечатала и произнесла с торжествующей улыбкой:

— Ну, теперь все кончено. Мое оружие готово, и багаж распределен. Я слышала от офицеров, что накануне большой битвы всегда делят багаж на две части: с одной расстаются при первой необходимости для облегчения бегства, а вторую отдают только вместе с жизнью. Я поступила так же и теперь готова для битвы. На ночь я отдам два конверта в верные руки, а завтра начну действовать.

— Так скоро! — воскликнула старая дева.

— Да, — отвечала Полина, — спящий принц проснулся.

Возвращаясь к себе в комнату, Шарлотта сказала тетке:

— Вы заметили, как счастлива княгиня? Я уверена, что она любит юного герцога.

IV

ТАЙНА ПОЛИНЫ

Действительно ли она любила его? Неужели она, двадцатитрехлетняя гордая аристократка, царица светских гостиных, во всем блеске своей красоты влюбилась с первого взгляда в тщедушного, хотя и прелестного юношу?

Она даже не задавала себе этого вопроса. Отправившись из Милана в Вену по делу о возврате своих поместий, она вовсе не думала о герцоге Рейхштадтском, хотя случайно приняла участие в деле об аресте Фабио. Она думала, как все представители венского общества, что герцог Рейхштадтский был глупым, неразвитым юношей, который сам соглашался быть узником ловкого, коварного министра. Но когда она увидела собственными глазами этого бедного, спящего принца и поняла, что он всем сердцем желал проснуться и вырваться на свободу из когтей безжалостных тюремщиков, то ее женскому инстинкту стало ясно, какая ужасная комедия разыгралась над головой белокурого юноши. В ее ушах еще звучали коварные слова Меттерниха, хотевшего сделать из ее красоты новые узы для несчастного пленника. А вместе с тем перед ее глазами восставал образ этого юноши, кото-

рый одним словом пригвоздил к столбу бесчестие маршала, изменившего его отцу, и потом по доброте душевной старался найти оправдание этой измене. Вся его фигура, цвет его лица, взгляд и улыбка навеки запечатлелись в ее сердце.

Во всем существе Полины произошла коренная перемена; она думала теперь только о бедном юноше, о том, как бы осветить его бледное, печальное лицо блеском радости. Убедившись из случайно попавших в ее руки бумаг, что она может быть ему полезной, может доставить ему свободу и то счастье, о котором он мечтал, она решила посвятить себя всецело этому великодушному делу.

О том же, действительно ли она полюбила белокурого юношу, Полина себя и не спрашивала. Она даже об этом и не думала. Она только поддалась влечению своего сердца ко всему прекрасному, несчастному, страждущему. Смелая попытка освободить узника Меттерниха улыбалась ей, и она поставила все на карту, чтобы выиграть неравную игру с властелином Европы.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ДВА СОПЕРНИКА

I

ФРАНЦ I и ФРАНЦ II

Император германский Франц II не мог простить Наполеону даже девять лет спустя после его смерти, что он заставил его изменить титул и называться австрийским императором Францем I. Можно примириться с Аустерлицем, можно найти оправдание Ваграму; даже эти поражения гения не мешали отдать замуж свою дочь победителю, который достаточно был безумен, чтобы этого пожелать, но нельзя забыть перемены титула, превращение цифры царствования из одной в другую. Этого до сих пор не мог переварить отец Марии-Луизы, герцогини Пармской и вдовы Нейперга. Из всех несчастий, которые обрушились во время его царствования на Габсбургскую империю, это одно продолжало щемить его сердце, тем более, что ловкий Меттерних не мог загладить этого несчастья.

Франц I отомстил ненавистному победителю в союзе со всеми его врагами, погубил зятя; он эскамотировал его сына и покрыл своим родительским благословением развратное поведение бывшей французской императрицы. Но, несмотря на все усилия, он не мог возвратить себе потерянного титула, и от этого горя он не мог утешиться.

На следующее утро после описанного дня он ходил взад и вперед по своему кабинету в венском дворце и обдумывал все один и тот же вопрос, постоянно тревоживший его: "Как сделаться не только фактически, благодаря таланту Меттерниха, но и по праву германским императором?" В сущности, этот вопрос сводился к тому, как Францу I сделаться Францем II.

Это был шестидесятилетний старик высокого роста; его осанка не была лишена благородного достоинства,

а в лице виднелся след благодушия. Его маленькая голова, очевидно, не могла вместить в себе великих мыслей, и по этой или по другой причине он любил простоту. Он всегда скромно одевался и предпочитал, подобно Иосифу II, штатскую одежду.

Когда в то утро императору доложили о приходе князя Меттерниха, то он встретил его очень любезно, но с повелительным оттенком, так как хитрый дипломат всегда тешил старика маской повиновения. Он постоянно называл его повелителем и обставлял свои доклады так, что, казалось, распоряжения исходили от высочайшей власти.

— Ну, любезный князь, — сказал император, — вы, вероятно, снова принесли мне известие о какой-нибудь безумной, революционной вспышке, и снова нам придется принимать энергичные меры для охраны истинных принципов государственного права?

— Нет, ваше величество, я на этот раз желаю поговорить с вами об его высочестве герцоге Рейхштадтском.

— В таком случае, — перебил его император, — я должен вам сообщить, что моя любезная дочь, эрцгерцогиня, направляясь из Пармы в Ишль на воды, остановилась в Бадене на 24 часа, и я дозволил ее сыну посетить свою мать. Он теперь, должно быть, скачет верхом по Медлингской дороге, в сопровождении графа Маврикия Дитрихштейна. Это не противоречит вашим намерениям?

— Нисколько, ваше величество поступает всегда прекрасно, и мой долг сообразовать мои действия с вашими намерениями. Я именно желал предложить вам ускорить эмансипацию молодого герцога: с одной стороны, составить ему военную свиту, а с другой — разрешить ему приобретение для своей библиотеки книг, которые его интересуют.

— Прекрасно, любезный князь; значит, вы совершенно довольны Францем. Значит он наконец перестал быть мечтателем, в чем вы его постоянно упрекали.

— Напротив, ваше величество, он достиг такого возраста, когда молодые люди легко предаются мечтам, надеждам и сожалениям. Вот, думая о нем, я вспомнил, что иногда лучший способ укротить рьяного молодого жеребца — отпустить поводья. Я и хочу попробовать применить эту систему к юному герцогу.

— Что же, вы хотите укрощать моего внука? — сказал со смехом император.

— Не укрощать, а развивать, ваше величество, — отвечал серьезно канцлер.

— Я очень рад, что вам пришла в голову эта мысль. Я также думал, что пора вступить моему внуку на действительную военную службу. Кого же вы думаете назначить ему в свиту?

— Я полагаю, что генерал Гартман был бы тут на своем месте: это человек надежный и знающий.

— Гартман? Прекрасно, — отвечал император.

— Вместе с ним можно назначить двух или трех офицеров из числа достойных и политически не опасных молодых людей.

— Конечно, любезный князь. Но не полагаете ли вы остановить свой выбор, между прочим, на подполковнике Прокеше? По-видимому, Франц его очень любит.

— Я просил бы ваше величество, — произнес Меттерних с знаменательной гримасой, — не поддаваться в этом деле личным чувствам. Необходимо окружить юного герцога не товарищами, приятными для него, а адъютантами, на которых мы можем рассчитывать. К тому же Прокеш мне нужен по дипломатической части. Я уже говорил вашему величеству, что посылаю его в Неаполь, и вам угодно было на это согласиться.

— Конечно, конечно, делайте, как хотите, любезный друг.

Сопротивление императора воле своего могущественного друга никогда не шло далее этого. Иногда относительно герцога Рейхштадтского в нем просыпался инстинкт деда, и он неожиданно обнаруживал нежные чувства к своему внуку. Но эти вспышки быстро проходили, и он равнодушно позволял Меттерниху делать со своим узником все, что угодно.

— Я еще желал вам доложить, — сказал канцлер, — что маршал Мармон просит позволения прочитать юному герцогу несколько лекций по военному делу; я полагаю разрешить ему это, если вы, ваше величество, не имеете ничего против.

— Отчего же нет, — сказал император, — ведь Наполеон был способный офицер, а его старый адъютант, конечно, способен прилично рассказать его походы, но посоветуйте ему, чтобы он не слишком преувеличивал достоинства своего героя. Ведь что бы

ни говорили об этом беспокойном человеке, но он не имел главного достоинства настоящего государственного человека — умеренности.

Меттерних почтительно поклонился в знак согласия и перешел к докладу о политическом положении Европы, причем по некоторым вопросам испрашивал августейшего совета своего повелителя.

Спустя несколько минут император совершенно забыл, что у него был внук, а когда канцлер удалился, то он по обыкновению стал мечтать о том, как бы снова сделаться германским императором Францем II.

II

СЫН И МАТЬ

В это самое время бывшая французская императрица Мария-Луиза, а теперь морганатическая вдова графа Нейперга, от которого она имела двоих детей, гуляла со своей фрейлиной в саду виллы Флоры в Бадене. Она была в очень печальном настроении, потому что получила горестные известия. Во-первых, один из законных сыновей генерала Нейперга продал лошадь своего отца, что она считала святотатством, а, во-вторых, в Парме, после ее отъезда, умер ее любимый попугай. Решительно, жизнь становилась ей в тягость, и во всем ей не везло. Она жаловалась на судьбу своей фрейлине в самых площадных выражениях, так что можно было скорее принять ее за буржуазную выскочку, чем за дочь и жену императора.

Высокого роста, худощавая, с плоской костлявой талией, она медленно шла по аллее без всякой грации и даже без достоинства. Морщинистый лоб, померкшие глаза и серебристые волосы придавали ей вид пятидесятилетней старухи, хотя ей было только 39 лет.

Лицо ее оживлялось только при воспоминании о милом покойнике, как она называла Нейперга, и о маленьких сиротках, оставшихся в Италии.

— Но, ваше величество, увидите здесь его высочество герцога Рейхштадтского, — сказала в виде утешения фрейлина.

— Это правда, — отвечала Мария-Луиза, — Франц

меня посетит, я уже давно его не видела. Он, говорят, очень вырос. Во время нашего последнего свидания в Вене он только что оправился от кори, и я очень боялась, чтобы она не пристала ко мне. Говорят, что эта болезнь, в особенности, передается лицам, вышедшим из первой молодости.

В эту минуту у решетки виллы остановился молодой человек, ехавший верхом, в сопровождении конюха.

— Гости? — спросила Мария-Луиза.

Это был ее сын в скромном темно-коричневом сюрте и поярковой шляпе.

За два часа перед тем он сказал в Шенбруне графу Маврикию Дитрихштейну:

— Император только что уведомил меня, что моя мать в Бадене и дозволил мне посетить ее. Я предупреждаю вас об этом, так как обещал вчера канцлеру говорить вам обо всем. Но я был бы вам очень благодарен, если бы вы отпустили меня одного на этот раз. Я возьму с собой конюха. Моя мать уезжает вечером в Ишль, где она будет пить воды, и потому, вероятно, я вернусь домой рано.

К его величайшему удивлению, Дитрихштейн, всегда очень трусливый, на этот раз не выразил никакого противодействия, несмотря на неприятную сцену с канцлером накануне. Как бы то ни было, герцог не потребовал никакого объяснения от своего наставника, почему он стал неожиданно так либерален, и отправился верхом в Баден.

Никогда юноша не чувствовал себя таким счастливым, как в тот день. Он находился на свободе, и вся природа ему казалась такой прекрасной, благоухающей, как никогда. Сначала он ни о чем не думал, а просто дышал всей грудью и сознавал, что он молод и вырвался хоть на минуту из-под ненавистного ига.

Тотчас в голове его стали бродить определенные мысли: он ехал к своей матери. Она занимала очень мало места в его детских воспоминаниях. Перед его глазами восставали только две сцены. Во-первых, он помнил, как однажды в Париже, на Карусельской площади его мать смотрела с балкона на парад, а он с гувернанткой у другого окошка глядел издали на отца, который отвечал улыбкой на его взгляд. Он с удовольствием бы послал и матери поцелуй, но она, веселая, блестящая, не обращала на него внимания.

Во-вторых, его воображение рисовало печальную картину отъезда из Франции. Его мать, бледная, заплаканная, сидела в углу кареты, в которой ему не было места, и он все спрашивал: "Где же папа?" Потом в продолжение года он жил с ней в Вене; она снова сияла улыбками, но он видел ее редко. Наконец он совершенно лишился матери, и в продолжение четырнадцати лет она навестила его только четыре раза. Если политика и Меттерних не позволяли ему жить с ней в Италии, то почему же она не могла чаще приезжать к нему? Что могло мешать ей любить своего ребенка? Все эти мысли омрачили его веселое расположение духа, и он перестал любоваться красотами природы. Наконец, он остановился перед виллой Флоры. Сердце его все-таки билось.

— Это ты, Франц, — сказала Мария-Луиза, узнав сына, только когда он был в двух шагах от нее.

— Да, мама, это я.

И, опустившись на одно колено, он поцеловал руку матери и спросил почтительным тоном:

— Как здоровье вашего величества?

— Он стал очень миленьким, — сказала Мария-Луиза, обращаясь к своей фрейлине. — Ну, поцелуй же меня, дитя мое, — продолжала она, — как ты вырос! Ты немного худощав, ну, и я все болею. Что же, тобой довольны?

— Не знаю, мама. А вот сегодня я очень счастлив. Я так рад вас видеть!

— Милый Франц! Ах, ты мне напоминаешь прошедшее! Как это было давно!

— Оно всегда при мне, — отвечал просто герцог, положив руку на свое сердце.

— Да, да! Я также все помню, хотя много перенесла горя. Ну, что же, ты теперь на службе?

— Нет еще, мне дают чины, но не позволяют командовать солдатами.

— Все придет в свое время, — заметила Мария-Луиза, и, не желая вмешиваться в то, что ее не касалось, то есть в будущность своего сына, она прибавила, обращаясь к фрейлине: — Какой он высокий! Какая разница!

Фрейлина поняла, что она намекала на других своих детей, и наивно покраснела за эту легкомысленную мать.

Герцог оставался с матерью несколько часов и все

более и более убеждался, что она для него чужая. Беседа между ними как-то не вязалась, и наконец Мария-Луиза предложила сыну пойти с ней к старому доктору, который лечил ее в юности. Вместо того, чтобы взять руку сына, она пошла рядом со своим камергером Бамбелем, который недавно заменил Нейперга и, вероятно, прибыл в Вену за инвеститурой. За ними следовал герцог Рейхштадтский, и все, встречавшие их на единственной улице Бадена, с удивлением смотрели на скандальную группу.

У доктора Мария-Луиза стала восторгаться коллекцией бабочек.

— Как бы я желала, чтобы мой сын интересовался такими предметами! Не правда ли, Франц, ты хотел бы заниматься энтомологией?

Он, из любезности, согласился с матерью, но не мог долго любоваться на различных бабочек и наконец воскликнул, сверкая своими голубыми глазами:

— Позвольте мне, мама, расстаться с вами. До Шенбруна далеко, а я не хотел бы, чтобы граф Маврикий, любезно отпустивший меня одного, беспокоился обо мне. Прощай, мама! — прибавил он, целуя у нее руку.

Мария-Луиза нашла отъезд сына совершенно понятным и, обернувшись к доктору, стала говорить о своем здоровье.

III

ОДИН

Возвращаясь в Шенбрун, герцог Рейхштадтский чувствовал, что он был для своей матери отдаленным родственником, которым интересуешься только потому, что видел его ребенком. В продолжение всего дня она ни разу его не поцеловала, и ее сердце ни разу не ощутило к нему неожиданного порыва, которого не в состоянии сдержать даже придворный этикет.

Он теперь сознавал себя еще более сиротой, чем прежде. “Я один, совершенно один”, — повторял он с отчаянием и даже забывал, что эрцгерцог Карл всегда был добр для него, а эрцгерцогиня София постоянно доказывала ему свою нежную привязанность. Нет, у него не было ни семьи, ни друзей, так как родная

мать не хотела его знать, а единственного друга у него отняли. Нет, он был один, один.

Но неожиданно глаза его заблистали. Приближаясь к Медлину, он увидел перед собой коляску, которая быстро катилась по дороге. Он пришпорил свою лошадь и поскакал, догоняя экипаж. Когда он поровнялся с ним, то осадил лошадь и почтительно поклонился двум дамам, сидевшим в коляске.

Это были эрцгерцогиня София и княгиня Полина Сариа.

— Как ты нас напугал своей бешеной погоней, Франц! — сказала первая из них нежным тоном.

— Простите, тетя. Я возвращался из Бадена, где был у матери, и, узнав ваш экипаж, хотел непременно вам поклониться.

— Полина, — сказала любезно эрцгерцогиня, — вы знаете герцога Рейхштадтского? А ты, Франц, знаешь моего друга, княгиню Сариа?

— Я имел вчера счастье видеть княгиню у канцлера, — отвечал юноша, — а теперь еще более счастливым, что вижу ее в вашем обществе.

Полина грациозно улыбнулась, но не промолвила ни слова.

Герцог несколько времени ехал рядом с экипажем эрцгерцогини и подробно отвечал на все ее вопросы относительно его матери. Когда же ему пришлось повернуть в Шенбрун, то он поклонился почтительно тетке и бросил нежный, полный благодарности взгляд на Полину.

Теперь он чувствовал себя не столь одиноким, как прежде.

IV

КОШМАР

Стоя в этот вечер у ворот отеля “Лебедь”, Галлони вздрогнул, увидев подъезжавшую придворную коляску, из которой вышла княгиня Сариа и дружески распрощалась с оставшейся в экипаже дамой.

На вопрос сыщика, кто это такая, швейцар отвечал:

— Разве вы не знаете? Это эрцгерцогиня София, жемчужина среди принцесс, невестка императора,

только что родившая маленького эрцгерцога. И какая она красавица и какая она добрая! Нечего сказать, для нашего отеля большая честь, что она останавливалась у его дверей; хозяин будет очень доволен.

Галлони был вне себя от изумления. Женщина, которую он преследовал из Милана и выдал графу Зедельницкому за сообщницу карбонариев, была в дружеских отношениях с эрцгерцогиней. Что было ему теперь делать? Как объяснить начальнику полиции, что он ошибся? А в его ошибке теперь не могло быть сомнения. Нельзя же было обвинять в похищении документов особу, которая обращалась дружески с принцессой крови. Все его надежды на блестящую будущность рушились. Подруга эрцгерцогини! Кто мог этого ожидать?

— Так нет же! — воскликнул громко Галлони. — Я не ошибся. Кто бы она ни была, но бумаги взяты ею, и, конечно, не для того, чтобы передать их князю Меттерниху.

Тут пришла ему в голову мысль, не была ли княгиня тайной агенткой полиции. Подобные примеры бывали. Что, если действительно она своей ловкостью заткнула его за пояс и передала или передаст бумаги лично Меттерниху? Но, нет, это было невозможно, в таком случае она не привезла бы двух белошвеек. Но, может быть, она нарочно это сделала, так как иначе не могла воспользоваться документами. Однако документы были у нее, и ей не к чему было их возвращать белошвейкам.

Как он ни думал, а дело все сводилось к тому, что бумаги находились у княгини, и что ему необходимо было продолжать борьбу с этой могущественной противницей. Притом, он не мог терять ни минуты времени и должен был тотчас открыть военные действия против нее.

Спустя несколько часов княгиня спала в своей комнате в отеле "Лебедь" и видела страшный сон.

Ей казалось, что неожиданно перед ней показалась голова с бледным лицом, злыми черными глазами и чудовищным носом. Она знала эти страшные черты, но не могла вспомнить, где их видела. А голова принялась рыться во всех ее вещах: в комодах, в шкафах, в столах. Полина чувствовала, как сильно билось ее сердце, и хотела проснуться, кричать, звонить, но все тщетно.

Наконец, страшная голова приблизилась к ее кровати, роковые глаза блеснули рядом с ней, и чья-то рука проникла под подушку. Она вскочила, закричала, дернула за колокольчик, и его звон раздался по всему дому.

Она стала с ужасом смотреть вокруг себя и зажгла свечку. В комнате никого не было, но струя свежего воздуха доказывала, что была открыта дверь или окно.

Когда явилась горничная, княгиня сказала, что она испугалась какого-то шума в комнате. Оставшись наедине, она серьезно обдумала все, что произошло. Она осмотрела всю комнату и убедилась, что не только все ящики были открыты, но карманы ее одежды были вывернуты. Тут она вспомнила, где она видела страшное лицо, и промолвила громко:

— Как я хорошо сделала, что отдала в верные руки документы. Галлони ловкий сыщик, но его смелость переходит все границы. Надо завтра же принять меры к его удалению из Вены.

V

СМОТР

Вернувшись в Шенбрун, герцог Рейхштадтский узнал от графа Дитрихштейна целый ворох важных известий.

— Ваше высочество, — сказал граф Дитрихштейн, — канцлер приказал мне передать вам чрезвычайно приятное и совершенно новое распоряжение императора. Во-первых, для вас создадут военную свиту, как у всех эрцгерцогов. Во-вторых, для вас прислали целую кучу новых книг, и вам разрешено требовать какие угодно сочинения. В-третьих, маршал Мармон прочтет вам лекцию о походах вашего отца; в-четвертых, завтра утром на Пратере соберется ваш гренадерский полк, и вы можете, если пожелаете, сделать ему смотр.

Несмотря на все враждебные чувства, которые герцог питал к канцлеру, он теперь все забыл и глаза его радостно заблестали. В нем текла кровь первого воина нашего времени и он жаждал доказать, что был достоин своего высокого происхождения, к тому же

ему было 20 лет, и ему льстила мысль командовать полком.

— Хорошо, — сказал он, покраснев от удовольствия. — Я завтра произведу смотр своего полка и надеюсь, что император будет доволен мною. А знаете вы, кому я этим обязан?

Граф Дитрихштейн так выразительно пожал плечами, что молодой человек понял всю бесполезность ожидать от него ответа. Он повернулся и пошел в свои комнаты.

Очутившись наедине, он стал мысленно повторять все команды, построения и всевозможные тонкости военной тактики.

Произведя таким образом себе экзамен, юноша успокоился и пошел в сад, где его уже давно ждал Франц. В глубине своего сердца он чувствовал, что обязан был как бы извиниться перед этим ветераном армии своего отца, что он произведет смотр австрийским солдатам.

Действительно, сообщая Францу эту новость, герцог был очень смущен, и голос его дрожал; но старый служака тотчас понял, в чем дело, и вывел из затруднения сына своего императора.

— Так смотр будет завтра на Пратере? — переспросил просто Франц.

— Да, — отвечал герцог, и в голосе его звучала печальная нота.

— Хорошо, приду.

Юноша безмолвным взглядом поблагодарил ветерана войн его отца за этот деликатный ответ.

Что касается Франца, то, возвращаясь в свое скромное жилище, он бормотал:

— Это должно было случиться рано или поздно. Но горько думать, что его сын будет командовать австрийским полком. Все-таки надо посмотреть, как он справится.

На следующее утро старый служака поспешил на Пратер и поместился в первом ряду толпы, собравшейся посмотреть на первый смотр, который производил своему гренадерскому полку герцог Рейхштадтский.

Скоро раздался конский топот, и новый командир подъехал к полку. Он ловко сидел на кровном коне, и бледное лицо его отличалось серьезным, достойным выражением. Но не успел он поравняться с полком,

как гренадеры огласили воздух дружным криком "ура". Эта неожиданная овация, бывшая в сущности нарушением дисциплины, очевидно была вызвана необыкновенным волнением, которое ощутили даже немецкие солдаты, увидев сына того, кто всеми признавался за величайшего полководца.

Герцог Рейхштадтский был, видимо, смущен этим неожиданным знаком сочувствия и невольно покраснел, но через секунду он насупил брови и стал производить смотр по всем правилам военного искусства.

В окружавшей толпе слышалось:

— Однако молодец, герцог!

— А как его встретили солдаты!

— Он может смело повести их куда угодно. Все за ним пойдут.

Один из присутствующих обратился к Францу с вопросом:

— Скажите, пожалуйста, этот полк был под Ваг-рамом?

— Был, — отвечал старый служака, — поэтому-то он так и встретил восторженно своего нового командира.

VI

РОЗА ГЕРМИНЫ

После крестин эрцгерцога Франца-Иосифа, которые произошли в этот самый день в часовне Шенбрунского дворца, император принимал близких ему лиц в больших апартаментах нижнего этажа, а на террасах в парадной столовой и длинной галерее были расставлены роскошно сервированные столы, на которых виднелись целые батареи рейнвейна из Иоганисберга, который был подарен императором канцлеру под условием, уплаты ему десятины натурой.

Гермина Меттерних и Флора Вирби не чувствовали ни малейшей тени голода, а потому при первой возможности они выбежали в парк.

— Пойдем, Гермина, — воскликнула Флора, — мы подождем твоего отца у статуи Дианы.

— С удовольствием, но где же наши гувернантки?

— Они утоляют свой голод, а потом найдут нас.

Разговаривая таким образом, молодые девушки со-

шли с нижней террасы и стали с восхищением рассматривать цветники.

— Как здесь хорошо! — произнесла Гермина. — А вот и статуя Дианы.

— Это любимый уголок юных мечтателей, — отвечала Флора.

Действительно, на скамье у самой статуи лежала книга, и Гермина, не прикасаясь к ней, прочитала заглавие “Meditations poetiques” Ламартина.

— Ты знаешь эту книгу? — спросила Флора.

— Нет. Но лучше не будем дотрагиваться до нее. Может быть, нам нельзя ее читать.

— Что ты! — воскликнула Флора. — Поэтические размышления! Да это все равно, что молитвы.

— Кто-то ее верно забыл?

— Конечно! Но посмотри, одна страница в ней замечена травкой.

Флора поспешно открыла книжку на этом месте и воскликнула:

— Стихи!

— Прочтем.

Книга была открыта на поэме “Бонапарт”.

Гермина закрыла книжку с каким-то религиозным уважением, как будто прикоснулась к чему-то священному, и снова положила ее на скамейку.

— Пойдем отсюда, — сказала она.

В эту минуту к молодым девушкам подошел Франц и подал им несколько роз.

— Простите, — сказал он, — не желаете ли этих роз? Они очень редки, и их никогда не срывают, но я нарочно принес вам их, думая, что они вам понравятся, барыни или барышни, не знаю, как вас назвать.

Последние слова были сказаны в шутку, потому что Флоре Вирба было только 17 лет, а Гермине Меттерних минуло только 15 лет.

— Благодарю, любезный друг, — сказала Флора со смехом и, взяв две розы, приколола к своему корсажу.

Но Гермина, покраснев, промолвила:

— А вас не будут бранить за то, что вы их сорвали?

— Нет. С одной стороны, я здесь полный хозяин, а с другой, если б тот, кто здесь каждый день гуляет, и заметил исчезновение нескольких роз, то был бы

очень доволен, что они понравились таким хорошеньким барышням, как вы.

Гермина взяла оставшиеся две розы, и когда Франц удалился мерными шагами, а Флора побежала по дорожке к дому, она незаметно бросила одну из роз на книжку, лежавшую на скамейке.

— Куда ты дела другую розу? — спросила Флора, увидев только один цветок на корсаже своей подруги.

— Я бросила ее, — отвечала, покраснев, Гермина. — Они такие большие, что не поместились бы вместе.

VII

НАЧАЛО ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

— Ваши агенты, любезный граф, всегда делают глупости, — гневно говорил князь Меттерних начальнику полиции, который, встретив его в Шенбруне на крестинах, отвел в сторону, чтобы доложить о скандальной истории с Галлони.

— Помилуйте, ваша светлость...

— Нечего вас миловать. Я еще просил вас быть осторожным, а ваши агенты напали самым грубым образом на даму, состоящую под моим покровительством, на подругу эрцгерцогини. Главное, этот скандал поднят из пустяков. Нет, это непростительно.

— Уверяю вас, что я приказал этому человеку ничего не делать без моего разрешения, — оправдывался граф Зедельницкий в большом смущении.

— Так отчего же он вас не послушал?

— Вероятно, он поддался желанию сделать обыск в комнате княгини во время сна.

— Конечно, — иронически заметил канцлер, — и он надеялся, что она не проснется, когда станут шарить под ее подушкой.

— Княгиня позвонила, и человек спасся, так что, когда люди отеля сбежались, то никого не видали, — произнес начальник полиции, стараясь ступшевать вину своего агента. — Все уверены, что это был ловкий вор, который убрался вовремя.

— Хороша полиция, нечего сказать, — воскликнул неумолимый канцлер, — ей приходится защищать ошибки своих агентов ловкостью венских воров. На-

конец, скажите прямо, граф: вы хозяин в полицейском ведомстве или им распоряжается первый встречный?

— Но, ваша светлость, не изволили забыть, какие серьезные подозрения падали на княгиню Сариа?

— Знаете, граф, что я считаю, по крайней мере, в настоящую минуту княгиню не способной вмешиваться в заговор. Я имею на это причины. Но если б я даже заблуждался, то она слишком умна, чтоб попасться в сети дурака шпиона. Я имею полное право это сказать, потому что ваш Галлони потерпел фиаско. Уверяю вас, что эта история очень для меня неприятна. Она путает мои карты. Прекратите тотчас все преследования этих трех женщин, по крайней мере, явные, и, пожалуйста, избавьте меня от дальнейших глупостей ваших агентов.

Это формальное приказание канцлера снимало всякую ответственность с начальника полиции, и он почтительно поклонился.

— Однако, — произнес он, — я не могу не сказать в последний раз, что все-таки убежден в сообщничестве этих женщин с миланскими заговорщиками. Но, ваша светлость, конечно, тотчас сами в этом убедитесь. Вот княгиня Сариа направляется в нашу сторону, вероятно, жаловаться на меня.

Действительно, Полина приближалась к ним. Издали она увидела, что канцлер очень оживленно разговаривал с начальником полиции, и поняла, что дело идет о ней. Она мгновенно решила, что выгоднее напасть, чем защищаться, и потому сама смело открыла военные действия.

— Я нарочно приехала в Шенбрун, чтобы вас видеть, — сказала она Меттерниху, который сделал к ней несколько шагов и любезно поздоровался. — Я очень рада, что вижу в одно время с вами и графа Зедельницкого, так как дело, о котором я желаю говорить, касается и его. У меня есть, князь, к вам большая просьба.

— Она заранее исполнена, если только возможно, — сказал князь со своей обычной учтивостью.

— А если невозможно, то моя просьба будет исполнена в ближайшем будущем, не так ли? — произнесла княгиня с улыбкой. — Но вот в чем дело. Один бедный миланец принял участие в заговоре...

Зедельницкий не мог скрыть своего удивления.

— Да, он действительно заговорщик. Но это про-

исходит от того, что, благодаря князю Меттерниху, прекратились войны, и молодежи делать нечего, вот она и волнуется, а полиция ее забирает и сажает в тюрьму. Так случилось и с моим юношей, и он сидит под замком в Милане или в другом городе.

Меттерних довел до совершенства искусство узнавать мысли своих противников. Он не раз имел дело с Наполеоном, Талейраном, Фуше, лордом Кастельрэ, Каподистрией, Нессельроде, Ришелье и всегда читал в их глазах то, чего не говорили их уста. Но теперь он пристально смотрел на княгиню и ничего не видел в ее прелестных глазах, кроме веселой улыбки вполне искренней откровенности.

— Черт возьми, — воскликнул он, — дело серьезнее, чем вы думаете. Однако продолжайте.

— Мой несчастный юноша должен был привезти сюда какие-то бумаги, вероятно, столь же малозначащие, как и он сам. Случайно бумаг не оказалось у него при обыске. Они у меня.

Граф Зедельницкий широко открыл глаза от изумления, а Меттерних, умевший лучше его сдерживать себя, спросил с улыбкой:

— У вас, княгиня?

— Да, у меня. Эти бумаги остроумно замешались в мои кружева. Найдя их на другой день, я подумала, что лучше не отдавать их в те грязные руки, которые хотели овладеть ими накануне. Я подумала, что добрый, снисходительный министр лучше оценит эти документы и придаст им настоящее значение. Вот я и привезла вам эти бумаги.

Слова княгини поразили обоих ее собеседников.

Граф Зедельницкий был в одно и то же время обрадован и опечален. Полицейское чутье его не обмануло, но княгиня оказалась не врагом, а сообщницей полиции. Конечно, полиция была побита, но честь ее сохранилась незапятнанной. Что касается канцлера, то он видел дальше, чем его помощник, и произнес:

— Понимаю, княгиня, вы предлагаете мне продать документы за помилование вашего юноши.

— Фи! — воскликнула гордо княгиня. — За кого вы меня принимаете? Я желаю счастливо поженить моего глупого заговорщика и мою прекрасную белошвейку, причем обязуюсь отослать их как можно дальше от австрийской границы. Но я хочу быть обязанной вам, князь, за эту милость, и не намерена ее покупать

никакой ценой. Что касается бумаг, которых не могла достать полиция, то вот они. Я добровольно отдаю их.

И она с гордым великодушным жестом передала тот пакет, в котором находились письма Бонапартовской семьи.

Зедельницкий распространился в извинениях.

— Я надеюсь, княгиня, — сказал он, — что вы простите за тот надзор, которому я вынужден был подвергнуть, конечно, не вас, но тех подозрительных лиц, которые сопровождали вас в вашем путешествии.

— А, я была подвергнута полицейскому надзору! Я этого и не заметила.

Канцлер улыбнулся, смакуя ловкость искусного адепта того же искусства, в котором он был мастером.

— Что вы на это скажете? — произнес он, обращаясь к начальнику полиции. — Вам теперь остается только отослать в Милан вашего глупого агента и дать мне подписать помилование молодого человека, которым интересуется княгиня. Вы отошлите эту бумагу к белошвейкам княгини. Но, может быть, вы не знаете, где они живут, но я могу дать вам адрес, — прибавил канцлер с иронической улыбкой, — они остановились в гостинице “Лебедь” вместе с княгиней.

— Как зовут вашего клиента, княгиня?

— Фабио Гальдони.

Зедельницкий записал это имя и, почтительно поклонившись, удалился.

Полина поняла, что до сих пор была только перестрелка, а теперь начнется генеральное сражение. Она хорошо знала Меттерниха и по незаметной для всякого другого, но хорошо знакомой ей складке на лбу канцлера догадалась, что он готовит ей смертельный удар. Она спокойно ждала, чтобы он открыл огонь, но на лице ее исчезла веселая улыбка, и оно приняло серьезное выражение.

Просто, без всякой эффектации Меттерних взглянул на княгиню и пошел к мраморной лестнице, которая вела в сад. Княгиня последовала за ним. Удалившись на столько от дома, что никто не мог ни помешать их беседе, ни подслушать их слов, Меттерних сказал, указывая на пакет, который он держал в руках:

— Излишне спрашивать, знаете ли вы содержание этих документов, не правда ли?

— А вы можете в этом сомневаться? Будьте уверены, что я не отдала бы вам их, если бы они имели какую-нибудь важность.

— А!

— Конечно. Я просто уничтожила бы их и не просила бы у вас никакой милости.

— Согласен, что вы иначе не могли бы поступить, но признайтесь в свою очередь, что вы были очень неосторожны, оставляя при себе эти бумаги в отеле. Подумайте, как осложнилось бы дело, найди их полиция в ваших руках, хотя бы они были и маловажны.

— О, не беспокойтесь! Как только я приехала в Вену, то попросила позволения у эрцгерцогини оставить у нее шкатулку с моими бриллиантами. Вы понимаете: венские отели так небезопасны! Сегодня утром я взяла у ее высочества свои вещи и поблагодарила за любезность.

— Вы совсем молодец, княгиня! — воскликнул с восторгом Меттерних. — Вот бы мне таких дипломатов!

А мысленно он прибавил: “И таких полицейских”.

— Ну, так вы говорите, что в этом пакете... — продолжал он громко, но княгиня его перебила.

— Чистые пустяки. Четыре письма от принцев Бонапартовской семьи, советуют своему юному родственнику бежать из Шенбруна и отправиться во Францию. Вы заранее предугадаете, что они могут сказать на эту тему.

— Да, — сказал серьезно канцлер, и Полина тотчас поняла, что настоящая борьба между ними наконец начинается, — и чтобы заранее дать ответ всем этим принцам, я вспомнил ваш совет, княгиня; со вчерашнего дня я освободил герцога Рейхштадтского из стеснявших его уз, я сам предложил ему собственными руками запрещенный плод. Чтобы вы могли иметь понятие о моей либеральности в этом отношении, я скажу только, что он сегодня утром делал смотр своему полку и, по словам знающих офицеров, прекрасно исполнил обязанность полкового командира. Если бы вы заметили сегодня, как блестят его глаза, то можете приписать себе значительную долю его радости.

— Что вы говорите?

— Я хочу быть с вами столь же откровенен, как вы со мной, и не скрою от вас, что я сообщил ему, какой вы мне дали совет.

В глазах у Полины почернело, и она поняла тай-

ную мысль канцлера. Бледная, дрожащая, она безмолвно смотрела на него, ожидая более полного объяснения.

— Поставьте себя на мое место, — продолжал Меттерних добродушно, — не мог же я позволить, чтобы он объяснил неожиданную перемену в моем обращении с ним впечатлением, которое произвела на меня его выходка.

— Но ведь были другие свидетели, кроме меня.

— Да, при этом присутствовал эрцгерцог Карл, но я давно знаю его, и его слова не могут влиять на меня. Мои обычные советники неспособны иметь такого влияния на меня. Нет, чтобы открыть мне глаза, необходима была личность новая, с чарующей силой красоты и ума.

— И вы мне предоставили эту роль?

— Да. Я дал понять герцогу, что ваши слова, полные нежного чувства, поколебали меня. Если когда-нибудь в жизни министр скажет правду, разве это большая беда? Вы, я надеюсь, не сердитесь на меня?

— Это просто предательство, князь.

— По крайней мере, я не виновен в заговоре, так как сила в моих руках.

Меттерних говорил любезно и мягко, но он так пристально смотрел на Полину, что она ясно поняла его намерение. Он предупреждал ее, чтобы она не рассчитывала на его доверие, и прямо объявлял ей, что она должна выбрать одно из двух: быть его союзницей или сделаться врагом. Он по-прежнему оставался ее другом, но если б ей вздумалось добровольно выступить на политическую арену, на которой он был безусловным повелителем, если б она, хоть временно, приняла сторону ненавистного ему человека, то она должна была ему повиноваться. В противном случае...

— Вы это сделали, князь, — произнесла Полина в большом смущении. — Но как же я теперь буду смотреть в глаза герцогу Рейхштадтскому? А если он вздумает еще поблагодарить меня?

— Он непременно вас поблагодарит.

— Нечего сказать, в хорошее положение вы меня поставили. Я должна играть роль тайного советника.

И Полина старалась улыбнуться.

— Не беспокойтесь, герцог не ошибается относительно вашей роли. Во все время церемонии он не

спускал с вас глаз. Правда, вы никогда не были так прелестны, как сегодня.

Она вздрогнула от негодования, но сумела сдержаться себя.

— Вы все знаете, князь, значит вам известно, что женское сердце или отдается или отворачивается, но не признает посредничества.

— Это правда, — отвечал он спокойно, — но вы также должны знать, что я умею любить друзей и ненавидеть врагов.

Все было высказано. Неумолимый министр представил свой ультиматум. Угадал ли он или нет тайные мысли княгини, но он поставил условием своей дружбы рабское повиновение.

Увидав невдалеке свою дочь с гувернанткой, Меттерних мгновенно превратился в любезного придворного кавалера и предложил княгине проводить ее в Вену.

— Нет, благодарю вас, князь, — отвечала она, — эрцгерцогиня обещала меня отвезти в своем экипаже.

— Так до скорого свидания, милейший друг, мы, конечно, увидимся у лорда Каули. Вы знаете, что там дебютирует в светской жизни ваш державный *rotte*. Не правда ли, странная ирония судьбы? Сын Наполеона на балу у английского посланника. Ну, прощайте.

Оставшись одна, Полина почувствовала, что не в состоянии вернуться во дворец. Голова ее кружилась, в висках бил пульс. Ей казалось, что кто-то смертельно оскорбил ее, и она не сумела ему отомстить. Лихорадочная дрожь пробегала по всему ее телу, и она машинально ходила по аллеям парка, которые теперь совершенно опустели. Наконец, ноги ее начали подкашиваться, и она опустилась на каменную скамейку.

Последние слова Меттерниха звучали в ее ушах: “Я умею любить друзей и ненавидеть врагов”. Этими словами он, очевидно, хотел сказать: “Я избрал вас, княгиня Сариа, чтобы занять и увлечь беспокойного юношу, который вздумал мне мешать. Я поручаю вам удержать его в должном повиновении. Я сказал ему, что вы, как добрая фея, освободили его от уз, и теперь ваше дело превратить его благодарность в любовь. Сделайте этого претендента своим любовником, и я буду смотреть сквозь пальцы на все; но если вы

вздумаете мне противодействовать на том основании, что вам претит такое ремесло, то берегитесь. Во всяком случае вы не можете меня упрекать в циничности за этот план. Вы сами мне дали подобный совет“.

Полина медленно поднялась и тихо промолвила:
— Это правда, я дала такой совет! Я тогда шутила и не знала, какое благородное и светлое существо узник Меттерниха; теперь мне стыдно за себя, но не время сожалеть о прошедшем, надо действовать. Подведем итоги. Дело Фабио кончено. Я могу рассчитывать на слово Меттерниха, по крайней мере, в настоящую минуту. Шарлотта и ее тетка завтра отправятся в Милан и будут вместе с Фабио вне австрийских пределов, когда канцлер вздумает снова их преследовать. Отделавшись от них, я буду свободна в своих действиях. Еще сегодня утром я колебалась, но, очутившись в этой лицемерной среде, где самые позорные преступления прикрыты блестящей мишурой, я чувствовала, что сердце мое болезненно сожмется, а теперь я вижу ясно, что нечего питать уважение к тому, что так унижается его вернейшими слугами. До сих пор мне все казалось, что я не имею права изменять судьбы государств, но довольно, колебаниям наступил конец. Я не хочу быть соучастницей низкой подлости. Вы бросили мне перчатку, князь Меттерних, и я ее поднимаю. Борьба — так борьба! Посмотрим, кто победит: моя преданность или ваш гений? Ну, а если я проиграю, то и заплачу ставку.

VIII

У СТАТУИ ДИАНЫ

Меттерних сказал правду. Во все время церемонии крещения герцог Рейхштадтский не сводил глаз с княгини Сариа, которая стояла в группе придворных дам эрцгерцогини Софии. Поверхностный наблюдатель, быть может, увидел бы в этом обыкновенную и скоропреходящую вспышку юношеского поклонения женской красоте, но канцлер знал, что герцог отличался рано развившейся впечатлительностью, и потому понял, что в его сердце проснулось серьезное чувство. Не теряя ни минуты, в ответ на выраженную

герцогом благодарность за либеральное изменение условий его жизни, он намекнул, что в этом отношении он послушался совета одной личности, "ум и такт которой внушал ему полное доверие". Затем он прибавил еще несколько слов, из которых можно было ясно понять, что он говорил о княгине Сариа, хотя и не назвал ее. Наконец, подготовив почву для сентиментального романа, он перешел от его героя к героине.

Сначала объяснения графа Зеделъницкого, а затем откровенности Полины возбудили в Меттернихе опасения, чтоб предназначенная им Далила не обратилась в Эгерию, но, уезжая из Шенбруна, он утешал себя мыслью, что все устроил по-своему. Сознание в своей безграничной силе успокаивало его насчет повинования избранной им сообщницы, и он был уверен, что стремления герцога Рейхштадтского к освобождению из неволи ступают пущенной им в ход сложной интригой.

Уже вечерело, когда Полина сказала себе, что пора вернуться во дворец, но не успела она сделать несколько шагов, как встретила герцога Рейхштадтского, который шел по аллее с целью взять на скамейке под статуей Дианы оставленную там утром книгу.

Увидав Полину, он остановился; глаза его засверкали радостью, и он быстро подошел к ней.

— Как я рад, что вас вижу, — произнес он, — а я уже не надеялся вас встретить.

— Разве вы желаете сказать мне что-нибудь, ваше высочество?

— Да, я должен вас поблагодарить.

— Меня? За что?

— Я знаю, что вы сделали для меня. В Шенбруне произошли большие перемены, и я обязан вам за них.

— Мне было бы очень приятно заслужить вашу благодарность, но одно случайное слово с моей стороны не могло так сильно повлиять на министров вашего деда. Я только что вернулась в Вену, после долговременного отсутствия, когда увидела вас и мимоходом высказала свою точку зрения.

— Я также видел вас лишь мгновение, — отвечал дрожащим голосом юноша, — но с тех пор ваш прелестный образ не выходит из моей головы, с тех пор началась для меня новая жизнь.

Еще более, чем эти слова, тон, которым они были

сказаны, обнаруживал пламенное чувство, неожиданно возникшее в сердце юноши. Полина была и счастлива и встревожена. Наивная благодарность двадцатилетнего юноши напомнила ей хитрую интригу, придуманную Меттернихом, и она могла только ответить:

— Я слышала, что вы произвели сегодня смотр своему полку, и что солдаты сделали вам шумную овацию. Вы, конечно, были очень взволнованы этой сценой.

— Менее, чем теперь, уверяю вас. Если будущность открывается перед мною, то я обязан этим вашей доброте.

— О, ваше высочество!

— Не протестуйте. Никто из моих родственников, которые, однако, могут меня любить, открыто никогда не подумал исполнить мои желания. Простите, я не могу хорошо выразить моих мыслей, но молчать было бы непростительно. Я не привык к нежному сочувствию и отвечаю на него горячей любовью.

Дрожа всем телом, Полина слушала эти слова, произносимые мелодичным, чарующим голосом. Но она боялась предаться овладевшему ею чувству и хотела побороть его.

— Не может быть, чтобы вы никогда до сих пор не встречали искренней привязанности.

— Конечно, не встречал. Вот теперь один ваш сочувственный взгляд покорило мое сердце.

— Ваше высочество!

— И не думайте, чтобы я был только благодарен вам за ту перемену в моем положении, которая возбуждена вашим добрым вмешательством; нет, я более тронут тем, что я теперь не один на свете.

— А вам не кажется странным, что вы встретили меня впервые в кабинете Меттерниха? — произнесла Полина. — Вы не боитесь сделаться жертвой придворной интриги и недостойной комедии?

Она сама не понимала, как у нее хватило мужества, чтобы произнести эти слова, которые должны были оттолкнуть навсегда сердце юноши и убить в ней самой пробуждающееся к нему чувство. Но она считала своим долгом не поддаться коварному плану Меттерниха и не разыграть роли сообщницы.

— О какой комедии вы говорите? — произнес наивно герцог. — Разве вы можете разыгрывать коме-

дию? Я вас вижу, и я вам всем обязан. Я это знаю и понимаю, а до остального мне дела нет.

— Ваше высочество?

— Я знаю, что нас окружают недостойные интриги, и что вчерашняя жестокость сегодня не вполне обезоружена. Но все это не может иметь никакого отношения к тому, что я теперь чувствую.

— Не говорите о своих чувствах, герцог, вы принадлежите не себе, а своему имени и своей будущности.

Но он схватил ее за обе руки и, смотря ей прямо в глаза, промолвил:

— Я принадлежу вам, только вам!

— Нет, не надо, не надо! — отвечала Полина, отталкивая его от себя. — Я не хочу такой любви, я сама люблю, но другого!

Герцог бледный, взволнованный, мог произнести только:

— Вы любите другого?

— Да! — воскликнула Полина, не имея более силы сдержать себя. — Я люблю всеми силами своей души человека такого же, как вы, но думающего о восстановлении своих прав, а не о женской красоте.

Герцог весь вспыхнул и бросился на колени.

— Нет, встаньте, тот, кого я люблю, не преклоняет колена, а должен повелевать людьми. Тот, кого я люблю, не может довольствоваться оскорбительным смягчением своих уз и командованием немецкими солдатами на Пратере.

— Нет, нет, я сделаю все, что вы скажете.

— Если вы согласны жить по-прежнему узником Меттерниха, то Полина исчезнет и будет оплакивать где-нибудь далеко свою несбывшуюся мечту. Но если вы хотите вернуться во Францию и сделать счастливым ожидающий вас народ, то я пойду рука в руку с вами и буду вас любить!

Герцог весь преобразился и со светлой улыбкой воскликнул:

— Мое сердце говорит вашими устами. Вы выражаете мои мысли. Уже давно я хотел это высказать, но не умел. Без вас я был один, и меня давило иго ненавидящего меня человека.

— А теперь? — спросила Полина, сдерживая свое дыхание.

— Теперь, благодаря вам, я порву свои узы. Я

сброшу с себя этот мундир, который мне не принадлежит. Шпага, которую я ношу в немецких ножнах, некогда блестела под солнцем пирамид, и я обнажу ее. Она будет так же свободна, как свободен и я.

— Какое счастье, какая радость! — воскликнула Полина, сверкая глазами.

А он продолжал, все более и более воодушевляясь.

— Теперь вы позволите мне любить вас? Теперь не Франц Рейхштадтский падет к вашим ногам, а Наполеон Бонапарт открывает вам свои объятия!

Полина все забыла, и благоразумие, и осторожность, и страх сделаться сообщницей Меттерниха, а чувствовала только, что одна любовь, одна мысль связывает навеки их юные сердца.

А он, нежно обвив ее рукой, тихо лепетал:

— Жена, моя милая жена!

— Если бы я думала, что вас ожидает гибель, — продолжала Полина, — то, быть может, никогда не решилась бы вовлечь вас в безысходную борьбу. Но, подумайте, сколько храбрецов рискуют своей жизнью ради вас, во скольких хижинах вашей родины ждут вашего появления.

— Как я счастлив, как я вас люблю! — шептал он.

И этот странный контраст между их словами не омрачал их радости. Она гордилась тем, что он забывал обо всем ради любви к ней, а он был счастлив, что она забывала свою любовь ради его будущности.

— Однако я вижу, — промолвила она наконец, — что сегодня я напрасно буду говорить вам о серьезных вопросах. Вы не слушаете даже меня. Я хочу увенчать ваше чело лаврами, а мне попадают-ся под руки розы.

И она показала ему цветок, который Гермина Меттерних бросила на книжку, лежавшую на скамье.

— Посмотрите, какая это прекрасная роза.

— Оставьте ее, мы не знаем, кто ее трогал.

— Однако она была свидетельницей нашего признания в любви.

— Нет, нет, — промолвил он, — эту розу я поднесу богине, я вам найду другую получше.

С этими словами он взял из рук Полины розу и положил ее на пьедестал статуи Дианы, а сам, сделал

два шага по дорожке, стал звать своего верного Франца.

— Что вы делаете? — сказала с испугом Полина.

— Я зову друга, он меня услышал и сейчас придет. Это единственный человек, который искренне мне здесь предан. Я не могу скрыть от него моей радости и хочу показать ему ту, которой я обязан этой радостью. К тому же он будет нам необходим. Друг мой, — прибавил герцог, обращаясь к Францу, который высунул голову из-за кустов, — сорви самую лучшую розу и принеси сюда.

Пока старый садовник исполнял приказание юноши, Полина задумалась. Она мысленно спрашивала себя, не был ли это тот самый Франц, о котором говорилось с такой похвалой в миланских инструкциях.

— О чем вы думаете? — спросил герцог, схватив обе руки Полины и покрывая их страстными поцелуями. — Теперь не о чем думать: мы вскоре отправимся с вами во Францию.

— Я думаю о вашем верном слуге, — отвечала княгиня, не освобождая своих рук, — вы, кажется, назвали его Францем. Какой он, однако, старик!

— Нисколько, он только представляется стариком, чтобы сбить всех с толку, а он еще бравый солдат.

— Это он, — подумала Полина.

Между тем Франц вернулся и молча подал герцогу прекрасную розу.

— Подойди сюда, милый друг, — сказал юноша, — посмотри хорошенько на эту даму, ее зовут княгиня Сариа, ты впредь будешь ей служить так же верно, как мне. Слышишь?

— Слышу, — отвечал лаконически старый слуга.

— Ты выбрал хорошую розу, но есть лучше, — сказал герцог, желая подразнить старика.

— Конечно, есть, но в Сен-Клу, — отвечал он спокойно, — позвольте мне сказать вам два слова.

— Говори. От княгини у меня нет тайн.

Осмотревшись по сторонам и убедившись, что никто не может их подслушать, Франц сказал дрожащим голосом, которому тщетно хотел придать твердость:

— Я пришел, чтобы проститься с вами. Я уйду отсюда.

— Зачем? Я тебя не отпущу. Что это значит?

— Я больше не нужен вам. Я стал стар, мне надо отдохнуть.

— Пустяки, я тебе не верю, ты что-то скрываешь от меня?

— И правда, скрываю. Я не могу здесь оставаться, потому что сегодня в Шенбруне появилась особа, которая мне не нравится. Я боюсь, что она будет часто здесь бывать, я этого не вытерплю и наконец скажу всю правду в лицо, а это не хорошо. Вот и лучше мне уйти.

Герцог заподозрил, что Франц не одобряет появления Полины, и резко произнес:

— Назови ту особу, благодаря которой ты хочешь уйти из Шенбруна. Я желаю знать, кого ты мне позволяешь принимать и кого нет.

— Странно вы выражаетесь, ваше высочество, — произнес Франц, — а, кажется, очень просто, что старый солдат, как я, не хочет встречаться со своим старым генералом, который изменил вашему отцу.

— Ты говоришь о Мармоне?

— А о ком же? Я видел его сегодня во дворце, и говорят, что он назначен вашим профессором. Вот только не знаю, чему он будет вас учить. Разве тому, как изменяют своему государю во время его несчастья.

— Франц! — произнес герцог Рейхштадтский.

— Вы, конечно, вольны делать, что хотите, ваше высочество, даже забыть, если можете, его измену. Но я сделать этого не могу. Увидав его, я покраснел, и мне впервые в жизни стало стыдно, что я солдат. Нет, я не хочу его более видеть.

Полина смотрела с восторгом на этого благородного, старого служаку и с беспокойством спрашивала себя, что скажет, что сделает герцог.

Он тихо подошел к Францу, и, инстинктивно следуя привычке своего отца, нежно взял его рукой за ухо.

— Ты не уйдешь, — сказал он, — потому что я не хочу. Молчи и слушай. Что бы ты сказал, если бы мы с тобой оставили Мармона одного читать лекции полицейским агентам, переодетым в придворных лакеев, а сами отправились бы во Францию, где нас ждут друзья? Мне надоело сидеть в клетке, и я хочу вернуться на родину. Ну, что же? Ты все же хочешь меня бросить?

— Нет, не такой дурак, — отвечал Франц, обезумев от радости, и вдруг широко открыл рот, чтобы воскликнуть: “Да здравствует император“, но молодые люди поспешно зажали ему губы.

Тут старый служака посмотрел пристально на Полину, инстинктивно понимая, какую роль она играла в неожиданной перемене, происшедшей в герцогстве. По-видимому, этот осмотр привел к удовлетворительному результату, потому что он кивнул головой с довольным видом и почтительно поклонился. Полина же протянула ему руку, как старому другу.

Удаляясь от счастливой парочки, Франц заметил розу, которую герцог положил на пьедестал статуи Дианы.

— Это одна из тех роз, которую я дал дочери Меттерниха, — сказал он, — я тогда не знал, кто она такая, но Готлиб сказал мне ее имя. На какой черт только она положила эту розу на статую?

Полина вспомнила, что видела такую же розу на княжне Меттерних и подумала: “Это странно!“

Еще несколько минут молодые люди оставались наедине, потом Полина сказала, что пора вернуться во дворец, а то их начнут искать в саду. Но прежде чем расстаться с герцогом, который никогда не чувствовал себя таким счастливым, как в эту минуту, она произнесла:

— Этот момент еще более важный в вашей жизни, чем в моей. Я не беру моих слов назад, но я не желаю, чтобы вы связали себя на всю жизнь словом, данным в минуту увлечения. Вы должны все обдумать на свободе. Я не имею никакого значения и не должна играть роли в вашей судьбе, хотя я готова жертвовать всем для вашего счастья и славы. Вы имеете все права на меня, а я не имею никаких прав на вас. Подумайте и решите, останетесь ли вы герцогом Рейхштадтским, или будете Наполеоном.

И она быстро удалилась.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ЗАПАДНЯ

I

МИНЫ И КОНТРМИНЫ

— Вы сейчас вернетесь в Милан, слышите? Можно ли быть таким неосторожным? Я вам приказал ничего не делать без моего разрешения, а вы ночью пробрались в частную квартиру и стали рыться в ящиках, в сундуках, в чемоданах. Наконец, вы дошли до такой глупости, что вас поймали.

— Меня не поймали.

— Во всяком случае вас видели, и вы спаслись, как вор. Хороша полиция, которая прикрывает свои ошибки славой венских воров.

Вот какое объяснение происходило в этот же день между графом Зедельницким и Галлони.

— Очевидно, я виноват, так как мой план не удался, и вполне достоин наказания, — произнес сыщик, — но ничто не выбьет у меня из головы мысль, что эти бумаги у княгини.

— У нее нет более этих бумаг, — произнес торжествующим тоном начальник полиции, — они в моих руках. Вы видите, что мы больше не нуждаемся в ваших услугах.

Этот последний удар совершенно убил сыщика. Но он так страстно был предан своему ремеслу, что желал узнать, кто и каким образом добился того, чего он не мог достигнуть. Граф Зедельницкий, однако, не хотел удовлетворить его праздного любопытства, и только после нескольких почтительных просьб сказал резко:

— Сама княгиня Сариа передала эти бумаги канцлеру.

— А, — воскликнул Галлони, — я, значит, не ошибся. Она привезла их из Милана. Мои подозрения оправдались. Она похитила эти бумаги, чтобы лично их передать канцлеру.

— Она вовсе не похищала бумаг, а они оказались

в ее кружевах на другой день после вашего неудачного обыска в магазине.

— Ну, уж это извините, — сказал Галлони, оправляясь от своего смущения. — Она не взяла никаких кружев из магазина.

— Почему вы знаете?

— Потому что кружева и все ее заказы до сих пор лежат в магазине. Я видел их там после отъезда трех женщин из Милана.

— Что вы говорите?

— Правду. Может быть, княгиня добровольно отдала канцлеру все бумаги или часть их, но во всяком случае она не нашла их у себя дома в кружевах, так как эти кружева до сих пор находятся в магазине.

— Так вы все-таки настаиваете, что светская дама, друг Меттерниха и эрцгерцогини, похитила важные бумаги, отыскиваемые полицией, и которые ее могли сильно компрометировать? Вы просто сумасшедший.

— Я ни на чем не настаиваю, а думаю и соображаю.

— Вы можете думать и соображать, сколько угодно, только не на моей службе. Слышите? Я пригласил вас сюда, чтобы объявить вам о вашем увольнении из состава венской полиции и чтобы передать вам бумагу на имя начальника миланской полиции.

— Ради Бога, не губите меня, — произнес жалобным голосом несчастный сыщик. — Если вы написали в Милан дурной обо мне отзыв, то меня прогонят со службы, а вы понимаете, что прогнанный сыщик не может найти себе куса хлеба.

— Я вас не понимаю, — сказал Зедельницкий, — я не упоминал о вас в бумаге к начальнику полиции, это приказ об освобождении из тюрьмы Фабио Гальдони, которого канцлер помиловал.

— Фабио помиловали!

— Да.

Это известие, по-видимому, должно было окончательно привести в отчаяние сыщика; но он, напротив, просиял и, гордо подняв голову с видом торжествующего математика, только что разрешившего трудную задачу, воскликнул:

— Теперь я все понимаю.

— Что вы понимаете?

— Я никак не мог понять, какую роль играли белошвейки в этой истории, а теперь все понял. Я имел несчастье не понравиться княгине Сариа во время исполнения своих обязанностей, и она спрятала бумаги молодого карбонария. Белошвейки были в отчаянии от ареста, и она предложила им добиться его помилования; для этого она передала бумаги канцлеру и получила помилование Фабио. Все разыграно, как по нотам. Только я еще желал бы знать, не оставила ли она у себя какие-нибудь бумаги, или не сожгла ли чего-нибудь.

— Вы снова возвращаетесь к своим глупостям, — воскликнул гневно граф Зедельницкий.

— Да, ваше сиятельство. Кроме писем представителей Бонапартовской семьи к герцогу Рейхштадтскому, в пакете, переданном Фабио заговорщиками, находились другие важные документы. Конечно, белошвейки не позволили бы княгине Сариа выдать эти документы, так как их любимец Фабио мог ответить головой за подобное предательство.

— Вы говорите, что вместе с письмами были другие документы?

— Я уверен в этом. А ваше превосходительство их не видели?

Начальник венской полиции задумался. В голове его родилась мысль, хотя еще смутная, что возможно отомстить княгине Сариа и доказать канцлеру, какую пользу оказывала полиция в высшей политике, но для того надо было воспользоваться услугами Галлони, который в сущности был искусным, неутомимым и любящим свое ремесло сыщиком.

— Хорошо, — сказал он после некоторого молчания. — Я оставлю вас на службе в Вене и забуду о ваших ошибках, но постарайтесь их загладить. Как, вы думаете, взяться вам за дело, чтобы открыть интриги княгини Сариа, если ваши подозрения насчет ее справедливы?

Видя, что ему снова повезло, Галлони воскликнул:

— Я понимаю, ваше превосходительство, что имею дело с первоклассным соперником, а потому надо вести игру очень хитро и пока оставить княгиню совершенно в стороне.

— Так с кого же мы начнем, с белошвеек?

— Нет, они совершенно в руках княгини.

— Так с кого же?

— С герцога Рейхштадтского. Не угодно ли вам выслушать меня?

И Галлони стал подробно развивать начальнику полиции свой новый план.

II

ГРАФИНЯ КАМЕРАТА

С некоторых пор жила в Вене женщина очень странная. Дочь Элизы Бонапарт и графа Бачьоки, а следовательно, племянница Наполеона, она была замужем за неаполитанским аристократом, очень богатым и добродушно переносившим всю ее эксцентричность. Графиня Камерата была прекрасная наездница, успешно объезжала самых горячих лошадей, мастерски стреляла из пистолета и вообще отличалась искусством во всех атлетических упражнениях, но не любила чтения и умственных занятий. Все ее знание истории сводилось к тому, что ее дядя был властелином Европы, а ее двоюродный брат находился узником в Шенбруне. На основании этих сведений она во что бы то ни стало решилась освободить герцога Рейхштадтского.

По несчастью, она имела такое лицо, которое выдавало ее на каждом шагу. Она была точным портретом Наполеона, и все встречавшие ее были поражены этим сходством; поэтому с первых дней ее появления в Вене полиция следила за каждым ее шагом. К тому же она не скрывала своего намерения войти в сношения с шенбрунским узником.

Однажды ей удалось остановить его на лестнице в доме барона Обенауса, который давал ему уроки истории, и бросившись на юношу, она стала целовать его руки. Когда сопровождавший герцога граф Дитрихштейн оттолкнул ее, она гневно объявила, что имела право приветствовать своего двоюродного брата и сына своего государя.

С тех пор герцог Рейнштадтский более ее не видел, но полиция перехватила и передала графу Зедельницкому два письма к нему от графини Камерата. А в то время, когда Галлони объяснял графу Зедельницкому свой новый план действия, третье письмо графини лежало на столе начальника полиции.

— По моему мнению, — говорил сыщик, — надо нам подвергнуть герцога искусству, а именно — предложить ему план бегства так, чтобы, он, конечно, не догадался о происхождении этого плана. Если я не ошибаюсь насчет намерения княгини Сариа, то она, вероятно, уже дала герцогу посланные ему документы. Его ответ на наше предложение даст нам понять его намерения, а главное представит нам предлог к обыску в апартаментах герцога, — произнес сыщик.

— Ваша мысль прекрасна. Но как найти такого ловкого человека, который разыграл бы роль заговорщика, не возбудив подозрений герцога? Погодите...

И, порывшись в бумагах, он отыскал письмо графини Камерата, подал его сыщику и объяснил прошедшую историю беспокойной амазонки.

— Вот это отлично, ваша светлость, — отвечал Галлони, — но позвольте мне прочесть это письмо, чтобы убедиться, может ли оно послужить нам на пользу.

Зедельницкий сам взял письмо и прочел его вслух:

“Герцогу Рейхштадтскому.
Август 1820.

Любезный принц, я пишу вам в третий раз, будьте так добры, отвечайте мне, желаете ли вы поступить как австрийский эрцгерцог или как французский принц. Если вы согласны воспользоваться моими советами и покинуть наконец страну, где вас держат под замком, то вы убедитесь, как легко можно побороть все преграды силой воли. Вы тогда найдете тысячу средств, чтобы переговорить со мной, а я одна ничего не могу сделать. Только ради Бога никому не доверяйтесь. Подумайте, что вы как будто умерли для Франции и для вашей семьи. Подумайте о тех ужасных страданиях, которые вынес ваш отец, и о том, что он умер, смотря на ваш портрет. Воспользуйтесь этим моментом, принц. Может быть, я высказала слишком много. Моя судьба в ваших руках. Человек, который вручит вам это письмо, может доставить мне и ваш ответ. Надеюсь, что вы мне не откажете в этом ответе.

Наполеона Камерата.“

— Эта графиня для нас находка! — воскликнул

Галлони, когда Зеделъницкий окончил чтение письма. — Необходимо, чтобы герцог получил это письмо, и чтобы человек, который вручит ему послание графини, представил вам его ответ.

— Это очень просто, — отвечал граф. — Но смотрите: никому ни слова. Я доложу канцлеру о нашем предприятии только вместе с его результатом.

Начальник полиции и сыщик расстались на этот раз большими приятелями.

III

ДВА ОТВЕТА

На следующее утро Франц спокойно работал в Шенбрунском парке. Неожиданно он заметил, что один из его помощников, здоровенный, толстый немец, по имени Готлиб, бросил лопату и стал таинственно разговаривать с камердинером графа Дитрихштейна. Это продолжалось несколько минут, а затем Готлиб направился к нему и вступил с ним в разговор, который, однако, не клеился.

— Что с тобой, Готлиб? — спросил наконец старый служака. — Ты не в своей тарелке.

— По правде сказать, Франц, — отвечал молодой немец с некоторым смущением, — я не знаю, как исполнить данное мне поручение. Мне надо передать письмо кое-кому, а вам бы это было гораздо удобнее сделать, так как эта личность часто бывает здесь. Не возьметесь ли вы за это дельце?

— От кого письмо и к кому?

— От кого — не знаю, а отдать его надо маленькому Наполеону.

Франц с трудом поборол овладевшее им волнение, но все-таки равнодушно отвечал:

— Отчего же ты сам не передашь письмо?

— Вам ловчее это сделать. Герцог обыкновенно по вечерам ходит в этой части парка. Ведь он с вами разговаривает? Нам он никогда не говорит ни слова.

— Он не большой говорун, но и не всегда молчит.

— Что же он вам говорит?

— Он говорит, что князь Меттерних великий че-

ловек, — добродушно произнес Франц, — а граф Дитрихштейн очень добр и любезен. Он всем очень доволен. Жаль, что он тебя не знает, Готлиб, ты, вероятно, очень понравился бы ему. Ну, а где же письмо?

— Вот оно. Надо передать письмо, когда он будет один, и совершенно незаметно, а затем сказать герцогу, что придут за ответом.

— А придешь ты, толстяк, за этим ответом?

— Да.

Франц догадался, что герцогу Рейхштадтскому расставляют западню, и подумал, что лучшим способом спасти его от опасности было принять роль в этом деле.

— Отчего ты хочешь взвалить на меня поручение, которое так же хорошо мог бы исполнить и сам? — произнес он самым равнодушным тоном. — По крайней мере, ты можешь мне поручиться, что если я окажу тебе эту услугу, то граф Дитрихштейн не будет мной недоволен.

— Нет, его нечего бояться, — отвечал Готлиб, хитро подмигивая, — письмо прошло через его руки. Но об этом не надо говорить.

— Хорошо, так положи письмо на мою жилетку. Она валяется вон там в аллее. Теперь у меня руки грязные, и я не хочу брать письма. Ступай, я исполню твое поручение.

Готлиб удалился и по дороге положил письмо на жилетку, а Франц, смотря ему вслед, подумал:

“Граф Дитрихштейн сам не отдает письма принцу, а посылает его тайным образом и велит дать ответ тем же путем. Это что-то подозрительно“.

В сущности таинственное письмо было посланием графини Камерата, которое начальник полиции переслал в Шенбрун через многочисленных агентов, кишевших вокруг дворца. Готлиб солгал, говоря Францу, что граф Дитрихштейн знал об этой интриге. Начальник полиции и сам Меттерних не имели никакого расчета впутывать в свои комбинации слабохарактерного, но честного наставника юноши. По их словам, они боялись его неловкости, но в сущности их пугала его прямота. Принадлежа к одному из почтенных родов Австрии, граф Дитрихштейн придавал своим именем и положением некоторый престиж той группе знатных личностей, которая окружала внука императора, но

он не пользовался никаким авторитетом и не знал всех гадостей, которые делались вокруг него. Между прочим ему было не известно, что дворец кишел переодетыми полицейскими агентами в лице лакеев, рабочих, садовников и т.д. Все они находились в постоянных сношениях с графом Зедельницким, который таким образом знал и доводил до сведения канцлера все, что делалось в Шенбруне.

Франц передал подозрительное письмо герцогу Рейхштадтскому в тот же вечер и прибавил вполголоса, осматриваясь по сторонам, чтобы их никто не подслушал:

— Берегитесь, это письмо приманка. Я не знаю, что в нем, но оно идет из очень подозрительного источника.

— Ты прав, — отвечал юноша, прочитав письмо и разговаривая с Францем через разделявшие их кусты, — негодяи нахально присвоили имя моей родственницы, которую я однажды видел в доме барона Обенауса. Впрочем, может быть, письмо это и подлинное. Она показалась мне особой очень эксцентричной и в состоянии написать такое послание. Как бы то ни было, я не думал, чтобы Меттерних и его помощники могли придумывать такие глупые интриги.

Остановившись среди аллеи, герцог подозвал к себе Франца и сказал:

— Подождите меня здесь, я сейчас пришлю вам ответ.

Потом он шепотом прибавил:

— Я сам принесу его и дам тебе свои инструкции.

Спустя несколько минут из-за куртины цветов показался Готлиб, который издали следил за герцогом и поспешно спросил у Франца:

— Что он сказал?

— Я, право, не разобрал, что он бормотал, читая письмо, — отвечал старый служака, — но потом он приказал мне ждать здесь и сказал, что пришлет ответ. Вот, благодаря тебе, я попал в почтальоны.

— Хорошо, я приду за ответом, — сказал Готлиб, снова направляясь к той куртине, за которой он скрывался.

— Не беспокойся, я сам тебе принесу, — произнес Франц.

ний и нашло возможным открыть мне путь к отступлению, если бы я, обдумав предстоящее мне дело, счел его себе не по силам. Я на это согласился, считая, что я могу быть достойным вас, только поступая так же осторожно и спокойно, как вы.

Я восстановил в моей памяти все события моей жизни, известные вам, и те, которых вы не знаете. Я мысленно вызвал всех очевидцев моей юности и допросил их. Наконец в глубине сердца я вызвал образ своего отца, и он как бы явился передо мной, открыв свои мертвые глаза. Вы мне сказали, что надо ехать во Францию, и когда мой ум вполне подтвердил то, что мне советовало сердце, я почувствовал себя таким же счастливым, как в ту блаженную минуту, когда вы вдохнули в меня новую жизнь.

Поэтому, княгиня, я теперь могу дать то обещание, которое вы нашли нужным отсрочить: я отправляюсь во Францию.

Я не могу выразить на бумаге те чувства, которые даже мои уста не способны вполне высказать, а только прибавлю пять слов, в которых отныне выражается вся моя жизнь: я вас люблю и надеюсь.

Наполеон“.

Спустя несколько времени герцог Рейхштадтский вернулся и, отдавая письмо Францу, сказал:

— Отдай это тому, кто придет за ответом, а завтра утром пойди к княгине Сариа и расскажи ей о случившемся и спроси ее приказания.

— Слушаюсь, ваше высочество.

— Ты передашь ей еще и это письмо, — продолжал герцог, покраснев. — Скажи, что я писал раньше настоящей истории, и прибавь, что эта история только укрепила мою решимость. Да еще скажи, что я вполне полагаюсь на нее насчет устройства моего отъезда и желаю, чтобы он совершился, как можно скорее. Ты ведь ей поможешь, не правда ли, Франц?

— Будьте спокойны, ваше высочество, но не давайте мне второго письма в руки, а тихонько опустите его вон в тот куст.

Герцог так и сделал, а Франц, как бы ни в чем не бывало, подошел к кусту и незаметно поднял письмо.

Спустя несколько минут Готлиб с сияющим лицом отдал переодетому полицейскому агенту письмо шенбрунского узника к графине Камерата, а Франц отнес домой второе письмо герцога Рейхштадтского, за которое ему дорого бы заплатил граф Зедельницкий и Галлони.

На следующее утро начальник полиции с любопытством распечатал письмо на имя графини Камерата, но, прочитав его, презрительно бросил. Вот что заключалось в этом письме:

“Графиня!

Я только что получил письмо, которое непонятно и по содержанию и по тону. Я получил его окольным путем и не намерен более получать таким образом какие бы то ни было письма. Так как оно написано дамой, то я из приличия отвечаю. Хотя высказанные вами чувства меня трогают, и я очень благодарен за них, но прошу вас не писать мне.

Герцог Рейхштадтский“.

Со своей стороны Полина получила от Франца и прочла с глубоким чувством давно желанное письмо:

“Княгиня!

Вы не хотели, чтобы я дал слово, прежде чем здраво обсужу свое положение. Ваше сердце так благородно, что оно боялось ваших собственных увлече-

ний и нашло возможным открыть мне путь к отступлению, если бы я, обдумав предстоящее мне дело, счел его себе не по силам. Я на это согласился, считая, что я могу быть достойным вас, только поступая так же осторожно и спокойно, как вы.

Я восстановил в моей памяти все события моей жизни, известные вам, и те, которых вы не знаете. Я мысленно вызвал всех очевидцев моей юности и допросил их. Наконец в глубине сердца я вызвал образ своего отца, и он как бы явился передо мной, открыв свои мертвые глаза. Вы мне сказали, что надо ехать во Францию, и когда мой ум вполне подтвердил то, что мне советовало сердце, я почувствовал себя таким же счастливым, как в ту блаженную минуту, когда вы вдохнули в меня новую жизнь.

Поэтому, княгиня, я теперь могу дать то обещание, которое вы нашли нужным отсрочить: я отправляюсь во Францию.

Я не могу выразить на бумаге те чувства, которые даже мои уста не способны вполне высказать, а только прибавлю пять слов, в которых отныне выражается вся моя жизнь: я вас люблю и надеюсь.

Наполеон“.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

БЕГСТВО

I

СОВЕЩАНИЕ

Полина совершенно преобразилась в то короткое время, которое прошло от ее посещения миланского магазина “Золотые ножницы“ до получения письма от узника Меттерниха. Прежде она подчинялась всем бесчисленным условиям светской жизни, хотя чувствовала себя выше ее мелочных интересов и жаждала чего-то нового, необыкновенного, невозможного. Теперь неожиданно это новое, необыкновенное и невозможное представилось ей. Ее усталые, полузакрытые от скуки глаза вдруг увидели перед собой лучезарный образ существа, вполне достойного ее любви. Это был двадцатилетний юноша, прекрасный, благородный, несчастный.

При виде его в ее сердце проснулось все, что в нем было нежного, пламенного, преданного. Она теперь не думала ни о чем, кроме своей любви, и не видела перед собой ничего, кроме дорогого человека, которого она любила и который ее любил. Впрочем, она несколько не изменилась в своем внутреннем существе, а только сбросила с себя тяготившую ее светскую маску и стала настоящей Полиной.

Несколько раз перечитала она письмо любимого человека и долго мечтала бы о нем, об их счастье, о первом их свидании, о лучезарной будущности, открывавшейся перед ними, но неожиданно в голове ее блеснула мысль:

— Я люблю узника, и мне надо отворить ему темницу.

Она подняла голову. Перед ней стоял Франц и ждал приказаний.

Мгновенно Полина почувствовала в себе жажду деятельности и, взяв за руку старого служаку, как брата, просто сказала:

— Давай работать для его освобождения?

Она вынула из сохранившегося у нее пакета маршрут и список тех лиц, которые могли оказать содействие бегству меттерниховского узника. Она показала Францу все эти бумаги и прочла их содержание.

— Возьмите их, господин Франц, — сказала она, — они должны отныне оставаться в ваших руках. Впрочем, они и адресованы вам.

И она показала ему инструкцию, данную Фабио миланским комитетом.

— Откуда они знают мое имя, — воскликнул старый служака, — и что я нахожусь в Шенбруне?

— Вы никогда не были в сношениях с карбонариями?

— Никогда! И, по правде сказать, я до сих пор считаю их за подозрительных революционеров.

— Посмотрите список лиц, сочувствующих освобождению герцога Рейхштадтского и, может быть, вы найдете какого-нибудь приятеля, который мог сообщить сведения о вас миланскому комитету.

Франц взял список и, пробежав несколько строчек, воскликнул:

— Теперь я понимаю. Тут говорится о Карле Грепи, стекольщике, живущем близ Бельведера. Это хороший человек и такой же старый солдат, как я, и так же сильно любит императора. Он проделал русскую кампанию в итальянском контингенте седьмого корпуса под начальством Жюно. Во время отступления из России мне удалось как-то спасти ему жизнь. Какой-то казачий офицер занес саблю над его головой. Но я успел раньше снести голову этому офицеру. Можете себе представить, что я об этом совершенно забыл, как вдруг в Вене, два года тому назад, я встретил какого-то господина, который бросился ко мне на шею, потащил меня в свой стекольный магазин и объявил жене и дочери, что я когда-то спас ему жизнь. С тех пор я иногда виделся с ним, и он приходил ко мне в Гитцинг по воскресеньям. Конечно, в наших разговорах с Грепи я часто упоминал о сыне императора и клялся, что ребенок вполне достоин своего отца. Но признаюсь, я не думал, что такой благоразумный и осторожный человек, как Грепи, станет передавать мои слова, и кому же — карбонариям. Одно только хорошо, что он ничего не солгал, и я

действительно готов отдать жизнь за этого ребенка, как он уверяет.

— Не сожалеете, что вы ему доверились, господин Франц, — сказала Полина. — Если бы вы не передавали ему всего, что вы знали о герцоге, то ваше имя не было бы известно в Милане, и мы теперь не совещались бы с вами о спасении того, кого вы так любите.

— Это правда. Он молодец и оказал нам бессознательно большую услугу.

— Он может быть нам еще более полезен. Как вы думаете, он достаточно богат, чтобы нанять для себя экипаж, не возбудив подозрения?

— Не знаю, — отвечал Франц, покручивая усы, — но я это узнаю. Впрочем, не беспокойтесь, мы вдвоем все устроим.

Тогда Полина объяснила ему свой план действий, который состоял в найме почтового экипажа и отправке в нем герцога во Францию согласно составленному в Милане маршруту. Одно только ее удерживало от немедленного исполнения этого плана, именно — неполучение от графа Зедельницкого приказа об освобождении из-под ареста Фабио, а Полина не хотела до отъезда белошвейек ничего предпринимать, что могло бы возбудить гнев Меттерниха.

— Погодите, — сказала она, — я пошлю за этими дамами, может быть, мы с ними что-нибудь и порешим.

Пока горничная ходила за белошвейками, Полина рассказала Францу их историю и предупредила его, что он может при них свободно говорить обо всем.

Когда в комнату явилась Шарлотта и ее тетка, то Полина представила им Франца Шуллера и они обе воскликнули с восторгом:

— Это он?

Франц покраснел и никак не мог понять, почему он пользовался такой широкой популярностью.

— Господин Шуллер, — сказала Шарлотта, подходя к нему, — мой жених Фабио Гальдони должен был отправиться к вам в Шенбрун и предложить вам устроить вместе с ним бегство герцога Рейхштадтского. Фабио арестовали, но его место заняла княгиня; вы можете себе представить, какие чувства мы питаем к ней.

— Да, мы уважаем ее столько же, сколько любим, — прибавила тетка.

Полина хотела протестовать, но Шарлотта не дозволила ей сказать ни слова и быстро произнесла:

— Нас одно только беспокоит, что княгиня из великодушия отсрочивает освобождение герцога до нашего отъезда с приказом о помиловании Фабио в кармане. Не правда ли, княгиня?

— Да, мы так с вами условились.

— Я на это теперь не согласна, — произнесла Шарлотта решительным тоном, — вы должны, княгиня, не думать о нас и тотчас принять меры для освобождения шенбрунского узника. Чем вы будете действовать быстрее, тем вы имеете больше шансов на успех. Я уверена, что Фабио будет более рад освобождению герцога, чем своему помилованию.

— Я горжусь тем, что вы француженка, — сказал Франц.

— Хорошо, я согласна, если вы все этого желаете, — произнесла Полина, — но это не помешает мне сегодня же ускорить выдачу приказа о помиловании Фабио. Значит, Франц, — прибавила она, — вы приготовьте экипаж и почтовых лошадей завтра, вечером, в 10 часов, у дома Клари, в Бельведере.

II

КОЛЯСКА ИМПЕРАТОРА

Старое венское предместье Леопольдштадт представляло в 1820 году совершенно иное зрелище, чем теперь. Отделенное от официального города и людных кварталов Дунайским каналом, оно отличалось провинциальным характером, и было немислимо, чтоб какой-нибудь знатный или богатый венец имел поставщиков в Леопольдштадте.

Отправившись в тот же день на поиски экипажа, Франц вместе с Карлом Грепи прошел свою главную улицу этого отдаленного квартала, и только в конце ее остановились они перед большим двором, где, очевидно, отпускали лошадей и экипажи в наем, но без административного патента. Дом, сарай и вывеска были самого скромного характера, а среди суетившихся около экипажей людей не видно было официальных почтарей с бляхами.

— Хозяин заведения — венгерец Мано, — сказал

Грепи, — он ненавидит австрийское правительство и по-своему служит своим патриотическим стремлениям. Он отдает в наем хороших лошадей и надежные экипажи своим соотечественникам, преимущественно мелким торговцам и поселянам, гораздо дешевле, чем другим подданным императора. Мы здесь найдем то, что нам надо.

Они вошли в большую комнату, где за столом сидело несколько венгерских рабочих, в одинаковой одежде, состоявшей из высоких сапог, широких полотноных панталон, короткой цветной куртки и маленькой круглой фуражки. Перед каждым подле его стакана лежал длинный кнут с короткой ручкой.

— Что вам нужно? — спросил хозяин Мано, седой старик среднего роста.

— Экипаж и лошадей без возницы, — отвечал Грепи.

— Далеко едете?

— Очень.

— Тогда лучше купить экипаж.

— Можно.

— А каких надо лошадей?

— Добрых.

— Есть прекрасные.

— Не надо. Предпочитаю добрых.

— Сколько?

— Пару.

— А где подставы?

— Мое дело.

— И мое дело. Я не хочу загонять своих лошадей.

— Если загоню, то заплачу.

— Где взять?

— В Видене, где я живу. Я вернусь на другой день.

— Вы можете представить поручительства?

— Какие?

— Я не люблю иметь дело с венцами, но мы можем поладить с вами, если вы объясните, на что вам экипаж и лошади. Я не люблю тайн.

— Нам нечего таиться, и мы не поедem сами, а нанимаем экипаж для приятеля. Конечно, нам нечего говорить его имя. Достаточно вам записать мое имя в книгу и навести справку, что я человек состоятельный. Для вашего же успокоения я прибавлю, что мы с товарищем так же, как вы, не любим иностранцев.

Будьте спокойны, дело не идет о похищении девицы или о чем-либо преступном. Впрочем, какое вам до этого дело, ваше ремесло поставлять экипажи и лошадей, не правда ли?

— Конечно, — отвечал хозяин, который до сих пор смотрел подозрительно на двух друзей, но теперь просиял и повел их во двор, где в сараях стояло около двадцати экипажей всякого рода, от простой тележки и двухколесного кабриолета с парусинным верхом до карет и колясок.

— У вас дама? — спросил хозяин.

— Нет, — отвечал Франц, впервые вмешиваясь в разговор, — но нам надо все-таки крытый экипаж.

Хозяин показал им удобную двухместную карету, но взгляды Грепи и Франца остановились на стоявшей в углу большого сарая старинной и, по-видимому, давно не употреблявшейся коляски, с большим верхом.

— Вот что нам надо, — сказал Грепи, а Франц молча кивнул головой.

— Может быть, — отвечал Мано, — но этот экипаж не продается и не отдается.

— Отчего?

— Это коляска императора.

— Какого императора?

— Наполеона.

Старые служаки знаменательно переглянулись; они искали экипаж для сына, а нашли коляску отца.

— Может быть, вы желаете знать, как она ко мне попала? Очень просто! Я купил ее пятнадцать лет тому назад в Шенбруне. Вероятно, хотели от нее отделаться, чтобы случайно император Франц не сел в экипаж, в котором Наполеон катался по Вене. С тех пор она стоит здесь без употребления.

— Продайте, — сказал Грепи.

— Нет.

— Она нам нужна во что бы то ни стало, — произнес Франц.

Мано пристально осмотрел с головы до ног этих странных покупателей исторического экипажа, задумался, а потом спросил с улыбкой:

— Куда вы едете?

— В Страсбург, — отвечал Франц.

— В таком случае берите.

Пока оба друга договаривались с Мано насчет цены коляски, они нимало не подозревали, что за ними пристально следил Галлони.

Надев парик и очки, которые его скрывали так, что никто его не мог узнать, ловкий сыщик с утра наблюдал издали за отелем "Лебедь" и с удивлением увидел, что княгиня Сариа приняла в своих апартаментах странного на вид старого служаку, хотя и в штатском платье. Его подозрение было возбуждено, и он последовал за Францем прежде в Бельведер в стекольный магазин Грепи, а затем в Леопольдштадт. Когда Франц и Грепи вошли во двор, где отдавались в наем экипажи, Галлони был достаточно осторожен, чтобы остаться на улице и то на значительном расстоянии.

Он дождался их выхода, но теперь они стали, по-видимому, более подозрительными и озирались по сторонам, а потому ему пришлось следить за ними на таком большом расстоянии что, при повороте в один переулок он совсем потерял их из виду. Это обстоятельство, однако, не привело его в отчаяние. Он считал, что во всяком случае сделал полезное открытие и, доложив об этом графу Зедельницкому, продолжал свои розыски.

III

БАЛ У ЛОРДА КАУЛИ

Надо отдать справедливость недавно вступившему тогда на престол английскому королю Вильгельму IV: он всячески старался выказать князю Меттерниху, как он высоко ценит услуги, оказанные Англии ее могущественным союзником. Действительно, в продолжение пятнадцати лет между английским и австрийским правительством существовало такое тесное дружеское соглашение, что некоторые истинные патриоты той и другой страны краснели за свою родину. Так, были англичане, которые находили, что Гудсон-Ло слишком далеко шел в своей роли тюремщика, и некоторые австрийцы упрекали Меттерниха в том, что он делал Шенбрун продолжением Лонгвуда.

Но зато английские министры и австрийский кан-

цлер действовали заодно, а лорд Каули, служивший связующим звеном между ними, пользовался в Вене совершенно привилегированным положением. Поэтому неудивительно, что Меттерних, решившись выпустить в свет своего узника, избрал местом его первого дебюта дом английского посланника. Показать впервые свету сына Наполеона на балу у представителя его злейших врагов было ловким дипломатическим фортелем, который должен был доказать, что юноша — простой австрийский эрцгерцог, и тем убить надежды бонапартистов.

Вся знатная и официальная Вена, конечно, собралась на этот бал, чтобы присутствовать при таком интересном дебюте. Залы и сады посольского дома блестели тысячами огней и представляли фантастическое, волшебное зрелище.

Молодые люди танцевали, как только умеют танцевать в Вене, а пожилые занимались светской болтовней в ожидании императора и его внука.

Среди разговаривающих находились Фридрих Генц и французский журналист Пьер Лефран, которого он серьезно знакомил со всеми достопримечательностями Вены. Стоя с Лефраном на пороге гостиной, он любезно указывал своему собеседнику всех выдающихся лиц политического и военного мира, сообщая их краткую характеристику. Но на этот раз обыкновенно скептический тайный советник произносил только похвалы, как бы желая выставить перед иностранцем лишь розовую сторону своей родины.

— Посмотрите, какой нежной грацией отличается эрцгерцогиня София. А видали ли вы когда-нибудь более красивую женщину, чем другая невестка императора, Мария-Анна?

Несмотря на свой либерализм, Лефран должен был согласиться со справедливостью этого замечания представителя австрийской реакции.

— А кто эта дама, говорящая с обеими эрцгерцогинями? — спросил он.

— Графиня Шпигель и баронесса Кинская, обе говорят с ними, а потому я не знаю, про которую вы говорите.

— Ни про ту, ни про другую.

— Ах, это княгиня Сариа.

— Княгиня, должно быть, странная женщина, она

живет со мной в одном доме, и за ней постоянно следит полиция.

— Вы, должно быть, ошибаетесь? Княгиня Сариа — близкий друг канцлера и эрцгерцогини Софии.

— Я не могу ошибаться. Например сегодня, прибывшие с ней из Италии две дамы уехали обратно, и не успел увозивший их экипаж исчезнуть из вида, как в отеле поднялась суматоха и полиция стала упрекать хозяина, что он не предупредил ее об отъезде этих лиц. Вообще странные дела творятся в этом отеле, и я долго не мог добиться присланных вами карточек для посещения музея на том основании, что будто бы они прежде должны быть представлены в полицию. Неужели таковы венские обычаи?

Генц был очевидно смущен этим вопросом и довольно неловко стал объяснять своему собеседнику, почему австрийское правительство считало необходимым подвергать жителей Вены и даже иностранцев многочисленным неприятным стеснениям ввиду обеспечения порядка и общественной безопасности.

Княгиня Сариа, которая возбудила этот разговор между почтенным тайным советником и французским журналистом, сидела, как на иголках. Днем она сама отправилась к графу Зедельницкому и так обворожила его своей красотой и любезностью, что получила от него приказ о помиловании Фабио, а затем она готовилась сделать решительный шаг в той смелой игре, которую она вела с канцлером, поэтому неудивительно, что она не обращала никакого внимания на происходившие вокруг нее светские разговоры.

— По-видимому, лорд Каули угостит нас сегодня игрой Тальберга и пением Пасты, — сказала с восторгом баронесса Кинская.

— Я нимало не интересуюсь услышать эту актерку, — презрительно заметила графиня Шпигель.

— Я думала, что Паста певица, — застенчиво промолвила сидевшая рядом молодая девушка.

— Действительно, многие полагают, что она поет и даже прекрасно, но в сущности она мычит. Впрочем, и актерка-то она небольшая и умеет только эффектно драпироваться, хотя походит скорее на статую, чем на женщину.

— Какая вы злая, моя добрая графиня! — заметила со смехом эрцгерцогиня София.

— Не все с вами согласны, — сказала баронесса Кинская, — ведь не даром директор оперы платит ей десять тысяч флоринов за пятьдесят представлений.

— Это доказывает только глупость венской публики, которая бросается на всякую новинку.

— Я совершенно согласна с баронессой, — произнесла эрцгерцогиня. — Если наш любезный хозяин угощает нас сегодня ее пением, то она, должно быть, первая певица в свете.

— Во всяком случае до завтрашнего утра, ваше высочество! — ехидно заметила графиня Шпигель, и все вокруг засмеялись.

— Подойдите к нам, кардинал, — воскликнула эрцгерцогиня, увидев стоявшего вблизи папского легата Альбани, — мы здесь очень нуждаемся в христианской проповеди о любви к ближнему...

— Помилуйте, ваше высочество, — отвечал ловкий кардинал, почтительно кланяясь, — вы служите олицетворением этой христианской любви, но, насколько я слышал, дело идет об актрисе.

— Да.

— В таком случае я предъявляю отвод.

И лицемерный прелат удалился в сторону, а присутствовавший при этой сцене эрцгерцог Карл сказал вполголоса своему соседу генералу Бельяру:

— Почтенный прелат, вероятно, забывает, что он не только прелат, но и посланник, а дипломаты гаеры, как и актеры. К тому же не к лицу ему здесь кичиться своим религиозным фанатизмом, ведь он пользуется гостеприимством еретика.

Между тем Альбани подошел к Меттерниху и, поздоровавшись с ним, сказал:

— Я очень рад, что встретился с вами, ваше высочество, я имею сообщить вам важную новость.

— Его святейшество папа поручил мне предложить вам от его имени кардинальскую шляпу.

— Я вас не понимаю, — отвечал канцлер действительно вне себя от удивления.

— Тут нет ничего странного, — продолжал Альбани, — вы недавно при мне говорили, что любите более всего красный цвет, и я тотчас об этом сообщил его святейшеству, а он ответил, что с удовольствием увидит бы вас в числе кардиналов.

— Извините меня, господин прелат, — отвечал с

улыбкой Меттерних, — но я плохой богослов и не гожусь в кардиналы.

— Это ничего. Можно быть кардиналом, не отличаясь богословскими познаниями.

— Нет, право, — отвечал канцлер, — не могу же я постоянно маскироваться. Мне и так приходится, отправляясь на Пресбургский сейм, надевать венгерский гусарский мундир, а тут вы еще хотите, чтобы я являлся в кардинальской шляпе, к тому же вам, вероятно, известно, что я вскоре женюсь.

— Это дело другое, — возразил папский легат, очевидно, недовольный результатом своей беседы, — его святейшество будет очень сожалеть!

— Не правда ли, ваше величество, — сказал Меттерних, обращаясь к эрцгерцогу Карлу, который слышал их разговор с легатом, — ведь я был бы смешным кардиналом?

— Нисколько, — отвечал старый фельдмаршал с иронической улыбкой.

Отойдя в сторону с генералом Бельяром, он прибавил вполголоса:

— А что я вам говорил, Альбани не хотел говорить об актрисах, а сам предложил канцлеру разыграть такую сцену переодевания, какую вряд ли можно видеть и в театре. Тонкие дипломаты эти итальянцы. И когда подумаешь что вы, французы, сражались с нами и еще, быть может, готовы сражаться из-за итальянцев...

— Италия не в Ватикане, — заметил Бельяр.

— Вы правы, она в Капитолии, — отвечал эрцгерцог.

В эту минуту у входа в гостиную произошло движение, и масса мундиров раздалась на обе стороны, чтобы, очевидно, пропустить кого-то.

— Пойдемте в театральный зал, — сказала эрцгерцогиня София, — кажется приехал император. Не правда ли, княгиня? — сказала она, обращаясь к Полине.

— Извините, ваше высочество, — отвечала княгиня Сариа дрожащим голосом, — это не император, а герцог Рейхштадтский.

Услышав это имя, сидевшая рядом с ней молодая девушка в белом кисейном платье устремила глаза на дверь и тихо промолвила:

— Какой он бледный!

Это была Гермина Меттерних.

ДЕБЮТ ГЕРЦОГА РЕЙХШТАДТСКОГО

Все с любопытством ожидали первого шага герцога в светском венском обществе, и самое искреннее удивление выразилось на лицах как дам, так и мужчин, когда он появился на пороге гостиной, весь в черном, без орденов. Его щеки казались бледнее обыкновенного среди окружающих его золотых мундиров. Высокий белый галстук обвивал его шею, а в кружевном жабо не видно ни малейшего бриллианта. Узкий, длинный фрак, короткие брюки и шелковые чулки обрисовывали его тонкую стройную фигуру. Без шпаги, ленты и улыбки он казался безмолвным протестом и живым упреком. Все присутствовавшие это хорошо поняли, и сочувственные взгляды приняли почтительный характер, а равнодушные выразили беспокойство.

— Какой странный костюм, — сказал Меттерних вполголоса эрцгерцогу Карлу. — Вам не кажется, что ваш внук как будто совершает сегодня государственный переворот?

— Во всяком случае это не 18 брюмер, — отвечал фельдмаршал, стараясь обратить замечание канцлера в шутку, но в глубине своего сердца он опасался, чтобы выходка юноши не навлекла на него строгого выговора.

Между тем герцог, сопровождаемый одним из своих новых адъютантов, капитаном фон Модем, обратился к хозяину дома с любезными словами:

— Я очень вам благодарен, что вы берете на себя труд быть моим чичероне на этом прекрасном празднике.

— А я, — отвечал лорд Каули, возвышая голос, быть может, более, чем позволяло приличие, — осмеливаюсь поблагодарить вас, ваше высочество, за то, что вы выбрали мой дом для вашего первого появления в свете.

— Мой дед, который еще решает за меня все вопросы, — отвечал герцог, — сделал этот выбор, и я ему очень признателен.

Не продолжая далее этой легкой перестрелки, сын Наполеона направился к группе эрцгерцогинь и любезно поздоровался с ними, целуя им руки, затем он

отыскал Меттерниха и, обменявшись с ним несколькими словами, подошел к эрцгерцогу Карлу.

— Здравствуйте, дедушка.

— Скажи пожалуйста, зачем ты надел такой странный костюм.

— Я не хотел, чтобы мой мундир, даже австрийский, прикасался к красным мундирам, — отвечал просто и искренне юноша.

— Ах, ты, луарский разбойник! — заметил с улыбкой эрцгерцог.

Между тем Меттерних подготовлял театральный эффект, который должен был заставить герцога Рейхштадтского выдать себя или, по крайней мере, подчеркнуть дипломатическое значение его присутствия на балу. Канцлер сказал два слова лорду Карлу, и тот направился к официальному представителю нового французского короля, генералу Бельяру.

— Генерал, — сказал он, взяв его за руку, — вы знаете молодого герцога Рейхштадтского, не хотите ли, чтобы я вас познакомил?

— Конечно, но... — начал Бельяр, покраснев...

Однако он не успел окончить своей фразы, как уже хозяин дома, как бы исполняя долг гостеприимства, представлял его юноше.

— Ваше высочество, — сказал лорд Каули, — вот генерал Бельяр, представляющий в Вене его величество...

— Любезный лорд, — перебил его герцог Рейхштадтский, с покрасневшими от волнения щеками, — для меня генерал только старик-товарищ по оружию моего отца, и я очень рад пожать ему руку.

Он схватил дрожащую руку Бельяра и крепко ее пожал.

— Мы все, ваше высочество, хотя и служим другому правительству... — начал генерал, но герцог его перебил:

— Все равно, я вижу в вас только героя героического века, и вы всегда останетесь таким в моих глазах. Долго вы останетесь в Вене?

— Нет, маршал Мэзон будет здесь послом Франции.

— Посол Франции, какой прекрасный! Скажите маршалу от меня, что если я не буду в состоянии его посещать, то все-таки я с удовольствием буду встре-

чаться у моего деда с таким славным представителем французской армии.

— Я передам ему слова вашего высочества.

— А знаете, генерал, никто бы не сказал, смотря на вас, что вы сражались под Жемаппом.

— Как, вы знаете, ваше высочество?

— Да. Я знаю и еще многое другое. Мне известно, что вы спасли и привели обратно во Францию египетскую армию, наконец, что вы, будучи сподвижником первых побед моего отца, находились в числе последних верных его слуг. О, как бы я желал видеть, что вы видели, и как моя молодость завидует вашим сединам!

В глазах Бельяра все запрыгало, и в ушах его зашумело. Он не заметил, как юноша, пожав ему руку, удалился, а на его выручку поспел эрцгерцог Карл, с которым он машинально направился в другую залу, бормоча про себя:

— Какой славный мальчик, какой славный мальчик!

— Что товарищ, мой внук был бы славным для вас государем?

— Ваше высочество хотите прижать к стене бедного солдата, не годящегося в дипломаты, — произнес Бельяр. — Ну, да, признаюсь, если бы я знал, что встречу здесь такого принца...

— То вы не явились бы сюда представителем другого государя, — докончил начатую фразу эрцгерцог. — Не бойтесь высказать свои искренние чувства, ведь мы с вами вдвоем.

Между тем лорд Каули подошел к Меттерниху, который знал уже о его неудаче и встретил английского дипломата недовольным, гневным взглядом.

— Однако вы должны сегодня помолодеть, ваша светлость, — сказал посланник.

— Отчего?

— Оттого что, говорят, вы присутствовали некогда при таких же сценах, в Тюльери и Сен-Клу, где отец этого юноши выхвалял своих генералов перед безмолвствовавшими дипломатами.

— Да, мало ли чего я видел, — ответил канцлер, — но теперь не время возвращаться к таким сценам, и будьте уверены, любезный лорд, что я укорочу память беспокойного юноши.

Сидевшая подле отца Гермина подумала:

— Как отец сердится на него, однако он поступил очень хорошо.

— Я согласился сделать этот опыт, — продолжал Меттерних, — чтоб убедиться, в каком настроении находится наш заложник, но теперь обещаю вам, что он не выйдет из четырех стен своей комнаты.

— Я могу сообщить об этом в Лондоне?

— Конечно, у меня не два слова, любезный лорд.

Гермина бледная, как ее кисейное платье, подумала: “Увы, у него два сердца!”

— Благодарю вас, ваша светлость, — сказал лорд Каули и поспешил навстречу к императору, который только что подъехал к посольскому дому.

— Папа, разве есть еще заложники? — спросила Гермина, взяв за руку отца и бросая на него умоляющий взгляд.

— А, ты нас подслушала. Да, есть. И когда они ведут себя неблагоприятно...

— То что с ними делают?

— Их запирают, — отвечал Меттерних твердым голосом.

И освободившись от руки дочери, он удалился, а молодую девушку увела ее подруга Флора Вирбна в другую залу, где танцевала молодежь.

Во все это время Полина спокойно ожидала, чтобы герцог Рейхштадтский подошел к ней. Она знала, что сердце его принадлежит ей, но так долго он не находил нужным поздороваться с ней. Она, напротив, радовалась, что он так ловко и благородно побеждал преграды, расставленные ему врагами на каждом шагу.

— Я весь день с нетерпением ждал этой минуты, — сказал он, останавливаясь наконец перед нею и почтительно ей кланяясь.

— И я занималась тем, что подготавливала будущее. Франц вам доложил обо всем?

— Да, я готов.

— Значит, вы отсюда...

— Я поеду отсюда с моим адъютантом на маскарад графини Клари. Капитан Моль согласился с удовольствием на эту шалость. Домино и маски для нас обоих лежат в карете, и в этом черном костюме никто меня не узнает.

— Вы уедете отсюда, как можно скорее, а, главное, один покинете дом графини Клари.

— Конечно, конечно, оттуда я прямо полечу к Францу, и там я вас увижу.

— Да. Но, главное, не бойтесь кучера того экипажа, который вас будет ждать у дома графини, его зовут Карл Грепи. Вы можете ему вполне довериться, а найдете вы его с почтовой коляской у сада графини.

— Хорошо, через час я буду на дороге в Шенбрун, а через два мы будем оба вне всякой опасности.

— Франц поедет с нами, не правда ли?

— Да. Но берегитесь. Меттерних не сводит с нас глаз. Он, вероятно, очень недоволен вашим поведением.

— А я разве дурно поступил?

— Нет, все вас одобрили.

— А вы?

— Я узнала в вас того, кого люблю.

Он почтительно поклонился, по всем правилам светского искусства, но в эту минуту их души слились в одном пламенном взгляде.

V

ПОДКОП

Спустя несколько минут через эту гостиную прошла императорская чета, направляясь в театр. Франц I шел под руку с графиней Каули, а императрицу вел хозяин дома. За ним следовала эрцгерцогиня, придворные особы, генералитет и все приглашенные.

— А вы не идете на концерт, княгиня? — сказала графиня Шпигель, проходя мимо Полины.

— Нет. Эрцгерцогиня мне разрешила удалиться, и я еду домой.

— Вот счастливая! Прощайте, княгиня.

— Прощайте, графиня!

Полина поспешно направилась к лестнице.

Эрцгерцог Карл между тем остановил герцога Рейхштадтского.

— Ты идешь слушать пение? — спросил он.

— Нет, дедушка, — отвечал он, — по правде сказать, мы с капитаном Модем намерены улизнуть отсюда на маскарад графини Клари в Бельведере.

В эту минуту проходили мимо Гермина Меттерних и Флора Вирбна.

— Ты слышишь?— сказала Флора.— Герцог едет на маскарад. Он теперь, кажется, повеселел, не правда ли?

— Да,— отвечала Гермина, печально вспоминая слова своего отца, и обе девушки направились в театр, устроенный в саду.

— Ты хорошо делаешь, что веселишься,— отвечал эрцгерцог на слова своего внука,— в твои годы надо веселиться.

— Я до сих пор не знаю, что это значит, милый дедушка. Вот, например, я никогда не бывал на маскараде, и если бы капитан Моль не согласился ехать со мной, то я и теперь не позволил бы себе этой забавы. Мне даже как-то странно думать, что я буду на маскараде.

— Что же ты опять стал хандрить, а вчера еще ты был так счастлив.

— Я сегодня еще счастливей,— сказал юноша, но при мысли, что, может быть, он более никогда не увидит доброго эрцгерцога, который один обращался с ним ласково, он невольно задумался, и лицо его затуманилось печалью.

— Да ты так счастлив, что на твоём лице нет и следов его. Знаешь что, Франц, я не хочу, чтобы ты принимал меня за бессердечного человека. Я не знаю, что тут творится вокруг тебя, и какая тебя ждет будущность, но помни всегда, что я тебя люблю, и что ты можешь рассчитывать на мою помощь, если бы она тебе когда-нибудь понадобилась, ну, а теперь пойдем со мной в соседнюю галерею, я хочу покурить, а тебе еще рано ехать на маскарад.

И они удалились, сопровождаемые капитаном Мо-лем.

В эту самую минуту в гостиную вошла новая и совершенно неожиданная личность, именно Галлони, в ливрее меттерниховских слуг. За ним следовал лакей английского посольства.

— Подайте эту записку канцлеру,— сказал Галлони, подавая лакею тщательно сложенную бумажку.— Это по очень важному делу.

Вскоре послышались торопливые шаги, и Меттерних показался на пороге.

— Кто вы такой, и отчего вы в моей ливрее?— спросил он, подходя к незнакомому ему человеку.

— Я агент ломбардской полиции, причисленный

на время к венской, — отвечал Галлони, — меня прислал к вам граф Зедельницкий, а я не мог проникнуть сюда в другом костюме; иначе мог бы произойти дипломатический инцидент.

Канцлер улыбнулся.

— Граф мне пишет, — сказал он, — только то, что он имеет в своих руках все доказательства заговора, и что вы дадите мне необходимые разъяснения. А отчего же он сам не явился сюда?

— Его превосходительство отправился сам наблюдать за исполнением его распоряжений.

— Говорите, я слушаю.

— Княгиня Сариа, — начал Галлони, — наняла коляску с парой лошадей, но без кучера, говоря, что у нее есть свой, но это неправда, потому что все ее люди остались в Милане. Экипаж должен быть готовым сегодня ночью.

— У кого нанят?

— У подозрительного лица, венгерца Мано, в Лепольдштате.

— Это ничего не доказывает. Может быть, княгиня хочет посетить свои поместья, которые находятся именно в Венгрии.

Галлони ничего не ответил, а продолжал:

— Сегодня утром был у княгини в отеле “Лебедь” садовник Шенбрунского дворца. Он был у нее и вчера. Этот же садовник поднес вчера розы вашей светлости.

Меттерних задумался. Не был ли этот садовник заговорщиком, доставившим герцогу те необыкновенные сведения, знание которых он обнаружил в последние дни?

— Сходите в театр, — произнес канцлер, обращаясь к лакею, который почтительно стоял у двери, — и попросите сюда мою дочь. Скажите, что я получил важные известия, и должен тотчас вернуться с ней домой.

Когда слуга удалился, Меттерних произнес, обращаясь к Галлони:

— Что же вы и начальник полиции полагаете?

— Я осмеливаюсь предположить, что княгиня Сариа вместе с садовником подготовила бегство герцога Рейхштадтского. Она только что уехала отсюда, вероятно, на назначенное свидание. Еще можно туда поспеть, так как он еще здесь.

И сыщик указал на галерею, в которой виднелся черный фрак среди двух мундиров.

В эту минуту в комнату вбежала Гермина печальная, встревоженная.

Меттерних не заметил ее появления и продолжал говорить с незнакомым ей человеком.

— А где экипаж должен ждать путешественников?

— В Бельведере.

— Не теряйте из вида герцога Рейхштадтского... Возьмите с собой как можно меньше людей... Приготовьте карету... Смотрите, чтоб не было ни шума, ни скандала... Ждите меня... Оставьте в Бельведере человека, который мог бы указать мне дорогу.

Тут случайно канцлер обернулся и увидел свою дочь, которая, дрожа всем телом, слышала распоряжения отца и инстинктивно понимала, что герцогу грозила какая-то беда.

— Вы послали за мной, папа, — сказала она, стараясь сдержать свое волнение.

— Да, мы сейчас поедem, — отвечал он, — я завезу тебя по дороге домой, а сам отправлюсь далее по важному делу.

Потом он сказал еще что-то незнакомцу и проводил его до двери. Между тем из галереи направлялись в гостиную герцог Рейхштадтский, эрцгерцог Карл и капитан Моль.

VI

СОВЕТ МЕТТЕРНИХА

— Так ты уезжаешь? — сказал брат императора своим добродушным тоном.

— Да, дедушка, уже поздно. Не правда ли, капитан?

Моль согласился, что пора было ехать, и пошел распорядиться насчет экипажа.

— Ну, до свидания, Франц!

— Прощайте, дедушка.

Все, что делалось и говорилось вокруг нее, казалось Гермине каким-то чудовищным сном... Герцог сказал своему деду: "Прощайте!" Разве он думал о скорой смерти? Сердце молодой девушки разрывалось на части. Между тем юноша поклонился ей и пошел

к дверям. Еще минута, и он исчезнет. Она не могла более бороться с собой и, быстро подойдя к эрцгерцогу, сказала:

— Не позволяйте ему уезжать!

— Что такое? Что с вами, дитя мое?

— Я боюсь.

— Вы дрожите, пойдемте на воздух. Дайте мне вашу руку.

И он вывел ее на террасу, выходящую в сад.

— Ну, теперь успокойтесь на чистом воздухе и расскажите мне, чего вы боитесь.

Молодая девушка искренне рассказала фельдмаршалу все, что она чувствовала, все, что она знала.

Между тем Меттерних и герцог Рейхштадтский стояли друг против друга. Юноша хотел пройти мимо с безмолвным поклоном, но канцлер сказал:

— Ваше высочество, не уезжайте на маскарад.

Но герцог, гордо подняв голову, ответил:

— Значит, я больше не свободен?

— Нет, вы совершенно свободны, и с вами говорит не министр, не канцлер, которого в шутку называют вице-императором, но просто друг вашего деда. Я позволяю себе в этом качестве дать вам совет: не уезжайте на маскарад.

Хотя Меттерних говорил очень спокойным и даже мягким тоном, но юноша чувствовал, что между ними идет смертельная борьба.

— Я очень удивлен и тронут вашей добротой. Но неужели я недостаточно потерял времени на этом официальном празднике?

— Да, кстати, позвольте вам сказать, что вы явились сюда в костюме, не подходящем ни к вашему высокому положению, ни к вашему военному чину.

— Я полагаю, что сын Наполеона не может явиться иначе, как в трауре, к представителю английского короля, и меня удивляет, что князь Меттерних не разделяет моего мнения.

Канцлера очевидно поразило это смелое возражение, и он переменял тактику:

— Хорошо, я не буду с вами теперь об этом рассуждать, но повторяю, останьтесь здесь.

— Но вы, может быть, не знаете, князь, — прибавил юноша с иронической улыбкой, — что я еду не один на маскарад? Меня сопровождает капитан Моль, и вместе с ним, я, конечно, не могу заблудиться.

— А вы дадите мне честное слово, ваше высочество, что вы ни на минуту не расстанетесь с вашим адъютантом?

— Это уж слишком! — воскликнул герцог, выходя из себя. — Приказывайте, если хотите, и я буду вам повиноваться. Это будет не так оскорбительно. Я признаю, что все недавние распоряжения не имеют никакой силы; я откажусь от своего полка: распушу свою свиту и вернусь к прежней жизни узника, даже подвергну себя еще большим ограничениям, чем прежде. Но тогда, по крайней мере, мысли мои будут свободны... а если мне серьезно дозволено воспользоваться свободой, то нам нечего больше разговаривать с вами. Я еду на маскарад.

И он направился к двери. Меттерних загородил ему дорогу, но не насильственным жестом, а тоном мольбы.

— Так вы очень верите дружбе тех, которые вас там ждут? — спросил он.

— Что вы хотите сказать, князь: вы хотите мне запретить иметь друзей?

— Я хочу предохранить вас от неосторожности. Я хочу защитить вас от вас самих.

— Вы уже это делаете семнадцать лет.

— Действительно, семнадцать лет я исполняю свой долг. Я долго боролся с величайшим гением войны, и я восстановил против него все силы старого мира, чтобы освободиться от его ига. Нам удалось, и вот семнадцать лет вы наша жертва, потому что вы его сын. Но, если вы страдали, думая о том, кем могли бы быть при других обстоятельствах, то неужели вы думаете, что мы не понимали вашего горя? Нет, ваше высочество, я предвидел все, что вас терзало, и если не мог освободить вас от этих мучений, то лишь потому, что они предотвращали еще большие бедствия для вас и для нас. Если бы ваш славный отец слышал теперь, что я вам говорю, то сказал бы вам, что я только исполнил свое ремесло государственного человека.

— Мой отец сделал меня римским королем, — отвечал гордо герцог.

— Увы, ваше высочество, ваш дед таким же образом король иерусалимский и этот титул даже стоит в Готском альманахе.

— Я наследник могущественной империи.

— Этого наследия более не существует.

— А если мой народ требует меня?

— Уж не ждет ли он вас в Бельведере? Кто же говорил с вами именем Франции? Нет, ваше высочество, ваш народ более о вас не думает.

— Неужели вы полагаете, что вы ступевали мое имя и уничтожили мою кровь? А куда же вы дели тех верных и преданных лиц, которые ждут моего возвращения?

— Я с удовольствием показал бы вам список этих лиц, и вы покраснели бы от их малочисленности. Верьте мне, что для вас недостойно сделаться искателем приключений.

Видя, что герцог хочет протестовать, канцлер нанес ему последний удар.

— Не спорю, что в двадцать лет сладко слушать чарующий голос сирены, но когда этот голос увлекает в бездну неопытного юношу, то я прекращаю это пение.

— Что вы хотите сказать? — гордо спросил герцог.

— Бывают чувства, которые неожиданно возникают в сердцах двух созданий, рожденных друг для друга, и это чувство достойно всякого уважения. Но бывают другие чувства, основанные на расчете, на интриге, вот эти чувства подозрительны для всякого благоразумного человека.

— Какие же интриги позволительны и какие нет?

Говоря это, юноша смотрел так пристально, так решительно на канцлера, что последнему стало ясным все. Очевидно, герцогу открыла глаза княгиня Сариа, или он сам догадался о всех злобных ковах канцлера против него. Какими ненавистными показались ему теперь этот юноша и эта женщина! Во всяком случае всякое дальнейшее рассуждение было излишне.

— Я больше не скажу ни слова, — произнес он, — Если я хотел вас предупредить, то сделал это лишь по чувству своего долга. Если вы меня послушаетесь, то я обязуюсь в 24 часа доказать вам, что я прав, и тогда, может быть, вы поблагодарите меня за то, что я вовремя удержал вас от заблуждения и ошибки. Но ваше высочество, вы вольны делать, что угодно. Поезжайте на маскарад, если желаете.

— И поеду, — отвечал герцог Рейхштадтский, гордо выходя в дверь.

— Он уезжает. Боже милостивый!

Эти слова вырвались из наболевшего сердца Гермину Меттерних, которая возвращалась в гостиную из сада вместе с эрцгерцогом в ту самую минуту, как герцог Рейхштадтский исчез за дверью. Она задрожала всем телом и упала в обморок. Эрцгерцог едва успел ее поддержать.

— Что с тобой, Гермина? — воскликнул отец, подбегая к ней.

Гермина лежала неподвижно на диване, на который положил ее эрцгерцог. Глаза ее были закрыты, и смертельная бледность покрывала ее лицо.

— Молодая княжна, выходя с концерта, почувствовала себя дурно, и я посоветовал ей подышать свежим воздухом. Она как будто оправилась, но, входя в эту комнату...

В эту минуту молодая девушка открыла глаза, и слезы потекли по ее щекам.

— Вы не сделаете ему ничего дурного, милый папа. Обещайте мне, что он не подвергнется никакой опасности. Незнакомец, который говорил с вами, очень злой. Да и вы, такой добрый всегда, сегодня сердитый.

— Что это значит? — воскликнул Меттерних. — Можете вы мне это объяснить, ваше высочество?

— Послушайте, князь, — отвечал добрый старик, — воображение молодой девушки иногда воспаляется такую мечтою, о которой не имеет понятия никто из окружающих ее. Самые великие умы не в состоянии понять того, что делается в сердце ребенка. Пожалейте, князь, это прямое, чистое создание.

Меттерних все понял. Он вспомнил наивное сочувствие, высказанное молодой девушкой относительно герцога Рейхштадтского, печальное выражение ее лица, когда он говорил недавно о заложниках, и ее волнение во время его разговора с сыщиком. Не могло быть сомнения, что дочь Меттерниха любила сына Наполеона. Его дорогое детище перешло на сторону его врага.

В сущности, Меттерних был отец в полном смысле этого слова и нежно любил дочь, потому первая мысль его была о том, что молодые люди могли составить

прекрасную парочку. Но это было невозможно, и, устремив на плачущую молодую девушку печальный взгляд, он решил, что надо положить конец ее безумной мечте.

— Увезите ее поскорее, князь, — сказал эрцгерцог, — а то я боюсь, что в эту гостиную придет кто-нибудь и увидит ее слезы.

— Благодарю вас, ваше высочество, благодарю вас, — отвечал Меттерних. — Мой долг тяжелее, чем я думал, но все-таки я исполню свой долг. Пойдем, мое бедное дитя.

Они молча вышли в парадные сени, и после отъезда канцлера с дочерью эрцгерцог остановился в раздумье на лестнице.

Он вспомнил все, что ему говорили Гермина и юный герцог, припомнил его взволнованное лицо и печальное прощание с ним, сообразил все это и решил, что дело неладно.

“Во всяком случае я не думаю, чтобы он решился на бегство, — произнес мысленно добрый старик, — да и в этом случае полиции не пришлось бы далеко его искать. Он поехал в Бельведер. Отправлюсь и я туда. А ось, мне удастся спасти бедного мальчугана”.

Эрцгерцог Карл вышел на улицу в одном мундире, хотя слуги посольства подали ему шинель и предложили крикнуть его экипаж.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ПРОЩАЙТЕ, МЕЧТЫ

I

ПО ДОРОГЕ

Возвращаясь домой с отцом, Гермина молча плакала. Она так привыкла уважать отца и восхищаться всеми его действиями, что не могла обвинять его в жестокости, а, напротив, она удивлялась, как у нее хватило смелости полюбить и сознаться в этом постороннему человеку, именно эрцгерцогу. Лицо ее было покрыто румянцем стыда.

— Ты плачешь, дитя мое? — сказал, наконец Меттерних, надеясь, что, может быть, молодая девушка поддалась минутному увлечению. — Зачем ты так отчаиваешься? Что произошло? Отчего ты забыла своего отца, для которого, ты знаешь, нет другого утешения, кроме его ребенка? Разве я дурной отец? Разве я не исполняю всех твоих желаний, злая девочка? Скажи мне все, что у тебя на сердце. Не скрывай от меня ничего. Ты молчишь? Ты не хочешь мне отвечать? Это нехорошо, Гермина. Я не заслужил такого недоверия с твоей стороны.

— Простите меня, папа, — наконец, промолвила молодая девушка, сдерживая свои рыдания, — но это выше моих сил. Мое сердце замерло, когда я увидела, что вы его ненавидите. А когда я услышала, что вы даете приказание о принятии мер против него, то в глазах у меня почернело. Я уверена, что смерть не причиняет таких страданий.

— Милое дитя мое, — произнес Меттерних, нежно взяв за руку дочь, — неужели ты позволила себе привязаться к этому человеку без...

— Не знаю.

— Он говорил когда-нибудь с тобой наедине?

— Никогда.

— Где ты его видела?

— У вас один раз... в Шенбруне... и сегодня.

И снова слезы стали душить ее.

— Не плачь. Мы сейчас будем дома, и не надо, чтобы слуги видели тебя в слезах.

Гермина послушно отерла глаза и спросила:

— А вы не останетесь дома?

— Нет. Я тебе сказал, что только завезу тебя, а сам поеду далее.

— Вы увидите человека, с которым вы только что говорили?

— Может быть. Но не думай об этом. Подобные дела не касаются молодых девушек.

И он улыбнулся.

— Не смейтесь, папа, — я так боюсь, чтобы вы...

— Ты снова за старое... Ты не должна более никогда говорить со мной об этом. Слышишь? Никогда!

— Хорошо, папа, я не буду более говорить, но я не могу помешать себе думать.

— Нет, ты не должна и думать. Я не хочу, чтобы ты об этом думала.

Она подняла глаза к небу, тяжело вздохнула и ничего не отвечала.

II

В БЕЛЬВЕДЕРЕ

Бельведерский парк, расположенный у ворот Вены, уже давно не представлял императорской резиденции, и два его дворца, построенные в стиле XVIII столетия после того времени, как в них обитал Евгений Савойский, служили только музеями исторических и художественных предметов. Но зато вокруг этого тенистого парка возвышались роскошные дома австрийской знати, и в тот вечер, когда лорд Каули давал бал, графиня устроила маскарад, на котором собрались сливки Вены.

Все окрестности улицы были запружены экипажами, а кучера и лакеи в ожидании выхода господ болтали и сплетничали между собой.

Неожиданно несколько прохожих, имевших вид переодетых полицейских, окружили коляску, стоящую отдельно у решетки парка; пустая, она уже давно интересовала кучеров и лакеев потому, что в ней никто не приехал на маскарад, а возница, сидевший

на козлах, не отвечал ни словом на все их вопросы. При появлении подозрительных личностей все разговоры умолкли, и все глаза устремились на таинственный экипаж, вокруг которого, по-видимому, должна была разыгаться какая-то скандальная сцена.

Действительно, спустя несколько минут два человека вскочили на козлы коляски и хотели стащить кучера, но тот так энергично развел руками, что они оба упали на мостовую.

— Ловко, молодец! — произнесло несколько голосов.

Но на кучера набросилось четыре новых противника: его стащили с козел, связали и быстро унесли, а на его место посадили другого возницу, на которого надели одежду и шляпу прежнего. Когда же зеваки стали спрашивать объяснения такой странной сцены, то державший лошадей за уздцы человек, сказал авторитетным тоном:

— Это ничего. Захватили преступника, переодешегося кучером.

Коляска отъехала на несколько шагов и стала по-прежнему кого-то ждать, а подозрительные личности исчезли.

Во время разгара маскарада из освещенного подъезда вышел молодой человек в черном домино и маске. Он быстро перешел через шоссе и сел в коляску, сказав что-то кучеру, который погнал лошадей по дороге в Гитцинг.

III

ТРОЕ ИЛИ ДВОЕ

В своем скромном жилище, при входе в маленькое селение Гитцинг, близ Шенбруна, Франц Шулер ждал около полуночи княгиню Сариа. Он был в очень веселом настроении, хотя несколько часов перед тем расстался со своей племянницей Маргаритой, которую белошвейки увезли в Милан, чтобы совершенно развязать руки старому служаке. Сердце его радостно билось при мысли, что он, простой солдат, повезет во Францию сына Наполеона. Что будет дальше с ними, он ничего не знал, но надеялся, что французы не забудут своей славы, и что их сердца откликнутся на призыв сына императора.

Впрочем, Франц был слишком практичный человек, чтобы в подобную критическую минуту мечтать, потому он старательно собрал багаж, который состоял из двух котомок. В одной были уложены все необходимые вещи для молодого герцога, а именно — дорожный костюм, туалетные принадлежности и два пистолета. Конечно, обо всем этом подумала Полина, и Франц, пересмотрев все эти вещи, одобрил ее выбор и только положил в карман два маленьких пистолета.

— Она поступает как женщина, — промолвил он громко. Зачем прятать пистолеты? Они должны быть всегда под рукой. — Другая котомка гораздо меньшего размера заключала в себе его немногочисленное имущество. Что же касается денег и бумаг, то, спрятанные в портфеле, они безопасно помещались на его груди.

В назначенный срок явилась княгиня и объявила, что за ней кто-то гнался всю дорогу, но при последнем повороте отстал. Франц немедленно выбежал на улицу и сказал дожидавшемуся кучеру, которого прислал с экипажем Грепи, чтобы он окольными путями возвращался в Вену.

Потом Франц поспешил к испуганной Полине и, погасив свечку, стал смотреть в окно. Прежде всего пронесся мимо карьером экипаж княгини, а за ним вскоре проскакал простой кабриолет, на козлах которого сидел около кучера какой-то незнакомец, вероятно, переодетый полицейский агент. Когда шум колес обоих экипажей замер вдали, Франц снова зажег свечку и сказал:

— Не тревожьтесь. Дурак, преследующий вас, нескоро догонит ваш экипаж и убедится, что вас там нет. Во всяком случае хорошо, что мы не отложили нашего бегства, а то, пожалуй, план открылся бы. Уж очень зорко следят за вами.

— Но, может быть, устроят погоню за герцогом?

— Может быть. Но вряд ли его догонят. Лошади у Мано прекрасные. Во всяком случае нам не надо терять ни минуты, и как только он приедет, то нам надо отправляться в путь.

Княгиня не возвращалась домой с бала, и Шарлотта привезла заранее к Францу дорожный костюм, небольшой чемодан с вещами и шкатулку с драгоценностями.

— Прежде чем я переоденусь, Франц, я хочу спросить у вас совета, — сказала княгиня.

— У меня?

— Да.

— Вы человек прямой и благородный, а моя совесть что-то не спокойна. Дайте мне совет, как поступить. Только что на балу герцог спросил у меня, едем ли втроем. Я отвечала, что да, и признаюсь, ничто не могло быть большим для меня счастьем. Но с тех пор я все думала, и меня тревожит мысль, что с одной стороны мое присутствие может только усложнить бегство герцога, а с другой придать ему характер дамского похищения.

Франц был очень смущен. Он вполне соглашался с княгиней, но не знал, как ей высказать свое мнение.

— Вы его любите, — сказал он наконец, — и значит ваше сердце подскажет, как надо поступить.

— А вы, Франц, не хотите мне сказать, считаете ли вы приличным, чтобы я сопровождала герцога Рейхштадтского во Францию?

— Ну, это нет, — произнес решительным тоном служака.

— Вот видите.

— Простите меня, — продолжал Франц, — но я не могу не высказать вам, что вы молодчина. Я знаю, что без вас он никогда не решился бы на это дело. Вы сразу заставили его понять то, о чем я напрасно говорил ему все это время. Вы организовали наше бегство так, как не удалось бы сделать самому ловкому полицейскому. Но вы все-таки женщина, и я не могу допустить мысли, чтобы сын Наполеона вернулся...

— И однако вы понимаете, что я не буду вам мешать, — воскликнула Полина, сама испугавшись того, что он соглашался с ней. — Я сумела бы стусеваться при необходимости и увидеть снова принца только тогда, когда он, возвратив свои права и титул, мог потребовать меня, не компрометируя себя.

— Но он никогда не согласится с вами расстаться, если вы с нами поедете, — отвечал Франц. — Мы должны все решить без него, и уверяю вас, что возвращать себе престол, имея под рукой женщину, как-то неловко.

— Вы совершенно правы, — произнесла Полина, —

вы меня убиваете, но я вижу, что вы истинно благородный человек. Благодарю вас за совет, я не поеду.

— Простите меня, княгиня! — воскликнул Франц в большом смущении. — Я знаю, что причину вам большое горе, но я в том не виноват. К тому же, поверьте, с одной стороны я был бы очень рад, если бы вы поехали с нами. Я не сумею один устроить все, как следует. Уж я не говорю о том, как огорчит его разлука с вами.

Полина знаком просила его замолчать и стала прислушиваться. Действительно, вдали слышался стук колес.

— Это, вероятно, он, — сказала княгиня, — я пойду в соседнюю комнату, а вы скажите в двух словах о том, что мы решили. Не волнуйтесь, я сейчас приду, мне надо успокоиться. Потом вы снесете в экипаж вещи, а я прощусь с ним. После вашего отъезда я останусь здесь до утра.

И она вышла за дверь в ту минуту, как входил в комнату герцог Рейхштадтский.

IV

РАССТАВАНИЕ

— Ты один? — спросил юноша.

— Нет, княгиня здесь, — отвечал Франц, очень смущенный тем поручением, которое он должен был исполнить.

— Она в соседней комнате. Сейчас придет.

Однако так или иначе надо было высказать герцогу, что Полина не едет с ними, и Франц стал объяснять окольными путями, что лучше было бы им оставить в Вене княгиню, так как их, может быть, ожидали в пути большие опасности. Когда же все окончится благополучно, то ее можно будет выписать во Францию.

Юноша слушал его с удивлением. Он, конечно, понимал, что Франц не стал бы ему говорить что-либо подобное по своей инициативе. Значит, сама Полина не хотела ехать. Конечно, ею не мог овладеть страх, в этом он не мог и сомневаться. Следовательно, она считала более благоразумным, чтобы он ехал один, но мысль разлучиться с ней душила его, и он не мог

согласиться на подобное самопожертвование. Он хотел громко протестовать, но неожиданно в голове его блеснула мысль: отправляясь с ним, Полина губила себя. Он понял, что любовь к ней должна была побудить его к этой жертве.

— А княгиня разделяет твое мнение? — спросил он.

— Да, совершенно, — произнесла твердым голосом Полина, появляясь в дверях.

Она была в бальном платье, и этого одного было достаточно, чтобы убедить юношу в ее решимости не сопровождать его. Франц поспешил выйти из комнаты с вещами, а Полина продолжала, но уже голос ее заметно дрожал.

— Я не хочу, чтобы ваши враги могли упрекнуть вас в чем-нибудь. Франц вполне согласен со мной.

— Я вас так люблю, Полина, — мог только промолвить юноша со слезами на глазах.

— А я, — воскликнула княгиня, — разве сердце мое не раздирается от одной мысли, что я не буду разделять с вами всех опасностей? Какое счастье было бы ехать с вами! И не думайте, что я боюсь сплетен, нисколько. Но на вас не должно упасть ни малейшее пятно. Поезжайте одни, — продолжала она, схватив его за обе руки, — поезжайте одни и скорее, моя любовь, мой повелитель! Ваша Полина никогда не покинет вас и мысленно всегда будет с вами. Завтра же я отправляюсь в дорогу окольными путями и при первой возможности присоединюсь к вам. Клянусь, что я всегда буду любить вас. Я хочу, чтобы вы сохранили обо мне память, как о женщине, которая пожертвовала вам своим счастьем и своей жизнью.

— Все готово, — произнес Франц, отворяя дверь. — По несчастью, Грепи не может ехать с нами, а при- слал своего соотечественника.

Герцог не обратил внимания на его слова, а молча бросился в объятия Полины. Что они говорили друг другу, как они целовались, осталось тайной влюбленных. В подобные минуты поцелуи красноречивей слов, а слова нежнее поцелуев.

— Поезжайте, поезжайте, — промолвила наконец Полина.

В эту минуту Франц вторично показался в дверях, и она протянула ему руку, которую он почтительно приложил ко лбу, преклонив колено.

Еще минута, и она осталась одна в комнате. Вдали послышался топот быстро несущихся лошадей.

— Наконец-то! Уже!

Только эти слова торжества и горя дрожали на ее устах.

Она тихо опустилась на стул и горько зарыдала.

— Однако, зачем мне плакать? — промолвила она наконец. — Он свободен, а обо мне нечего думать.

Но что это? За дверью послышались чьи-то шаги.

V

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Полина вспомнила, что наружная дверь осталась незакрытой, и хотела запереть ее, но в эту минуту дверь отворилась, и она поспешно спряталась в комнату Маргариты.

На пороге показался Меттерних. Сердце бедной женщины дрогнуло. Князь одним быстрым взглядом осмотрел комнату, сел на стул подле стола, на котором стояла зажженная свеча и, обращаясь к людям, стоявшим, очевидно, за дверью, сказал:

— Предупредите меня, когда явятся наши.

Полина не знала, что делать. Очевидно, Меттерних знал о бегстве герцога, но успел он помешать ему или нет? Этот вопрос так терзал ее сердце, что она не выдержала и вышла из своей засады.

— Вы здесь, княгиня? — сказал с удивлением Меттерних. — Вы разве уже кончили вашу прогулку вокруг Шенбрунского парка?

Ясно было, что стратагема Франца удалась, и полицейские агенты думали, что она уехала из Гитцинга. Но что стало с герцогом? И напали ли на его след? Это необходимо было выяснить.

— Как видите, князь, — отвечала она и остановилась в дверях соседней комнаты, как бы желая возбранить туда вход.

— Вы напрасно хотите меня уверить, что в соседней комнате кто-то спрятан, — спокойно произнес Меттерних. — Я знаю, что там нет никого. Я только что встретил того, кто был здесь с вами. Моя ошибка заключается лишь в том, что по моему предположению вы уехали вперед.

— Вы ошибаетесь в том, что видели кого-то, выходящего из этого дома.

— Так это не герцог Рейхштадтский сел с другим человеком в коляску, нанятую в Леопольдштадте?

— Вы смеетесь надо мной! Если бы это был герцог, то вы не допустили бы его бегства.

— Кто говорит о бегстве? Я надеюсь, что этот молодой человек после всех треволнений сегодняшнего вечера преспокойно вернулся в Шенбрун.

— Конечно, он должен был вернуться во дворец, если вы его видели.

— Видел, как вижу теперь вас. Я даже готов упрекнуть вас за то, что вы нашли нужным нанять почтовых лошадей для возвращения с бала. Это для венцев чрезвычайный расход. Впрочем, — прибавил он, вдруг изменив свой любезный, учтивый тон и придавая ему резкий, даже грубый оттенок, — быть может, вы приказали кучеру приехать за вами, чтобы отвезти вас в Италию или куда-нибудь подальше?

— Хорошо, я понимаю, — отвечала Полина, догадавшись, что все погибло, — я проиграла, но, прошу вас, не издевайтесь надо мной, а скажите просто, где герцог, и что вы хотите сделать со мной.

— Вот так-то лучше. Поговорим прямо. Герцог теперь, должно быть, находится в Шенбруне, куда его отвез мой кучер, заменивший вашего. Этот последний, по имени Грепи, неумелый возница, и я не мог поручить ему править экипажем, в котором находился герцог. Я также приказал вернуть сюда и двух ваших знакомых дам, отправившихся в Милан. Граф Зедельницкий их нагнал в нескольких милях от Вены, так как в их экипаже сломалось колесо. Вы видите, что Провидение стоит за меня.

— И даже помогает вам нарушить свое слово, — ответила гневно Полина, — так как вы обещали мне помилование Фабио.

— Оскорбляйте меня, сколько хотите, я не обижусь. Все ваши планы уничтожены, и вы даже не понимаете, насколько вы пойманы. Впрочем, нам нечего с вами говорить. Вы меня давно знаете, а я вас вполне узнал только сегодня.

— В таком случае, князь, будьте добры сказать мне, что вы намерены со мной делать.

— Подождите, пока вернется ваша коляска с садовником, который является сообщником княгини Са-

риа в государственном заговоре. Все заговорщики, как миланские, так и венские, как крупные, так и мелкие, должны быть уличены и подвергнуты строгой каре. У вашего Франца Шулера находятся в кармане остальные бумаги из того пакета, который вы похитили, и благодаря им, я узнаю имена всех ваших сообщников.

Этот удар окончательно сразил Полину. Она не только погубила себя, но и выдала всех лиц, упомянутых в бумагах, уже не говоря о Франце, Гречи и белошвейках. Мрачное отчаяние выразилось у нее на лице.

— А, княгиня, — произнес Меттерних, торжествуя свою победу, — вы вздумали разыграть большую роль и уничтожить возведенное мной здание. Напрасно вы хлопотали, оно слишком крепко воздвигнуто, хотя, признаюсь, вы действовали так ловко и энергично, что едва не достигли своей цели. Как бы то ни было, я не хочу, чтобы повторялись подобные попытки, и приму меры, чтобы пресечь зло в корне.

— Все зло произошло от вашей жестокости, князь, — отвечала гордо Полина, — откажитесь от нее. Нет другого выхода.

— Увольте меня от ваших советов, я больше их не спрашиваю.

Хотя Полина вполне сознавала свое поражение, однако она старалась хотя бы на словах не поддаваться Меттерниху, и, вспомнив о розе, брошенной его дочерью на книгу герцога Рейхштадтского в Шенбрунском парке, она смело произнесла:

— Я не хотела вам повиноваться и исполнить ту позорную роль, которую вы мне предназначали. Вы победили и можете меня оскорблять, можете даже погубить. Но моя слава заключается в том, что я люблю и меня любят, а ваша слава основана на несчастье бедного юноши. Но, берегитесь, вы отец, и Провидение вас накажет в вашей родительской любви.

На этот раз пришлось Меттерниху побледнеть, и он никак не мог понять, каким образом она узнала о его семейной тайне.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — произнес он голосом, которому тщетно старался придать твердость, — ни я, ни моя семья не боимся ваших угроз.

— Кто знает, — промолвила Полина, — за слезы платят слезами, за смерть — смертью. Вы заставляете других страдать и сами будете страдать. Да что тут говорить! Вы уже и теперь страдаете.

Меттерних совершенно смутился, но к его счастью раздался шум колес.

— Наконец-то, — произнес он, — теперь мы сведем счеты.

Подойдя к двери, он широко ее открыл и громко крикнул:

— Входите.

VI

ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ ИУДЫ

Посадив герцога в коляску, Франц вскочил на козлы, что, по-видимому, не понравилось кучеру.

— Ничего, молодец, — сказал он, — нам найдется место обоим. Я хочу покурить и здесь свободнее. Ну, валяй вовсю. Дорога теперь пойдет в гору до Гоблица, где приготовлена первая подстава.

— Да, дорога гористая.

— Не жалея лошадей! Господин мой торопится.

Кучер повиновался, но спустя несколько минут Франц заметил, что он повернул на мост, вместо того, чтобы ехать по берегу реки.

— Куда ты берешь? — воскликнул старый служака.

— На том берегу лучше дорога.

— Хорошо.

Пока экипаж катился, и Франц спокойно курил свою трубку, герцог Рейхштадтский был погружен в отчаяние. Он не думал о цели своего бегства, а только сожалел о том, что находился один, и что оставил Полину беспомощной перед гневом канцлера. Мысль об опасности, которой она могла подвергнуться, наконец, взяла верх над всем, и он хотел уже вернуться в Гитцинг, чтобы насильно увезти княгиню, как услышал перебранку между Францем и кучером.

— Налево, налево, черт возьми! — кричал старый служака. Разве ты не видишь, что перед нами дворец?

— Не мешайте, я знаю, куда еду.

— Так вот ты какой. Стой, слезай, мне тебя не надо.

Франц схватил за горло кучера и толкнул его с козел, но Галлони, ибо это был он, быстро вскочил весь в крови и стал громко звать на помощь. Франц подбежал к нему и, выхватив из кармана пистолет, убил бы его, как собаку, если б герцог Рейхштадтский, выскочивший из коляски, не схватил его за руку.

— Не надо крови, Франц, я этого не хочу. К тому же мы погибли. Всякое сопротивление тщетно: посмотри.

Действительно, к экипажу подходила целая группа людей.

— Отпустить его! — продолжал герцог. — Я его милую. Не даром я хоть несколько минут был мысленно императором. Возьми, Иуда Искариотский, и прочь с моих глаз.

С такими словами он бросил к ногам сыщика кошелек с деньгами.

В эту минуту к нему подошел граф Дитрихштейн, за которым на почтительном расстоянии следовали несколько слуг.

— Ваше высочество, — произнес он печально, — не угодно ли вам вернуться во дворец пешком?

— С удовольствием, но безо всякого эскорта, — отвечал гордо герцог.

Но прежде чем пойти рядом с графом Дитрихштейном, который приказал слуге идти другим путем, юноша обернулся, чтобы проститься с Францем. Но его глазам представилось отвратительное зрелище. Старого солдата повалили, связали и положили, как бревно, в коляску.

— Этот человек только исполнял мои приказания, — произнес он вне себя от гнева, — и скажите Меттерниху, что если с его головы упадет хоть один волос, то спустя час меня найдут мертвым, и вся Европа узнает, зачем я наложил на себя руки.

— Ваше желание будет исполнено, и я сам скажу об этом канцлеру, — воскликнул граф Дитрихштейн, — но, умоляю вас, пойдите со мной. Вам пора успокоиться, мое бедное дитя, — прибавил он дрожащим от волнения голосом.

Спустя несколько минут тяжелые ворота парка затворились за узником Меттерниха.

ИСПОВЕДЬ СТАРОГО СЛУЖАКИ

Несколько полицейских агентов ввели Франца в его скромное жилище, и он не мог не улыбнуться, увидев там столь избранное общество, как князь Меттерних, граф Зедельницкий и т.д. Однако он только почтительно поклонился княгине Сариа и, гордо подняв голову, посмотрел прямо в глаза могущественному канцлеру, который спросил его:

- Вы не немец?
- Вы сами это видите.
- Без фанфаронства. Кто вы?
- Француз Шулер из Соверна.

Князь не мог удержаться от невольного движения.

— Не трудитесь припоминать, — заметил старый служака, — Соверн не в Германии, а в Эльзасе. Если это вас интересует, то я прибавлю, что я был сержантом в третьем батальоне гвардейских егерей, и что у меня в котомке, оставшейся в коляске, спрятан орден Почетного Легиона, который я получил под Аустерлицем. Хотите покажу.

— Нахал, — промолвил канцлер.

— Молодец, — промолвил кто-то за группой полицейских, стоявших у дверей.

— В Шенбрун я попал очень просто, — продолжал Франц, — муж моей сестры был садовником в Шенбрунском дворце, и я наследовал его дочь и место. Вот как я стал заниматься прививкой цветов в том самом парке, где я когда-то стоял на часах во времена теперешнего шенбрунского узника.

— И вы заплатили за это гостеприимство предательством, — заметил Меттерних.

— Это зависит от взгляда, господин канцлер: я полагаю что, когда рискуешь жизнью за идею, то это самопожертвование, а не предательство. Но вы учнее меня, и я не стану спорить с вами. Я одно только знаю, что очень люблю молодого принца, которого вы почему-то называете герцогом Рейхштадтским, когда он Наполеон. И неудивительно, что я его люблю: семнадцать лет тому назад я стоял часовым в Тюльери, когда он ходил еще в коротеньком платьице. Впрочем, я стоял на часах там тогда, когда вы, князь Меттерних, привезли к нам его мать, помните?

Канцлер презрительно пожал плечами.

— Вот вся моя история. Что же касается бегства принца, то я устроил его, и оно удалось с помощью...

— Не стесняйтесь, Франц, говорите все! — воскликнула княгиня Сариа, — я горжусь, что я ваша сообщница.

— Ну да, наш план удался бы с помощью этой благородной, мужественной дамы, которую я глубоко уважаю. Если б принц не помешал мне, то я убил бы предателя, которого вы посадили на козлы коляски. Его высочество слишком молод и добр, чтоб ни в грош не ставить человеческую кровь. Вот он, мерзавец, — прибавил Франц, указывая связанными руками на Галлони, — когда вы будете платить ему за предательство, то не забудьте, что он получил задаток: принц подарил ему не только жизнь, но свой кошелек. Я все сказал, ах, нет, мне надо прибавить еще два слова. Нет ли тут кого-нибудь, кто взялся бы доставить моей племяннице Маргарите деньги, находящиеся у меня в портфеле и нажитые честным трудом, а не полученные за содействие бегству принца? Можно быть врагами, но это еще не причина ограбить бедную девушку и лишить ее законного наследства.

— Скажи мне, где твои деньги, и я передам их по назначению, — произнес тот же голос, который уже назвал Франца молодцом.

Это был эрцгерцог Карл.

VIII

ЭРЦГЕРЦОГ И КАНЦЛЕР

Выйдя из дома английского посольства и пройдя несколько шагов по улице, эрцгерцог решил, что он не успеет в Бельведер, чтоб застать там герцога Рейхштадтского. К тому же вряд ли Меттерних решится на открытый скандал среди города, а поэтому эрцгерцог решил, что ему лучше отправиться прямо в Шенбрун, где по всей вероятности, должна была разыгаться подготовлявшаяся драма. Он крикнул экипаж и поскакал в Шенбрун. Там он узнал от графа Дитрихштейна, ожидавшего появления герцога, что Меттерних находится в одном доме в Гитцинге, и поспешил туда. Приближаясь к этому дому, он увидел,

что к нему подъехала коляска, и из нее вывели какого-то человека со связанными руками. Сердце у него дрогнуло при мысли, что это был его внук, и он, замешавшись в группу полицейских у дверей, был свидетелем всего происшедшего. А когда после своей откровенной исповеди Франц заявил просьбу о том, чтоб преследователи сжалились над его племянницей, то эрцгерцог вызвался исполнить его поручение, так растроган был старый воин мужеством и смелостью своего сотоварища по оружию, хотя и враждебной национальности.

— Вы, ваше высочество? — произнес с удивлением Меттерних.

— Простите меня, маршал, я не могу отдать вам честь, меня связали! — воскликнул Франц.

— Развязать этого солдата! — скомандовал повелительным тоном эрцгерцог. — Вы разрешаете, князь? — прибавил он, обращаясь к канцлеру, — право, нет опасности, что он скроется.

Меттерних, хотя и неохотно, но согласился.

Полицейские агенты разрезали веревки, которыми был связан Франц, и, очутившись на свободе, он легко вздохнул, а затем, приложив левую руку к ноге, правой отдал честь его высочеству.

— Вам, маршал, — сказал он, — я с удовольствием отдам все, что у меня в карманах. Вот два пистолета, а вот бумажник, с моими деньгами и бумагами.

Эти слова произвели потрясающее впечатление. Полина подумала: “Увы, наши друзья погибли”. Галлони и граф Зедельницкий мысленно промолвили: “Наконец-то давно отыскиваемые бумаги в наших руках”; а Меттерних едва не произнес громко: “Арест этого человека обнаружит нам список всех заговорщиков”.

Подойдя к эрцгерцогу, который держал в руке портфель Франца, канцлер сказал:

— Так как вашему высочеству благоугодно оказать содействие к уличению этих интриг, то я докажу бумагами, заключающимися в портфеле, какой мы открыли заговор.

— О каких бумагах вы говорите? — спросил эрцгерцог, показывая, что при портфеле не было никаких бумаг.

— По сознанию этого человека, в портфеле нахо-

дится список заговорщиков и план бегства, — произнес Меттерних.

— Это правда, — подтвердил Франц.

— Я очень сожалею, князь, — отвечал эрцгерцог, — но если эти бумаги в моих руках, то это все равно, как будто они и не существовали. Как патеры разрешают грехи, так и я разрешаю все, до чего прикасаюсь. Это единственная привилегия моего сана, и, быть может, потому я им дорожу. Ну, скажите по правде, князь, как могу я отдать вам эти бумаги, когда от них зависит свобода стольких людей? Это было бы подлостью с моей стороны, и вы сами покраснели бы, если я б унизился до этого.

— Но, ваше величество, дело идет о государственной безопасности, — заметил Меттерних, видимо недовольный, но не решавшийся резко говорить с братом императора.

Эрцгерцог спрятал портфель в карман и продолжал, понижая голос, так что его не слышали окружающие.

— Послушайте, князь, я не менее вашего забочусь о безопасности государства и об интересах императора. Скажу более, даже ваша слава мне дорога, так как она касается чести родины, которую мы оба защищали. Верьте мне, не раздувайте этого скандала, он и так возбудил слишком много горя и имеет слишком много свидетелей. Вы можете быть спокойны, что никто не воспользуется теми бумагами, которые находятся в моем кармане. Мой внук уже водворен в Шенбрун, чего же вам более? Вы хотите обличить и покарать каких-то несчастных, помогавших бегству юноши? Но ведь вы этим придадите детской выходке характер серьезного заговора. Нет, лучше оставьте в покое тех, которые теперь по вашей милости не могут причинить никакого вреда. Конечно, подобный поступок вам будет дорого стоить, но он достоин великого Меттерниха. Не забывайте, — и он еще более понизил свой голос, — что зрелище ничем незаслуженного несчастья может возбудить сочувствие самого невинного, самого чистого сердца. Наконец скажите себе, что необходимо выказать милость к другим, когда думаешь о том, чтобы осушить слезы бедной дочери.

Жестокая борьба происходила в сердце Меттерниха. С одной стороны он хорошо помнил, как эрцгерцог только что был добр к его ребенку и ни в чем не

мог ему отказать, а с другой — он не мог решиться простить лицам, которые его обошли, в особенности Францу и Полине.

— Хорошо, ваше высочество, — произнес он наконец, — если вы этого требуете...

— Я не требую, а прошу.

— Если вы желаете, я согласен пренебречь лицами, которые обещали свое содействие главным заговорщикам. Я даже прикажу освободить миланских женщин.

— А разве в деле были замешаны и миланки?

— Да. Но этот солдат и княгиня Сариа вели все дело и скромпрометировали внука императора, который по их милости мог сыграть жалкую роль в каком-то нелепом политическом заговоре, соединенном с глупой романтической историей. Вот этого простить нельзя.

— Полноте, для подобной вины нет хуже кары, как неудача. Во всяком случае, князь, я очень интересуюсь этим старым служакой, который все еще живет в эпоху славной легенды своей родины, забывая, что прошло с тех пор двадцать лет. Отдайте мне его. Клянусь, что вы никогда более не услышите о нем.

— Преклоняюсь перед волей вашего высочества, — отвечал Меттерних с горечью.

— О, благодарю вас. Что же касается княгини Сариа, то я ее мало знаю, и мне кажется, что я не оскорблю ее, приняв роль защитника без ее согласия. Позвольте мне сказать ей два слова.

— Вы здесь повелеваете, ваше высочество.

Полина не слышала всего этого разговора и только понимала, что эрцгерцог старается убедить канцлера быть милостивей к бедным участникам заговора, и она ждала с лихорадочным волнением результата его благородного ходатайства.

— Княгиня, — сказал эрцгерцог, подходя к ней и почтительно кланяясь, — я не знаю и не хочу знать, насколько вы ответственны в этом деле, по счастью, обстоятельства так слагаются, что ваша тайна будет сохранена, и все окружающие лица будут помилованы, если вы возьмете на себя всю вину и покинете Австрию. Кроме того, вы дадите мне честное слово, что никогда не предпримите ничего против его величества императора. Мне не-

обходимо это обязательство, без которого я не могу вмешаться в дело.

— И Франца выпустят на свободу? — спросила Полина с таким сияющим лицом, что эрцгерцог не мог не бросить на нее глубоко сочувственного взгляда.

— И он и все, кто бы они ни были, будут прощены. Я даю вам в этом честное слово солдата и эрцгерцога.

— Благодарю вас, ваше высочество, — воскликнула Полина. — Вы даровали мне единственное счастье, которое я могла еще иметь в жизни. Вы возвратили мне самоуважение, и я теперь снова могу смотреть гордо на свет. Благодарю вас. Что же касается того обязательства, которое вы от меня требуете, то я дам его громко при всех.

Сделав два шага к столу, за которым сидел канцлер, она остановилась и бледная, но спокойная произнесла:

— Я достойна кар, потому что обманула князя Меттерниха. Я недостойна более видеть герцога Рейхштадтского, так как не сумела его освободить. Ваше высочество знаете, что его можно любить, и, быть может, когда-нибудь передадите, как я пламенно ему предана. Я более никогда ничего не предприму в его пользу. Я исчезну, и если когда-нибудь ему суждено освободиться и достигнуть славы, то я в этом не приму участия.

Голов ее оборвался и силы как-будто покинули ее. Но через минуту она поборолась и продолжала:

— Прощайте, Франц Шулер, прощайте, мой друг. Вы вернетесь на свою родину и будете там жить спокойно, вспоминая о прошедшем. Думайте иногда о бедной Полине Сариа, которая явилась, как метеор в жизни того, кого вы так любите, но не сожалейте о ней: она вкусила в продолжение нескольких дней высшее наслаждение самопожертвования. Ну, теперь последнее слово к вам, князь Меттерних, — прибавила Полина, обращаясь к канцлеру, и смотря на него без ненависти и без смущения, а с каким-то неземным спокойствием. — Не презирайте того, что вы называете моим преступлением, я совершила его инстинктивно, без расчета, по влечению сердца. Оно не заслуживает вашего прощения, так как я в нем не раскаиваюсь. Прощайте, князь. Если вы когда-нибудь вспомните обо мне, то скажите себе, что честная душа всегда свободна.

Она схватила себя рукой за сердце, и внезапно раздался глухой выстрел. Что-то блеснуло среди массы кружев, и облако синего дыма окружило княгиню.

Франц схватил Полину и удержал ее от падения, а Меттерних вырвал из-за корсажа маленький пистолет.

— Несчастная! — произнес он громко.

— Нет, — отвечала умирающая, открывая глаза и говоря тихо, едва внятно, — я счастливая, он меня любит!

Глаза ее снова закрылись, и спустя минуту она перестала дышать. Полина Сариа сдержала слово. Она проиграла и заплатила ставку. Франц опустил на колени перед ней и, думая об отчаянии герцога Рейхштадтского, промолвил со слезами:

— Она отправилась одна в далекий путь.

Э П И Л О Г

I

ДВА ДРУГА

Вечером 18 июля 1832 года в стекольную лавку Грепи в Виденском предместье Вены вошел человек лет 60, в длинном синем сюртуке со стоячим воротником и красной ленточкой в петлице.

— Это вы? неужели это вы? — воскликнул хозяин лавки, выскакивая из-за конторки.

— Да, это я, друг Грепи. Я нарушил данное слово и явился сюда. Но вы видите, что теперь я не скрываюсь, а завтра пойду к эрцгерцогу и скажу ему, в чем дело.

— Как я рад вас видеть, добрый Франц, садитесь, пожалуйста. Я сейчас позову жену и дочь.

— Нет, нет. Мне не время оставаться, и я желаю сказать вам кое-что с глазу на глаз.

— Вы явились сюда для...

— Конечно, для него.

— Он очень, очень болен.

— Знаю. Но не можете ли вы рассказать все подробности?

— Могу передать только то, что говорят в городе. После памятной ночи я был освобожден из полиции и прямо побежал к Мано, чтобы предупредить его о похищении коляски с лошадьми. Потом я отправился в отель “Лебедь” и узнал там от белошвеек, что они спокойно отправляются в Милан. О княгине Сариа они мне сказали, что она застрелилась, и что в ту же ночь прямо из вашего дома в Гитцинге ее тело повезли в Венгрию, где у нее обширное поместье. Все это сделали в большой тайне и распространили слух, что она уехала.

— Так он не знает о ее смерти?

— Вероятно, нет. Никто ему об этом не говорил, а единственный человек, который мог высказать правду, эрцгерцог Карл, удалился в свой замок, и его снова увидели в Вене только на днях. Бедный юноша,

вероятно, полагает, что княгиня живет по-прежнему в Италии и забыла о нем.

— Ну, нет, этого он не может думать. Я видел их вдвоем; они пламенно любили друг друга.

— В таком случае он думает, что ее держат взаперти. Во всяком случае с той роковой ночи он стал все более и более грустить, и распространили слух, что он очень ослабел. Два месяца его не выпускали из дворца. Потом он снова появился на Пратере, во главе своего полка, но страшно было видеть, как он изменился. Какой-то внутренний огонь испепелил его, но все-таки он продолжал делать смотр и командовать, хотя его голос звучал глухо, щеки ввалились, а глаза померкли. Наконец, в один прекрасный день он хотел командовать и не мог, голос его более не слушался, и бледные губы не двигались. Тогда его снова заперли в комнате; но в апреле месяце случилось наводнение, и Дунай вышел из берегов. Юноша стал неумоимо посещать несчастных и подавать помощь. Когда однажды он возвратился домой, то лошади понесли его экипаж, он выскочил, упал и повредил себе грудь. У него сделалась чахотка, и он теперь умирает.

— И никому в голову не пришло послать его в Италию. Может быть, там было бы легче бедному мученику. Как он должен был страдать, думая об ужасной участи тех, которые его любили. Я один, быть может, знаю, какое у него доброе сердце, и какая светлая голова.

— Я слышал, что вызвали его мать, — произнес после некоторого молчания Грепи.

— Мать? — отвечал презрительным тоном Франц. — Она не побеспокоится приехать.

— Нет, приедет, ее ждут на днях в Вене.

— Ну, так, значит, конец близок. Мне нельзя терять время. Я должен добиться, чтобы эрцгерцог Карл провел меня в Шенбрун, а если это будет невозможно, то я попрошу его передать герцогу письмо Маршана. Вы знаете, Грепи, что Маршан был камердинером императора, и что он умер на его руках. Маршан вернулся в Европу десять лет тому назад, но до сих пор тщетно просил императора, Меттерниха и Марию-Луизу допустить его до свидания с герцогом Рейхштадтским. Наконец, он написал печальный рассказ о последних минутах императора, и я взялся доставить сыну завет отца. Если эрцгерцог откажется

мне помочь, то я буду действовать один. Вот за тем-то я и зашел к вам, добрый Грепи. Могу я рассчитывать, что вы уведомяте мою племянницу Маргариту, если что-нибудь случится со мной?

— Конечно, можете. — И друзья расстались.

II

ПРИОБЩЕНИЕ СВ. ТАЙН

По несчастью для Франца, ему не удалось проникнуть в Шенбрун, и он мог добиться от эрцгерцога Карла только обещания вручить внуку письмо Маршана, если удастся увидеть наедине бедного юношу до его смерти.

Грепи был прав, действительно, узник Меттерниха умирал. Хотя доктора уверяли, что он может еще протянуть долго, но смерть его была неизбежна, и придворный этикет подверг несчастного мученика еще одному тяжелому испытанию.

19 июня была назначена в Шенбрунской часовне в присутствии всего двора церемония последнего приобщения св. Тайн герцога Рейхштадтского. Двумя причинами объясняли, что эта церемония производилась заранее и публично, а не в комнате умирающего, как обыкновенно. Во-первых, император собирался уехать из Вены и не мог ждать, чтобы агония внука дошла до последней степени, а с другой — эрцгерцогиня София решила, по своей сердечной доброте, несколько сгладить тяжелое впечатление для больного этой церемонии. Она накануне сказала ему:

— Милый Франц, мы оба с тобой больные, слава Богу, твоя жизнь не в опасности, но ты обязан отказаться от всяких занятий, от всяких удовольствий. Я же должна на днях родить, и мне что-то страшно. Причастимся вместе завтра св. Тайн. Я буду молиться о твоём выздоровлении, а ты о моем счастливом разрешении от бремени. — Герцог согласился с признательной улыбкой. Быть может, он понял тот святой обман, к которому прибегла добрая женщина.

Вот почему 19 июня 1832 года в Шенбрунской часовне собралась вся императорская семья и весь двор.

Герцог Рейхштадтский явился под руку с эрцгерцогиней Софией; он был бледный, исхудалый, ни на

кого не смотрел и едва передвигал ноги. Машинально опустил он в приготовленное для него кресло, и пока добрая тетка на коленях молилась подле него, он казался погруженным в тяжелую думу, которая не покидала его в последние два месяца, но когда совершавший службу патер стал приближаться со св. Дарами, то он вдруг очнулся. Глаза его засверкали, на щеках заалели постоянно теперь видневшиеся красные пятна, и он медленным движением руки просил отсрочить святой обряд.

Патер в недоумении остановился, а эрцгерцогиня вопросительно взглянула на юношу.

— Тетя, я молюсь за вас и за вашего будущего ребенка, но простите меня, я также молюсь за вашего бедного друга, княгиню Сариа. Здесь, в присутствии Бога вы меня не обманете. Неправда ли, она умерла?

Хотя ему недолго оставалось жить, но вся его жизнь очевидно висела на волоске и зависела от ответа эрцгерцогини. Она поняла это, но не могла солгать в эту священную минуту, и безмолвно слеза скатилась по ее щеке.

Герцогу Рейхштадтскому стало все ясно. Ему даже не позволили оплакивать ту, которую он пламенно любил. Его разлучили не только с живыми, но и с мертвыми. В глазах у него потемнело, ноги подкосились, и он упал бы на пол, если б его не поддержал граф Дитрихштейн.

Спустя минуту патер подошел к бледному неподвижному юноше и поднес св. Дары к его посиневшим губам.

Все было кончено. Могила герцога Рейхштадтского была открыта, и то, когда опустят в нее его бранные останки, было вопросом дней или часов. В нескольких шагах, позади державных причастников сидел герцог Меттерних и весело улыбался своей молодой жене, с которой он обвенчался год тому назад.

На следующий день 20 июня император уехал в Триест. Через пять дней прибыла в Вену из Пармы Мария-Луиза.

Спустя месяц смертельная агония шенбрунского узника окончилась. Сын Наполеона умер.

Гермина Меттерних никогда не вышла замуж и несколько лет тому назад скончалась настоятельницей женского Савойского монастыря в Вене. С тех пор на могиле герцога Рейхштадтского более не видны прекрасные розы, которые постоянно там сменялись в продолжение полувека.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Шпион Наполеона</i>	3
<i>Сын Наполеона</i>	225

Шарль Лоран
ШПИОН НАПОЛЕОНА
СЫН НАПОЛЕОНА

Ташкент
Главная редакция
издательско-полиграфического
концерна “Шарк“
1994

Ответственный за выпуск *Ф. Румская*
Редактор *В. Шаповалов*
Художественный редактор *Ю. Лебедев*
Технический редактор *Г. Ломиворотова, Л. Хижова*
Корректор *М. Катушкина*

Сдано в набор 21.07.93 г. Подписано в печать 15.02.94.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная.
Усл.п.л. 20,27. Уч.-изд.л. 23,16. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2271.

Типография издательско-полиграфического
концерна “Шарк“.
700083, г. Ташкент, ул Буюк Турон, 41.

**Главная редакция
издательско-полиграфического
концерна "Шарк" предлагает
серию "Шедевры исторической прозы"**

ГЕОРГ ЭБЕРС. *"Иисус Навин"*

В основу романа Георга Эберса "Иисус Навин" положено библейское предание о исходе евреев из Египта. Напряженный сюжет, захватывающие любовные драмы и потрясающая историческая достоверность, столь свойственная произведениям Эберса, знакомят читателя с одной из интереснейших страниц мировой истории.

АЛЕКСАНДР ДЮМА. *“Кавалер Красного Замка”*

“Кавалер Красного Замка” — один из лучших исторических романов А. Дюма, который повествует о истории трагической любви бесстрашного шевалье де Мезон Руж к французской королеве Марии-Антуанетте, приговоренной санкюлотами к смертной казни.



ШЕДЕВРЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРОЗЫ

